

Кропоткин Петр.

Взаимопомощь как

фактор эволюции

2007, источник: [здесь](#), издание: редакция журнала «Самообразование». После 1917 года печатался лишь фрагментарно в нескольких сборниках, в частности, в книге "Анархия". В области биологии идеи Кропоткина о взаимопомощи как факторе эволюции, об отсутствии внутривидовой борьбы представляли собой развитие одного из важных направлений дарвинизма. Свое учение о взаимной помощи и поддержке, об отсутствии внутривидовой борьбы Кропоткин перенес и на общественную жизнь. Наряду с этим он признавал, что как биологическая, так и социальная жизнь проникнута началом борьбы. Но социальная борьба плодотворна и прогрессивна только тогда, когда она помогает возникновению новых форм, основанных на принципах справедливости и солидарности. Сформулированный ученым закон взаимной помощи лег в основу его этического учения, которое он развил в своем незавершенном труде "Этика".

- [Предисловие](#)
- [Введение](#)
- [Глава I. Взаимная помощь у животных](#)
- [Глава II. Взаимная помощь у животных \(Продолжение\)](#)
- [Глава III. Взаимная помощь среди дикарей](#)
- [Глава IV. Взаимная помощь среди варваров](#)
- [Глава V. Взаимная помощь в средневековом городе](#)
- [Глава VI. Взаимная помощь в средневековом городе \(Продолжение\)](#)
- [Глава VII. Взаимная помощь в современном обществе](#)
- [Глава VIII. Взаимная помощь в современном обществе \(Продолжение\)](#)
- [Заключение](#)
- [Основные даты жизни и творчества П.А. Кропоткина](#)

- Библиография произведений П.А. Кропоткина

Предисловие

Петр Алексеевич Кропоткин родился в 1842 году в Москве в семье генерала, богатого землевладельца из рода Рюриковичей. Получил блестящее образование: окончил Пажеский корпус, физико-математический факультет Петербургского университета. Многое сделал по освоению и исследованию Восточной Сибири и Северной Маньчжурии. В 1868 году был избран членом Русского географического общества.

В 1872 году за рубежом П.А. Кропоткин встретился с представителями российских и европейских революционных организаций. По возвращению в Россию он активно занялся политической пропагандой, был одним из инициаторов "хождения в народ"; участвовал в работе кружка «чайковцев». В 1874 году П. Кропоткин был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. За время заключения он написал трактат «Исследования о ледниковом периоде». В 1876 году Кропоткин бежал из крепости и покинул Россию, куда вернулся лишь в 1917 году.

П.А. Кропоткин стал ведущим теоретиком и организатором международного анархистского движения. Он написал большое количество работ, посвященных теории анархизма и другим социально-политическим проблемам. За пропаганду анархизма три года провёл во французской тюрьме.

В июне 1917 года Кропоткин вернулся в Россию. Ему было предложено войти в состав правительства, но Кропоткин отказался, заявив, что «считает ремесло чистильщика сапог более честным и полезным». Он поддерживал отношения с представителями различных политических движений, встречался с Лениным. Приветствовал Октябрьскую Революцию, хотя в дальнейшем неоднократно высказывал критические замечания о политике большевиков. Умер Кропоткин в г. Дмитрове (Московская область) 8 февраля 1921 г.

Еще при жизни труды Петра Алексеевича публиковались не только в России, но и за рубежом — на английском, немецком, французском и других языках. В Китае в конце 1940-х было издано Полное собрание сочинений П.А. Кропоткина. Взгляды П.А. Кропоткина оказали значительное влияние на формирование идеологии ряда молодых африканских государств.

К сожалению, в России в послереволюционные годы работы ученого почти не издавались. В советский период их начали печатать только с 70-х гг. прошлого века.

Предлагаемая вниманию читателей работа П.А. Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции» впервые была опубликована в 1902 году, в последний раз — в 1917-м. После этого она лишь фрагментарно входила в некоторые сборники; в частности, в книгу «Анархия» (2002 г. «Айрис-пресс»). Несмотря на то, что с момента написания работы «Взаимная помощь как фактор эволюции» прошло более ста лет, она по-прежнему актуальна как в биологическом, так и в социально-политическом отношении.

В области биологии идеи П.А. Кропоткина о взаимопомощи как факторе эволюции, об отсутствии внутривидовой борьбы представляли собой развитие одного из важных направлений дарвинизма. Свое учение о взаимной помощи и поддержке, об отсутствии внутривидовой борьбы Кропоткин перенес и на общественную жизнь. Основы человеческой нравственности он видел в солидарности, справедливости и самопожертвовании, а их истоки — в инстинкте взаимопомощи, который человек перенял из мира животных. Наряду с этим он признавал, что как биологическая, так и социальная жизнь проникнута началом борьбы. Но социальная борьба плодотворна и прогрессивна только тогда, когда она помогает возникновению новых форм, основанных на принципах справедливости и солидарности. Сформулированный ученым закон взаимной помощи лег в основу его этического учения, которое он развил в своем, к сожалению незавершенном, труде, называвшемся «Этика».

Петр Алексеевич Кропоткин прожил долгую и очень насыщенную жизнь, наполненную приключениями, творческими исканиями и открытиями. Ему пришлось испытать много трудностей и лишений. Но он нашел в себе силы, чтобы до конца дней своих оставаться Человеком с большой буквы. Кропоткин умел отказаться от всех благ во имя своих идеалов и свободы. Высший смысл жизни для него заключался в следующем: «Дарить людям добро даже ценой собственных лишений». У него не было расхождений между нравственными идеалами и своим образом жизни.

Именем П.А. Кропоткина названы: хребет в Патомском нагорье (северо-восточная часть Иркутской области), хребет и вулкан в Восточных Саянах, гора в Олекминском Становике, город в Краснодарском крае, поселок городского типа в Иркутской области, одна из станций Московского метрополитена.

Введение

Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Маньчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молодости в этих частях Восточной Азии. Меня поразила, с одной стороны, необыкновенная суровость борьбы за существование, которую большинству животных видов приходится вести здесь против безжалостной природы, а также вымирание громадного количества их особей, случающееся периодически в силу естественных причин, — вследствие чего получается необыкновенная скудость жизни и малонаселенность на площади обширных территорий, где я производил свои исследования.

Другой особенностью было то, что даже в тех немногих отдельных пунктах, где животная жизнь являлась в изобилии, я не находил, — хотя и тщательно искал ее следов, — той ожесточенной борьбы за средства существования среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, которую большинство дарвинистов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали, как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь, и как главный фактор эволюции.

Ужасные метели, проносящиеся над северной частью Азии в конце зимы, и гололедица, часто следующая за метелью; морозы и бураны, которые каждый год возвращаются в первой половине мая, когда деревья уже в полном цвету, а жизнь насекомых уже в разгаре; ранние заморозки и, по временам, глубокие снега выпадающие уже в июле и августе, даже в луговых степях Западной Сибири, и внезапно уничтожающие мириады насекомых, а также и вторые выводки птиц; проливные дожди — результат муссонов, выпадающие в августе, в более умеренных областях Амура и Уссури, и продолжающиеся целые недели, вследствие чего в низменностях Амура и Сунгари происходят наводнения в таких размерах, какие известны только в Америке, да в восточной Азии, а на высоком плоскогорье обращаются в болота громаднейшие пространства, равные по размерам целым европейским государствам, и, наконец, глубокие снега, выпадающие иногда в начале октября, вследствие чего обширная территория, равная пространством Франции или Германии, делается совершенно необитаемой для жвачных животных, которые и гибнут тогда тысячами.

Таковы условия, при которых идет борьба за жизнь среди животного мира в Северной Азии. Эти условия уже тогда обратили мое внимание на чрезвычайную важность в природе того разряда явлений, которые Дарвин называет «естественными ограничениями размножения», — по сравнению с борьбою за средства существования, которая может совершаться в том или другом месте между особями одного и того же вида, но всегда остается в ограниченных размерах и никогда не достигает значения вышеуказанного фактора. Скудость жизни, недостаточность населения, а не избыток его — отличительная черта той громадной части земного шара, которую мы называем Северной Азией. Таковы были результаты моих наблюдений, и уже с тех пор я начал питать серьезные сомнения, которые позднее лишь подтвердились, относительно той ужасной будто-бы борьбы за пищу и жизнь, в пределах

одного и того же вида, которая составляет настоящий символ веры для большинства дарвинистов. Точно также начал я сомневаться тогда и относительно господствующего влияния, которое этого рода борьба играет, по предположению дарвинистов, в развитии новых видов.

С другой стороны, где бы мне ни приходилось видеть изобильную кипучую животную жизнь, — как напр., на озерах, весной, где десятки видов птиц и миллионы особей соединяются для вывода потомства, или же в многочисленных колониях грызунов, или во время перелета птиц, который совершался тогда в чисто американских размерах вдоль долины Уссури, или же во время одного громадного переселения косуль, которое мне пришлось наблюдать на Амуре и во время, которого десятки тысяч этих умных животных убегали с огромной территории, спасаясь от выпавших глубоких снегов, и собирались большими стадами с целью пересечь Амур в наиболее узком месте, в Малом Хингане, — во всех этих сценах животной жизни, проходивших перед моими глазами, я видел взаимную помощь и взаимную поддержку, доведенные до таких размеров, что невольно приходилось задуматься над громадным значением, которое они должны иметь для поддержания существования каждого вида, его сохранения в экономии природы и его будущего развития.

Наконец, мне пришлось наблюдать среди полудикого рогатого скота и лошадей в Забайкалье, и повсеместно среди белок и диких животных вообще, что когда животным приходилось бороться с недостатком пищи, вследствие одной из вышеуказанных причин, то вся та часть данного вида, которую постигло это несчастье, выходит из выдержанного ею испытания с таким сильным ущербом энергии и здоровья, что никакая прогрессивная эволюция видов не может быть основана на подобных периодах острого соревнования.

Вследствие вышеуказанных причин, когда, позднее, внимание мое было привлечено к отношениям между Дарвинизмом и Социологией, я не мог согласиться ни с одной из многочисленных работ, так или иначе обсуждавших этот, чрезвычайно важный, вопрос. Все они пытались доказать, что человек, благодаря своему высшему разуму и познаниям, может смягчать остроту борьбы за жизнь между людьми; но все они в то же самое время признавали, что борьба за средства существования каждого отдельного животного против всех его сородичей, и каждого отдельного человека против всех людей, является «законом природы». Я однако не мог согласиться с этим взглядом, так как убедился раньше, что признать безжалостную внутреннюю борьбу за существование в пределах каждого вида, и смотреть на такую войну, как на условие прогресса, — значило бы допустить и нечто такое, что не только еще не доказано, но и прямо-таки не подтверждается непосредственным наблюдением.

С другой стороны, познакомившись с лекцией «О законе Взаимопомощи», прочитанной на съезде русских естествоиспытателей в январе 1880 года профессором Кесслером, бывшим деканом С.-Петербургского университета, я увидел, что, она проливает новый свет на весь этот вопрос. По мнению Кесслера, помимо закона Взаимной Борьбы, в природе существует еще закон «Взаимной Помощи», который для успешности борьбы за жизнь, и в особенности для прогрессивной эволюции видов, играет гораздо более важную роль, чем закон Взаимной Борьбы. Это предположение, которое, в действительности, явилось лишь дальнейшим развитием идей, высказанных самим Дарвином в его «Происхождении человека», казалось

мне настолько правильным и имеющим такое громадное значение, что с тех пор, как я познакомился с ним (в 1883 году), я начал собирать материалы для дальнейшего развития этой идеи, которой Кесслер лишь слегка коснулся в своей речи и которой он не успел развить, так как умер в 1881 году.

Лишь в одном пункте я не мог вполне согласиться со взглядами Кесслера. Он упоминал о «родительских чувствах» и заботах о потомстве (см. ниже главу 1), как об источнике взаимного расположения животных друг к другу. Но я думаю, что определение того, насколько эти два чувства действительно содействовали развитию общительных инстинктов среди животных и насколько другие инстинкты действовали в том же направлении, составляет особый, очень сложный вопрос, на который мы теперь едва ли в состоянии ответить. Лишь после того, когда мы хорошо установим самые факты взаимопомощи среди различных классов животных, и их важность для эволюции, сможем мы отделить, что принадлежит в эволюции общительных инстинктов родительским чувствам, и что — самой общительности; причем происхождения последней, очевидно, придется искать в самых ранних стадиях эволюции животного мира, — быть может, даже в «колониальных стадиях»[1]. Вследствие этого, я обратил главное внимание на установку, прежде всего, важности Взаимной Помощи как фактора эволюции, оставляя дальнейшим исследователям задачу о происхождении инстинктов Взаимной Помощи в природе.

Важность фактора Взаимной Помощи, — «если только его общность может быть доказана», не ускользнула от внимания Гёте, в котором так ярко проявился гений естествоиспытателя. Когда Эккерман рассказал однажды Гёте — это было в 1827 году, — что два маленьких птенчика корольки, убежавшие от него, после того, как он подстрелил их мать, были найдены им на следующий день в гнезде реполовов, которые кормили птенчиков-корольков наравне со своими собственными, Гёте был очень взволнован этим сообщением. Он видел в нем подтверждение своих пантеистических взглядов на природу и сказал: «Если бы оказалось справедливым, — что подобное кормление чужаков — присуще всей природе как нечто, имеющее характер общего закона, — тогда многие загадки были бы разрешены». Он возвратился к этому вопросу на следующий день и упрашивал Эккермана (он, как известно, был зоолог) заняться специальным изучением этого вопроса, прибавляя, что Эккерман, несомненно, сможет таким образом приобрести «драгоценные, неоцененные результаты» (Gespräche, издание 1848 года, т. III, стр. 219, 221). К несчастью, подобное изучение никогда не было предпринято, хотя весьма вероятно, что Брэм, собравший в своих работах такие богатые материалы относительно взаимопомощи среди животных, мог быть наведен на эту мысль вышеприведенным замечанием Гёте.

В течение 1872–1886 годов было напечатано несколько крупных работ относительно смысленности и умственной жизни животных (об этих работах упоминается в примечании к 1-ой главе настоящей книги), причем три из них имеют более близкое отношение к интересующему нас вопросу, а именно: «Les Sociétés animales» Эспинаса (Париж, 1877); «La lutte pour l'existence et l'association pour la lutte», лекция Ланессана (апрель 1881); и книга Луи Бюхнера, «Liebe und Liebes — Leben in der Thierwelt», первое издание которой появилось в 1881 году или 1882 году, а второе, значительно расширенное, в 1885. Но, несмотря на превосходные качества каждой из этих работ, они, тем не менее, оставляют широкое место для работы, в которой Взаимная Помощь рассматривалась бы не только в качестве

аргумента в пользу до человеческого происхождения нравственных инстинктов, но также, как закон природы и фактор эволюции. Эспинас обратил внимание на такие общества животных (муравьев, пчел), которые основаны на физиологическом различии строения в различных членах того же вида и физиологическом разделении между ними труда; и хотя его работа дает превосходные указания во всевозможных направлениях, она все-таки была написана в такое время, когда развитие человеческих обществ не могло быть рассматриваемо так, как мы можем сделать это теперь, благодаря накопившемуся с тех пор запасу знаний. Лекция Ланессана скорее имеет характер блестяще изложенного общего плана работы, в которой взаимная поддержка рассматривалась бы, начиная со скал на море, а затем в мире растений, животных и людей. Что же касается до работы Бюхнера, то хотя она наводит на размышления о роли Взаимопомощи в природе и богата фактами, я не могу согласиться с ее руководящей идеей. Книга начинается гимном Любви, и почти все ее примеры являются попыткой доказать существование любви и симпатии между животными. Но — свести общительность животных к любви и симпатии, значит сузить ее всеобщность и ее значение, — точно так же, как людская этика, основанная на любви и личной симпатии, ведет лишь к сужению понятия о нравственном чувстве в целом. Я вовсе не руководюсь любовью к хозяину данного дома, — которого я часто совершенно не знаю, — когда увидав его дом в огне, я схватываю ведро с водой и бегу к его дому, хотя бы несколько не боялся за свой: мною руководит более широкое, хотя и более неопределенное чувство, вернее инстинкт, общечеловеческой солидарности, т. е. круговой поруки между всеми людьми, и общежительности. То же самое наблюдается и среди животных. Не любовь, и даже не симпатия (понимаемые в истинном значении этих слов), побуждают стадо жвачных или лошадей образовать круг, с целью защиты от нападения волков; вовсе не любовь заставляет волков соединяться в своры для охоты, точно также не любовь заставляет ягнят или котят предаваться играм, и не любовь сводит вместе осенние выводки птиц, которые проводят вместе целые дни и почти всю осень; и наконец нельзя приписать ни любви, ни личной симпатии то обстоятельство, что многие тысячи косуль, разбросанных по территории, пространством равняющейся Франции, собираются в десятки отдельных стад, которые все направляются к известному пункту, с целью переплыть там реку. Во всех этих случаях главную роль играет чувство несравненно более широкое, чем любовь или личная симпатия, — здесь выступает инстинкт общительности, который медленно развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно долгого периода эволюции, с самых ранних ее стадий и который научил в равной степени животных и людей сознавать ту силу, которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и поддержку, и сознавать удовольствия, которые можно найти в общественной жизни.

Важность этого различия будет легко оценена всяким, кто изучает психологию животных, а тем более — людскую этику. Любовь, симпатия и самопожертвование, конечно, играют громадную роль в прогрессивном развитии наших нравственных чувств. Но общество, в человечестве, зиждется вовсе не на любви и даже не на симпатии. Оно зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном, — человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полусознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком, из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех, и на чувстве справедливости или беспристрастия, которое вынуждает индивидуума рассматривать права каждого другого, как равные его собственным правам. Но этот вопрос выходит за пределы настоящего труда,

и я ограничусь лишь указанием на мою лекцию «Справедливость и Нравственность», которая была ответом на «Этику» Гексли и в которой я коснулся этого вопроса с большей подробностью[2].

Вследствие всего сказанного, я думал, что книга о «Взаимной Помощи, как законе природы и факторе эволюции» могла бы заполнить очень важный пробел. Когда Гексли выпустил в 1888 году свой «манифест» о борьбе за существование («Struggle for Existence and its Bearing upon Man»), — который, с моей точки зрения, был совершенно неверным изображением явлений природы, как мы их видим в тайге и в степях, — я обратился к редактору «Nineteenth Century», прося его дать место на страницах редактируемого им журнала, для обработанной критики взглядов одного из наиболее выдающихся дарвинистов; и м-р Джемс Ноулз (Knowles) отнёсся к моему предложению с полной симпатией. Я также говорил по этому поводу с В. Бэтсом (Bates), — великим «Натуралистом на Амазонке», который собирал, как известно, материалы для Уоллеса и Дарвина, и которого Дарвин совершенно верно охарактеризовал в своей автобиографии как одного из умнейших встреченных им людей. «Да, конечно, это истинный Дарвинизм», — воскликнул Бэтс, — «Просто возмутительно, во что они обратили Дарвина. Пишите ваши статьи, и когда они будут напечатаны, я напишу вам письмо, которое вы сможете опубликовать». К несчастью, составление этих статей, заняло у меня почти семь лет и когда последняя из них была напечатана, Бэтса уже не было в живых.

Подвергнув обсуждению важность Взаимной Помощи среди различных классов животных, я, очевидно, обязан был обсудить важность того же фактора в развитии человека. Это было тем более необходимо, что имеются эволюционисты, готовые допустить важность Взаимной Помощи среди животных, но, вместе с тем, подобно Герберту Спенсеру, отрицающие ее по отношению к человеку. Для первобытного человека, — утверждают они, — война каждого против всех была преобладающим законом жизни. Насколько это утверждение, которое чересчур охотно повторяют без надлежащей проверки со времен Гоббса, совпадает с тем, что нам известно относительно ранних фаз человеческого развития, я постарался разобраться в настоящей книге, в главах, посвященных жизни дикарей и варваров.

Число и важность различных учреждений Взаимной Помощи, которые развились в человечестве, благодаря созидательному гению диких и полудиких масс, в течение самого раннего периода родового быта, и еще более того впоследствии — в течение следующего периода деревенской общины, а также громадное влияние, которое эти ранние учреждения оказали на дальнейшее развитие человечества, вплоть до настоящего времени, побудили меня распространить область моих изысканий и на более поздние, исторические времена; в особенности я остановился на наиболее интересном периоде — средневековых свободных городов-республик, которых повсеместность и влияние на современную нашу цивилизацию до сих пор еще недостаточно оценены. Наконец, я попытался также указать вкратце на громадную важность, которую привычки взаимной поддержки, унаследованные человечеством за чрезвычайно долгий период его развития, играют даже теперь, в нашем современном обществе, хотя о нем думают и говорят, что оно покоится на принципе: «Каждый для себя и Государство для всех», — принцип, которому человеческие общества никогда не следовали вполне, и который никогда не будет приведен в осуществление.

Мне возразят, может быть, что в настоящей книге, как люди, так и животные изображены с чересчур благоприятной точки зрения: что их общежительные качества чересчур выдвинуты вперед, в то время как их противообщественные наклонности и инстинкты самоутверждения едва отмечены. Но это, однако, было неизбежно. За последнее время мы столько слышали о «суровой, безжалостной борьбе за жизнь», которая якобы ведется каждым животным против всех остальных, каждым «дикарем» против всех остальных «дикарей», и каждым цивилизованным человеком против всех его сограждан, — причем подобные утверждения сделались своего рода догматом, религией образованного общества, — что было необходимо, прежде всего, противопоставить им обширный ряд фактов, рисующих жизнь животных и людей с совершенно другой стороны. Необходимо было показать сперва преобладающую роль, которую играют общительные привычки в жизни природы и в прогрессивной эволюции, как животных видов, так равно и человеческих существ. Надо было доказать, что они дают животным лучшую охрану против их врагов, что они облегчают им добывание пищи (зимние запасы, переселения, кормление под охраной сторожей и т. п.) и увеличивают предел жизненности, и, вследствие этого, — облегчают развитие умственных способностей; что они дали людям, помимо вышеуказанных общих с животными, выгод, возможность выработать те учреждения, которые помогли человечеству выжить в суровой борьбе с природой, и совершенствоваться, не взирая на все превратности истории. Я это и сделал. А потому, настоящая книга, есть книга о законе Взаимопомощи, рассматриваемом как один из главных факторов эволюции, а не о всех факторах эволюции и их относительной ценности; и эту книгу надо было написать раньше, чем станет возможным исследование вопроса об относительном значении различных факторов эволюции.

Я, конечно, менее всего склонен недооценивать роль, которую самоутверждение личности играло в развитии человечества. Но этот вопрос, по моему мнению, требует рассмотрения, гораздо более глубокого, чем какое он встречал до сих пор. В истории человечества, самоутверждение личности часто представляло, и продолжает представлять, нечто совершенно отличное и нечто более обширное и глубокое, чем та мелочная, неразумная умственная узость, которую большинство писателей выдает за «индивидуализм» и «самоутверждение». Равным образом, двигавшие историю личности вовсе не сводились на одних тех, кого историки изображают нам в качестве героев. Вследствие этого, я имею в виду, если удастся, подробно разобрать впоследствии роль, которую сыграло самоутверждение личности в прогрессивном развитии человечества. Теперь же я ограничусь лишь следующим общим замечанием.

Когда учреждение Взаимопомощи — т. е. родовой строй, деревенская община, гильдия, средневековый город — начинали в течение исторического процесса терять свой первоначальный характер, когда в них начинали появляться паразитные, чуждые им, наросты, вследствие чего сами эти учреждения становились помехой прогрессу, тогда возмущение личностей против этих учреждений всегда принимало двоякий характер. Часть восставших стремилась к очищению старых учреждений от чуждых им элементов, или к выработке высших форм свободного общежития, основанных, опять-таки, на началах Взаимной Помощи; они пытались, например, ввести в уголовное право начало «возмещения» (виры) на место закона кровавого возмездия, а позднее провозглашали «прощение обид», то есть, еще более высокий идеал равенства пред человеческою совестью, взамен «возмещения», которое платилось сообразно классовой ценности пострадавшего. Но, в то

же самое время, другая часть тех же личностей, восстававших против окристаллизовавшегося строя, пыталась просто разрушить охранительные учреждения взаимной поддержки, с тем, чтобы на место их поставить свой собственный произвол, таким образом увеличить свои собственные богатства и усилить свою собственную власть. В этой тройственной борьбе, — между двумя разрядами возмущившихся личностей и защитниками существующего, и состоит вся истинная трагедия истории. Но для того чтобы изобразить эту борьбу и честно изучить роль, сыгранную в развитии человечества каждой из вышеуказанных трех сил, потребовалось бы, по меньшей мере, столько же лет труда, сколько мне пришлось отдать на то, чтобы написать эту книгу.

Из работ, рассматривающих приблизительно тот же вопрос, но появившихся уже после появления моих статей о Взаимной Помощи среди животных, я должен упомянуть, «The Lowell Lectures on the Ascent of Man», Генри Дрэммонда, (Henri Drummond), Лондон, 1894 г. и «The Origin and Growth of the Moral Instinct», А. Сэдерланда (A. Suderland), Лондон, 1898 г. Обе книги построены в значительной степени по тому же плану, как вышеупомянутая книга Бюхнера; причем в книге Сэдерланда довольно подробно рассматриваются родительские и семейные чувства, в качестве единственного фактора в деле развития нравственных чувств. Третьей работой этого рода, относящейся к человеку и написанной по тому же плану, является книга американского профессора Ф.А. Гиддингса (Giddings), первое издание которой появилось в 1896 году, в Нью-Йорке и Лондоне, под заглавием: «The Principles of Sociology», и руководящие идеи которой были изложены автором в брошюре в 1894 году. Я должен, однако, предоставить вполне литературной критике разбор совпадений, сходства и расхождения между вышеуказанными работами и моей.

Все главы настоящей книги были напечатаны сначала в Nineteenth Century («Взаимопомощь среди животных», в сентябре и ноябре 1890 года; «Взаимопомощь среди дикарей», в апреле 1891 г.; «Взаимопомощь среди варваров», в январе 1892 г.; «Взаимопомощь в средневековом городе», в августе и сентябре 1894 г.; и «Взаимопомощь в настоящее время», в январе и июне 1896 г.). Выпуская их в форме книги, я сначала думал включить в виде приложения массу собранных мною материалов, которыми я не мог воспользоваться для статей, появившихся в журнале, а также обсуждение различных второстепенных пунктов, которые пришлось опустить. Оказалось, однако, что подобные приложения удвоили бы размер книги, и я был принужден отказаться от издания их, или, по крайней мере, отложить его. В тексте первоначальных статей мной введено было лишь очень немного такого материала, который можно было ввести, не нарушая общего настроения этой работы.

Пользуюсь настоящим случаем, чтобы выразить издателю «Nineteenth Century», James Knowles'у мою благодарность за любезное гостеприимство, оказанное им настоящей работе, лишь только он ознакомился с ее общей идеей, а также и за его любезное разрешение перепечатать настоящий труд.

Бромлей, Кент. 1902.

Приготавливая русское издание этой книги, я тщательно пересмотрел и исправил весь текст и сделал некоторые добавления.

Глава I. Взаимная помощь у ЖИВОТНЫХ

- «Борьба за существование».
- Взаимная помощь — закон природы и главное условие прогрессивного развития.
- Беспозвоночные животные.
- Муравьи и пчелы.
- Птицы: их союзы для охоты и рыбной ловли.
- Их общительность.
- Взаимная охрана у мелких птиц.
- Журавли; попугаи.

Понятие о борьбе за существование, как об условии прогрессивного развития, внесенное в науку Дарвином и Уоллэсом, позволило нам охватить в одном обобщении громадную массу явлений; и это обобщение легло, с тех пор, в основу всех наших философских, биологических и общественных теорий. Несметное количество самых разнообразных фактов, которые мы прежде объясняли каждой своею причиною, было охвачено Дарвином в одно широкое обобщение. Приспособление живых существ к обитаемой ими среде, их прогрессивное развитие, анатомическое и физиологическое, умственный прогресс и даже нравственное совершенствование, — все эти явления стали представляться нам, как части одного общего процесса. Мы начали понимать их, как ряд непрерывных усилий, — как борьбу против различных неблагоприятных условий, ведущую к развитию таких личностей, рас, видов и обществ, которые представляли бы собою наибольшую полноту, наибольшее разнообразие и наибольшую интенсивность жизни.

Весьма возможно, что, в начале своих работ, Дарвин сам не сознавал всего значения и общности того явления — борьбы за существование, — к которому он обратился за объяснением одной группы фактов, а именно — накопление отклонений от первоначального типа и образования новых видов. Но он понимал, что выражение, которое он вводил в науку, утратило бы свой философский, точный смысл, если бы оно было понято исключительно в его узком смысле, как борьба между индивидуумами из-за средств существования. А потому, уже в самом начале своего великого исследования о происхождении видов, он настаивал на том, что «борьбу за существование» следует понимать «в ее широком и переносном (метафорическом) смысле, т. е., включая сюда зависимость одного живого существа от других, а также, — что гораздо важнее, — не только жизнь самого индивидуума, но и возможность для него оставить по себе потомство».[3]

Таким образом, хотя сам Дарвин, для своей специальной цели и употреблял слова «борьба за существование» преимущественно в их узком смысле, он предупреждал, однако, своих последователей от ошибки (в которую, по-видимому, он сам, было, впал одно время) — от

слишком узкого понимания этих слов. В своем последующем сочинении, «Происхождение Человека», он написал даже несколько прекрасных сильных страниц, чтобы выяснить истинный, широкий смысл этой борьбы. Он показал здесь, как в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ совершенно исчезает и, как, вместо борьбы, является содействие (кооперация), ведущее к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которое обеспечивает данному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал, таким образом, что в этих случаях «наиболее приспособленными» оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее, или ловче других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга, как сильных так и слабых, — ради блага всего своего общества. «Те общества», писал он, «которые содержат наибольшее количество сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать, и оставлять по себе наибольшее количество потомства». (Второе, английское издание, стр. 163).

Выражение, заимствованное Дарвином из Мальтусовского представления о борьбе всех против каждого, потеряло, таким образом, свою узость, когда оно переработалось в ум человека, глубоко понимавшего природу.

К несчастью, эти замечания Дарвина, которые могли бы стать основой самых плодотворных исследований, прошли незамеченными — из-за массы фактов, в которых выступала, или предполагалась, действительная борьба между индивидуумами из-за средств существования. При том же Дарвин не подверг более строгому исследованию сравнительную важность и относительную распространенность двух форм «борьбы за жизнь» в животном мире: непосредственной борьбы отдельных особей между собою и общественной борьбы многих особей — сообщества, и он не написал также сочинения, которое собирался написать, о природных препятствиях чрезмерному размножению животных, каковы засуха, наводнения, внезапные холода, повоальные болезни и т. п.

Между тем, именно такое исследование и было необходимо, чтобы определить истинные размеры и значение в природе единичной борьбы за жизнь между членами одного и того же вида животных, по сравнению с борьбой целым обществом против природных препятствий и врагов из других видов. Мало того, в той же самой книге о происхождении человека, где он писал только что указанные места, опровергающие узкое мальтузианское понимание «борьбы», опять-таки пробивалась мальтусовская закваска, — например, там, где он задавался вопросом: следует ли поддерживать жизнь «слабых умом и телом» в наших цивилизованных обществах? (гл. V). Как будто бы тысячи «слабых телом» поэтов, ученых, изобретателей и реформаторов, а также так называемых «слабоумных энтузиастов», не были самым сильным орудием человечества в его борьбе за жизнь, — борьбе умственными и нравственными средствами, значение которых сам Дарвин так прекрасно выставил в этих же главах своей книги.

С теорией Дарвина случилось то же, что случается со всеми теориями, имеющими отношение к человеческой жизни. Его последователи не только не расширили ее, согласно его указаниям, а напротив того, сузили ее еще более. И в то время как Спенсер, работая независимо, но в сходном направлении, постарался до некоторой степени расширить исследование вопроса: «кто же оказывается лучше приспособленным?» (в особенности в

приложении к третьему изданию «Data of Ethics»), многочисленные последователи Дарвина сузили понятие о борьбе за существование до самых тесных пределов. Они стали изображать мир животных, как мир непрерывной борьбы между вечно голодающими существами, жаждущими каждой капли крови своих собратьев. Они наполнили современную литературу возгласами: «Горе побежденным!» и стали выдавать этот клич за последнее слово науки о жизни.

«Беспощадную» борьбу из-за личных выгод они возвели на высоту принципа, закона всей биологии, которому человек обязан подчиняться, — иначе он погибнет в этом мире, основанном на взаимном уничтожении. Оставляя в стороне экономистов, которые из области естествознания обыкновенно знают лишь несколько ходячих фраз, и то заимствованных у второстепенных популяризаторов, мы должны признать, что даже наиболее авторитетные представители взглядов Дарвина употребляют все усилия для поддержания этих ложных идей. Если взять, например, Гексли, который, несомненно, считается одним из лучших представителей теории развития (эволюции), то мы видим, что в статье, озаглавленной «Борьба за существование и ее отношение к человеку», он учит нас, что «с точки зрения моралиста животный мир находится на том же уровне, что борьба гладиаторов. Животных хорошо кормят и выпускают их на борьбу: в результате — лишь наиболее сильные, наиболее ловкие и наиболее хитрые выживают для того только, чтобы на следующий день тоже вступить в борьбу. Зрителю нет нужды даже, повернув палец книзу, требовать, чтобы слабые были убиты: здесь и без того никому не бывает пощады».

В той же статье Гексли дальше говорит, что среди животных, как и среди первобытных людей, «наиболее слабые и наиболее глупые обречены на гибель, в то время как выживают наиболее хитрые и те, кого труднее пронять, те, которые лучше сумели приспособиться к обстоятельствам, но вовсе не лучшие в других отношениях. Жизнь, говорит он, была постоянной всеобщей борьбой, и за исключением ограниченных и временных отношений в пределах семьи, Гоббсовская война каждого против всех была нормальным состоянием существования».[4]

Насколько подобный взгляд на природу оправдывается действительно, видно будет из тех фактов, которые приведены в этой книге, как из мира животных, так и из жизни первобытного человека. Но мы теперь уже можем сказать, что взгляд Гексли на природу имеет так же мало прав на признание его научным выводом, как и противоположный взгляд Руссо, который видел в природе лишь любовь, мир и гармонию, нарушенные появлением человека. Действительно, первая же прогулка в лесу, первое наблюдение над любым животным обществом, или даже ознакомление с любым серьезным трудом, трактующим о жизни животных (напр., Д' Орбини, Одюбона, Ле Вальяна) должны заставить натуралиста задуматься над ролью, которую играет общественная жизнь в мире животных и предостеречь его, как от понимания природы в виде всеобщего поля битвы, так и от противоположной крайности, видящей в природе одну гармонию и мир. Ошибка Руссо заключалась в том, что он совершенно упустил из виду борьбу, ведущуюся клювом и когтями, а Гексли повинен в ошибке противоположного характера; но ни оптимизм Руссо, ни пессимизм Гексли не могут быть признаны беспристрастным научным истолкованием природы.

Едва только мы начинаем изучать животных — не в одних лишь лабораториях и музеях, но также и в лесу, в лугах, в степях и в горных странах, — как тотчас же мы замечаем, что хотя между различными видами, и в особенности между различными классами животных, ведется в чрезвычайно обширных размерах борьба и истребление, — в то же самое время, в таких же, или даже в еще больших размерах, наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, или, по крайней мере, к тому же сообществу. Общественность является таким же законом природы, как и взаимная борьба. Конечно, чрезвычайно затруднительно было бы определить, хотя бы приблизительно, относительное числовое значение обоих этих разрядов явлений. Но если прибегнуть к косвенной проверке, и спросить природу: «Кто же оказывается более приспособленными: те ли, кто постоянно ведет войну друг с другом, или же, напротив, те кто поддерживает друг друга?» — то мы тотчас увидим, что те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи оказываются, без всякого сомнения, наиболее приспособленными. У них больше шансов выжить, и единично, и как виду, они достигают в своих соответствующих классах (насекомых, птиц, млекопитающих), наивысшего развития ума и телесной организации. Если же принять во внимание бесчисленные факты, которые все говорят в поддержку этого взгляда, то с уверенностью можно сказать, что взаимная помощь представляет такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. Более того. Как фактор эволюции, т. е., как условие развития вообще — она, по всей вероятности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, потому что способствует развитию таких привычек и свойств, которые обеспечивают поддержание и дальнейшее развитие вида, при наибольшем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной особи, и в то же время, при наименьшей бесполезной растрате ею энергии, сил.

Насколько мне известно, из ученых последователей Дарвина, первым признавшим за взаимной помощью значение закона природы и главного фактора эволюции, был очень известный русский зоолог, бывший декан Петербургского Университета, профессор К. Ф. Кесслер. Он развил эту мысль в речи, произнесенной в январе 1880 года, за несколько месяцев, до своей смерти, на съезде русских естествоиспытателей; но, подобно многим другим хорошим вещам, напечатанным лишь на одном только русском языке, эта замечательная речь осталась почти совершенно неизвестной.[5] Как старый зоолог, говорил Кесслер, он чувствовал себя обязанным выразить протест против злоупотребления термином «борьба за существование» заимствованным из зоологии, или, по крайней мере, против чересчур преувеличенной оценке его значения. «Особенно в зоологии», говорил он, «и в науках, посвященных разностороннему изучению человека, на каждом шагу указывают на жестокий закон борьбы за существование, и часто совершенно упускают из виду, что есть другой закон, который можно назвать законом взаимной помощи, и который, по крайней мере по отношению к животным, едва ли не важнее закона борьбы за существование». Затем, Кесслер указывал на то, как потребность оставить после себя потомство, неизбежно соединяет животных, и «чем теснее дружатся между собою неделимые известного вида, чем больше оказывают взаимной помощи друг другу, тем больше упрочивается существование вида, и тем больше получается шансов, что данный вид пойдёт дальше в своём развитии и усовершенствуется, между прочим, также и в интеллектуальном отношении». «Взаимную помощь друг другу оказывают животные всех классов, особенно высших», продолжал Кесслер (стр. 131), и он подтверждал свою идею

примерами, взятыми из жизни жуков-гробокопателей и из общественной жизни птиц и некоторых млекопитающих. Примеры эти были немногочисленны, как и следовало быть в краткой вступительной речи, но главные пункты были ясно установлены. Упомянув далее о том, что в развитии человечества взаимная помощь играла ещё более значительную роль, Кесслер закончил свою речь следующими замечаниями: «Я ведь не отрицаю борьбы за существование, но только утверждаю, что прогрессивному развитию, как всего животного царства, так специально человечества, не столько содействует взаимная борьба, сколько взаимная помощь... Всем органическим телам присущи две коренные потребности, — потребность питания и потребность размножения. Потребность в питании ведёт их к борьбе за существование и к взаимному истреблению друг друга, а потребность в размножении ведёт их к сближению между собою и к взаимной помощи друг другу. Но на развитие органического мира, на преобразование одних форм в другие оказывает едва ли не более влияния сближение между неделимыми одного и того же вида, нежели борьба между ними».[6]

Правильность вышеприведённых взглядов обратила на себя внимание большинства присутствовавших на съезде русских зоологов, и Н.А. Северцов, работы которого хорошо известны орнитологам и географам, поддержал их и пояснил на нескольких добавочных примерах. Он упомянул о некоторых видах соколов, которые одарены «почти идеальной организацией в целях нападения», но тем не менее вымирают, в то время как другие виды соколов, практикующие взаимопомощь, процветают. «С другой стороны, возьмите такую общительную птицу, как утка, — говорил он; — в общем она плохо организована, но она практикует взаимную поддержку, и, судя по её бесчисленным видам и разновидностям, она положительно стремится распространиться по всему земному шару».

Готовность русских зоологов воспринять воззрения Кесслера объясняется весьма естественно тем, что почти все они имели случай изучать животный мир в обширных незаселённых областях Северной Азии или Восточной России, а изучение подобных областей неизбежно приводит к тем же выводам. Я помню впечатление, произведённое на меня животным миром Сибири, когда я исследовал Олекминско-Витимское нагорье, в сообществе с таким выдающимся зоологом, каким был мой друг Иван Семёнович Поляков. Мы оба были под свежим впечатлением «Происхождения Видов» Дарвина, но тщетно искали того обострённого соперничества между животными одного и того же вида, к которому приготовило нас чтение работы Дарвина, — даже приняв во внимание замечания в III-ей главе этой работы (стр. 54).

— «Где же эта борьба?» — спрашивал я его. Мы видели множество приспособлений для борьбы, очень часто борьбы общей, против неблагоприятных климатических условий, или против различных врагов, и И. С. Поляков написал несколько прекрасных страниц о взаимной зависимости хищных, жвачных и грызунов в их географическом распределении. С другой стороны, мы видели значительное количество фактов взаимной поддержки, в особенности во время переселений птиц и жвачных; но даже в Амурской и Уссурийской областях, где животная жизнь отличается очень большим изобилием, факты действительного соперничества и борьбы между особями одного и того же вида среди высших животных мне пришлось наблюдать очень редко, хотя я и искал их. То же впечатление выношишь и из трудов большинства русских зоологов, и это обстоятельство,

может быть, объясняет, почему идеи Кесслера были так хорошо встречены русскими дарвинистами, тогда как подобные взгляды не в ходу среди последователей Дарвина в Западной Европе.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать борьбу за существование, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения, это — изобилие фактов взаимной помощи, практикуемой не только в целях воспитания потомства, как это признаётся большинством эволюционистов, но также и в целях безопасности особи и добывания ею необходимой пищи. Во многих обширных подразделениях животного царства взаимная помощь является общим правилом. Взаимная помощь встречается даже среди самых низших животных, и мы, вероятно, узнаем когда-нибудь от лиц, изучающих микроскопическую жизнь стоячих вод, о фактах бессознательной взаимной поддержки, даже среди мельчайших микроорганизмов.

Конечно, наши познания о жизни беспозвоночных, — за исключением термитов, муравьев и пчёл, — чрезвычайно ограничены; но, несмотря на это, даже из жизни низших животных мы можем привести несколько фактов вполне удостоверенной взаимопомощи. Бесчисленные сообщества саранчи, бабочек — особенно ванесс — сверчков, жучков (цициндел) и т. д., в сущности, совершенно ещё не исследованы; но уже самый факт их существования указывает на то, что они должны состояться приблизительно на таких же началах, как и временные сообщества муравьев и пчёл для целей переселения.[7] Что же касается жуков, то известны вполне точно наблюденные факты взаимной помощи среди могильщиков (*Necrophorus*). Им нужен какой-нибудь разлагающийся органический материал для кладки в нём яиц и обеспечения их личинок пищей; но гниение подобного материала не должно происходить слишком быстро. Вследствие этого, жуки-могильщики закапывают в землю трупы всяких мелких животных, которые случайно попадают им во время их поисков. Вообще, жуки этой породы живут особняком; но, когда один из них находит труп мыши, или птицы, который он не может сам закопать, он созывает ещё несколько других могильщиков (их сходится иногда до шести), чтобы совершить эту операцию соединёнными силами. Если нужно, они переносят труп на более подходящую, мягкую почву. Вообще, закапывание производится чрезвычайно обдуманно и совершенно без спора относительно того, кому придётся воспользоваться привилегией положить яички в закопанном трупе. И когда Гледич привязывал мертвую птицу к кресту, сделанному из двух палочек, или подвешивал лягушку к палке, воткнутой в землю могильщики самым дружественным образом, направляли усилия своих соединённых умов, чтобы преодолеть хитрость человека. То же самое сочетание усилий наблюдается и у навозных жуков.

Но даже среди животных, стоящих на несколько низшей ступени организации, мы можем найти подобные же примеры. Некоторые земноводные крабы Вест-Индии и Северной Америки соединяются громадными полчищами, когда направляются к морю, для метания икры, при чём каждое такое переселение непременно предполагает некоторое взаимное соглашение для совместного действия и взаимную поддержку. Что же касается больших Молуккских крабов (*Limulus*), то я был поражен, увидавши в 1882 году, в Брайтонском аквариуме, насколько эти неуклюжие животные способны оказывать друг другу помощь, когда она оказывается нужной одному из них. Так, например, один из них перевернулся на спину в углу большого чана, где их содержат в аквариуме, и его тяжёлый, похожий на

большую кастрюлю, панцирь мешал ему принять обычную позу, тем более, что в этом углу была сделана железная перегородка, которая еще более затрудняла его попытки перевернуться. Тогда его сотоварищи поспешили к нему на помощь, и в течение целого часа я наблюдал, как они старались помочь своему товарищу по заключению. Сначала явились двое крабов, толкавших своего друга снизу, и после усердных усилий им удавалось поставить его ребром, но железная перегородка мешала им закончить дело, и краб снова тяжело валился на спину. После многих попыток один из спасителей отправился в глубину чана и привёл с собой ещё двух крабов, которые со свежими силами принялись снова поднимать и подталкивать своего беспомощного товарища. Мы пробыли в аквариуме более двух часов и, уходя, снова подошли заглянуть в чан работа освобождения всё ещё продолжалась! После того, как я был свидетелем этого эпизода, я вполне верю наблюдению, упоминаемому Эразмом Дравиным, а именно, что «обыкновенный краб во время линяния ставит в качестве часовых не полинявших ещё крабов, или же особей с отвердевшей уже скорлупой, дабы защищать полинявшие особи, в их беззащитном состоянии, от нападений морских врагов».[8]

Факты взаимопомощи у термитов, муравьев и пчёл настолько хорошо известны, почти всякому читателю, в особенности благодаря популярным книгам Романеса, Бюхнера и Джона Лэббока, что я могу ограничиться весьма немногими указаниями.[9] Если мы возьмём муравейник, то мы не только увидим, что всякого рода работа — воспитание потомства, фуражировка, постройка, воспитание куколок, выкармливание тлей и т. п. — выполняется согласно принципам добровольной взаимной помощи; но, вместе с Форелем, мы должны будем также признать, что главною, основною чертою жизни многих видов муравьев является тот факт, что каждый муравей делится и обязан делиться своей пищей, уже проглоченной и отчасти переваренной, с каждым членом общины, предъявляющим на нее требование. Два муравья, принадлежащие к двум различным видам или к двум враждебным муравейникам, будут, при случайной встрече, избегать друг друга. Но два муравья, принадлежащие к одному и тому же муравейнику или к одной и той же колонии муравейников, всегда подходят друг к другу, обмениваются несколькими движениями щупалец, и «если один из них голоден или чувствует жажду, и в особенности, если у другого в это время зобик полон, то первый немедленно просит пищи». Муравей, к которому таким образом обратились с просьбой, никогда не отказывает; он раздвигает свои челюсти и, придав телу надлежащее положение, отрывает каплю прозрачной жидкости, которая слизывается голодным муравьем. Отрывание пищи для кормления других является такой важной чертой в жизни муравьев (на воле) и так постоянно применяется, как для кормления голодных товарищей, так и для выкармливания личинок, что, по мнению Фореля, пищеварительные органы муравьев состоят из двух различных частей: одна из них, задняя, предназначается для специального пользования самого индивидуума, а другая, передняя, — главным образом на пользу общины. Если бы какой-нибудь муравей с полным зобиком оказался настолько себялюбивым, что отказал бы в пище товарищу, с ним поступили бы как с врагом, или даже хуже. Если бы отказ был сделан в такое время, когда его сородичи сражаются с каким-либо иным видом муравьев, или с чужим муравейником, они напали бы на своего жадного товарища с большим ожесточением, чем на самих врагов. Но если бы муравей не отказался накормить другого муравья, принадлежащего к вражескому муравейнику, то сородичи последнего стали бы обращаться с ним, как с другом. Всё это подтверждено чрезвычайно точными наблюдениями и опытами, не оставляющими никакого

сомнения, ни в действительности самих фактов, ни в правильности их истолкования.[10]

Таким образом, в этом огромном отделе животного мира, который охватывает более тысячи видов и настолько многочислен, что Бразилия, по уверению бразильцев, принадлежит не людям, а муравьям, — совершенно отсутствует борьба и состязание из-за пищи между членами одного и того же муравейника, или колонии муравейников. Как бы ни были ужасны войны, между различными видами муравьев и различными муравейниками, какие бы жестокости не совершались во время войны, взаимная помощь внутри общины и самоотречение на пользу общую обратились в привычку, а самопожертвование индивидуума для общего блага является общим правилом. Муравьи и термиты отrekliсь, таким образом, от «Гоббсовой войны» и только выиграли от этого. Их поразительные муравейники, их постройки, превосходящие по относительной высоте людские постройки; их мощёные дороги и крытые галереи — между муравейниками; их обширные залы и зернохранилища; их хлебные поля, их жатвы и «соложение» ими зерна[11]; удивительные «огороды» «зонтичного муравья», который объедает листья и удобряет кусочки земли катышками из пережёванных кусочков листа, причём в этих огородах растёт только одна порода грибов, а все остальные уничтожаются; их рациональные методы вынянчивания яиц и личинок, общие всем муравьям, и построение специальных гнезд и загородей для выращивания тлей, которых Линней так живописно назвал «муравьиными коровами», и, наконец, их храбрость, отважность и высокое умственное развитие, всё это естественные результаты взаимной помощи, практикуемой ими на каждом шагу их деятельной и трудолюбивой жизни. Общительность муравьев привела также к развитию другой существенной черты их жизни, а именно, к огромному развитию личного почина, который, в свою очередь, содействовал развитию у муравьев таких высоких и разнообразных умственных способностей, что они вызывают восторг и удивление каждого наблюдателя.[12]

Если бы мы не были знакомы ни с какими другими фактами из жизни животных, кроме тех, которые известны о муравьях и термитах, мы могли бы уже с уверенностью заключить, что взаимная помощь, (ведущая к взаимному доверию — первому условию мужества) и индивидуальная инициатива (первое условие умственного прогресса) являются двумя условиями, несравненно более важными в эволюции мира животных, чем взаимная борьба. Действительно, муравей процветает, хотя и не обладает ни одной из тех «защитительных» черт, без которых не может обойтись ни одно из животных, ведущих одинокую жизнь. Их окраска делает их очень заметными для их врагов, а высокие муравейники многих видов сразу обращают на себя внимание в лесах и на лугах. У муравья нет твёрдого панциря, а его жало, как бы ни было оно опасно, когда сотни жал вонзаются в тело животного, не имеет большой цены для целей индивидуальной защиты. В то же время личинки и куколки муравьев (так наз. муравьиные яйца) составляют лакомство для многих обитателей лесов. И тем не менее, муравьи, несмотря на их многочисленность, не подвергаются сильному истреблению птицами и даже муравьедами и внушают ужас насекомым, гораздо более сильным, чем они сами. Когда Форель опоражнивал мешок с муравьями на лугу, он видел, как «сверчки разбегались, оставляя свои норы на разграбление муравьям; пауки и жуки бросали свои жертвы, из боязни самим очутиться в положении жертвы», муравьи захватывали даже гнезда ос, после битвы, во время которой многие из них гибли для блага общины. Даже самые быстрые насекомые не успевали спастись, и Форелю часто приходилось видеть, как муравьи внезапно нападали и убивали бабочек, комаров, мух и т. д.

Сила их заключается во взаимной поддержке и взаимном доверии. И если муравей, — не говоря о еще более развитых термитах, — стоит на самой вершине целого класса насекомых по своим умственным способностям; если по храбрости его можно приравнять к наиболее мужественным позвоночным, и его мозг, — говоря словами Дарвина, — «представляет один из самых чудесных атомов материи в мире — может быть, даже более удивительный, чем мозг человека», — то не обязан ли муравей всем этим тому, что взаимная помощь совершенно заменила взаимную борьбу в его общинах?

То же самое справедливо и относительно пчел. Эти маленькие насекомые, которым так легко было бы стать добычей многочисленных птиц, и мед которых привлекает все классы животных, начиная с жука и кончая медведем, также не имеют ни одной из защитительных особенностей в строении, или в области мимикрии[13], без которых насекомые, живущие в одиночку, едва ли могли бы избежать полного истребления; но, несмотря на это, вследствие практикуемой пчелами взаимной помощи, они, как известно, успели широко распространиться по земному шару, обладают поразительной смелостью и выработали поразительные формы общежития.

Работая сообща, они этим умножают в невероятных размерах свои индивидуальные силы; а прибегая ко временному разделению труда, — причем за каждой пчелой сохраняется способность исполнять, когда это понадобится, любого рода работу, — они достигают такой степени благосостояния и безопасности, какой нельзя ожидать ни у одного изолированного животного, как бы оно ни было сильно или хорошо вооружено. В своих сообществах пчелы часто превосходят человека, когда он пренебрегает выгодами обдуманной взаимной помощи. Так, например, когда рой пчел готовится покинуть улей, чтобы основать новое сообщество, некоторое количество пчел предварительно исследует соседнюю местность, и, если им удастся открыть удобное место для жилья — например, старую корзину, или что-нибудь в этом роде — они завладевают им, чистят его и охраняют, иногда в продолжение целой недели, пока рой не выростит и не оседет здесь, на выбранном месте. Между тем как людям сплошь да рядом приходилось погибать при переселении в новые страны, потому только, что переселенцы не понимали необходимости объединения усилий! При помощи коллективного ума, пчелы с успехом борются даже против неблагоприятных обстоятельств, иногда совершенно непредвиденных и необычных, как, напр., это случилось с пчелами на Парижской выставке, где они залепили пчелиным клеем (узой) ставню, закрывавшую окно, устроенное в стене их улья.[14] Кроме того, они вовсе не отличаются кровопролитными наклонностями и любовью к бесполезным битвам, которыми многие писатели так охотно наделяют всех животных. Часовые, охраняющие вход в улей, безжалостно убивают всех пчел-грабительниц, стремящихся проникнуть к ним; но пчелы-чужаки, попадающие по ошибке, остаются не тронутыми, в особенности, если они прилетают обремененные запасом собранной цветочной пыли, или если это — молодые пчелы, которые могут легко сбиться с пути. Таким образом, военные действия сводятся к строго необходимому.

Общественность пчел тем более поучительна, что хищнические инстинкты и леность продолжают существовать среди них и вновь проявляются каждый раз, когда тому благоприятствуют обстоятельства. Известно, что всегда имеется некоторое количество пчел, которые предпочитают жизнь грабителей трудолюбивой жизни рабочего; причем в периоды скудности, как и в периоды необычайного изобилия пищи, число грабителей

быстро возрастает. Когда жатва кончена и на наших полях и лугах остается мало материала для выводки меда, пчелы-грабительницы появляются в большом числе: с другой стороны, на сахарных плантациях Вест-Индии и на рафинадных заводах Европы грабеж, леность и очень часто пьянство становятся обычным явлением среди пчел. Мы видим, таким образом, что противообщественные инстинкты продолжают существовать среди пчел, но естественный подбор беспрерывно должен уничтожать их, так как в конце концов практика взаимности оказывается более выгодной для вида, чем развитие особей, одарённых хищническими наклонностями. «Наиболее хитрые и наиболее бесцеремонные», о которых говорил Гексли, уничтожаются, чтобы дать место особям, понимающим выгоды общительной жизни и взаимной поддержки.

Конечно, ни муравьи, ни пчёлы, ни даже термиты не поднялись до понимания высшей солидарности, которая охватывала бы весь их вид. В этом отношении они очевидно не достигли той ступени развития, которой мы не находим даже среди политических, научных и религиозных руководителей человечества. Их общественные инстинкты почти не переходят за пределы муравейника или улья. Тем не менее, Форель описал колонии муравьев на Мон-Тандре и на горе Салеве, заключающие в себе не менее двух сот муравейников, причём обитатели таких колоний принадлежали к двум различным видам (*Formica exsecta* и *F. pressilabris*). Форель утверждает при этом, что каждый член этих колоний узнаёт всех остальных членов, и что все они принимают участие в общей защите. Мак-Кук наблюдал в Пенсильвании целую нацию муравьев, состоявшую из 1600–1700 муравейников, живших в полном согласии; а Бэтс описал огромные, пространства в Бразильских «кампосах» (степях), покрытые холмиками термитов, причём некоторые муравейники служили убежищем для двух или трёх различных видов, и большинство этих построек было соединено между собою сводчатыми галереями и крытыми аркадами.[15] Таким образом, попытки объединения довольно обширных подотделов вида, для целей взаимной защиты и общественной жизни, встречаются даже среди беспозвоночных животных.

Переходя теперь к высшим животным, мы находим ещё больше случаев несомненно сознательной взаимной помощи, практикуемой для всевозможных целей, — хотя, впрочем, мы должны заметить, что наши, познания о жизни даже высших животных всё ещё отличаются большой недостаточностью. Множество фактов этого рода было собрано самыми первоклассными зоологами, но тем не менее, имеются целые отделы животного царства, о которых нам почти ничего неизвестно.

Особенно мало у нас достоверных сведений относительно рыб, отчасти вследствие затруднительности наблюдений, а отчасти вследствие того, что на этот предмет до сих пор не было обращено должного внимания. Что же касается до млекопитающих, то уже Кесслер заметил, как мало мы знакомы с их жизнью. Многие из них только по ночам выходят из своих логовищ; другие скрываются под землей; те же жвачные, которых общественная жизнь и переселение представляют глубочайший интерес, не дают человеку близко подойти к их стадам. Больше всего мы знаем о птицах; но всё же общественная жизнь очень многих видов остается нам очень мало известной. Впрочем, в общем нечего жаловаться на недостаток хорошо установленных фактов, как это видно будет из нижеследующего.

Мне нет надобности останавливаться здесь на сообществах между самцом и самкою для воспитания их потомства для обеспечения его пищей на первых ступенях жизни и для совместной охоты; хотя и можно упомянуть, что подобные семейные ассоциации широко распространены даже у наименее общительных плотоядных животных и хищных птиц: причем их главный интерес состоит в том, что семейное общество представляет среду, в которой развиваются более нежные чувства, даже среди животных, чрезвычайно свирепых в других отношениях. Можно также прибавить, что редкость сообществ, выходящих за пределы семьи, у плотоядных животных и хищных птиц, — хотя и является, в большинстве случаев результатом образа их питания, но может быть также объяснена, до известной степени, как следствие тех перемен в животном мире, которые были вызваны быстрым размножением человечества. Во всяком случае, не мешает заметить, что есть виды, которых особи живут совершенно одинокою жизнью в густонаселенных областях, в то время как те же самые виды, или их ближайшие сородичи, живут стадами в местностях, не обитаемых человеком. Для примера в этом отношении можно указать на волков, лисиц и некоторых хищных птиц.

Впрочем, сообщества, не переходящие за пределы семьи, представляют для нас сравнительно малый интерес; тем более что известно много других сообществ, гораздо более общего характера, как, например, ассоциации, составляемые многими животными для охоты, для взаимной защиты, или же просто для наслаждения жизнью. Одюбон уже указывал, что орлы иногда слетаются вместе, по нескольку особей, и его рассказ о двух лысых орлах, самце и самке, охотившихся на Миссисипи, хорошо известен, как образец художественного описания. Но одно из наиболее убедительных наблюдений в этом направлении принадлежит Северцову. Изучая фауну русских степей, он однажды увидел орла, принадлежащего к стайному виду (белохвост, *Haliaeetus albicilla*), поднимавшегося в высоту; в продолжение получаса он молча описывал широкие круги, и вдруг внезапно раздался его пронзительный клекот. На этот крик вскоре ответил крик другого орла, подлетавшего к первому, за ним последовал третий, четвертый и т. д., пока не собралось девять или десять орлов, которые вскоре исчезли из виду. После полудня Северцов отправился к тому месту, куда, как он заметил, полетели орлы; укрываясь за одним из волнообразных возвышений степи, он приблизился к орлиной стае и увидел, что она собралась вокруг лошадиного трупа. Старые орлы, которые вообще кормятся первые, — таковы правила приличия в орлином обществе — уже сидели на соседних стогах сена, в качестве часовых, в то время как молодые продолжали кормиться, окруженные стаями ворон. Из этого и других подобных наблюдений Северцов вывел заключение, что белохвостые орлы соединяются между собою для охоты; поднявшись все на большую высоту, они, если их будет, например, около десятка, могут осмотреть площадь, по крайней мере, около пятидесяти квадратных верст; причем, как только один из них открывает что-нибудь, он тотчас сообщает об этом сотоварищам.[16]

Конечно, можно было бы сказать, что инстинктивный крик первого орла при виде добычи, или даже его движения, могли привлечь других; но в вышеприведенном случае есть указание в пользу взаимного предупреждения, так как орлы слетелись раньше, чем спуститься к павшей лошади. Кроме того, Северцову приходилось несколько раз позже убеждаться в том, что белохвостые орлы всегда слетаются по нескольку на падаль, и что некоторые из них (в начале пиршества молодые) всегда выполняют роль часовых, в то время

как другие едят. Действительно, белохвостые орлы — одни из самых храбрых и наилучших охотников — вообще стайная птица, и Брэм говорит, что, попадая в неволю, они быстро привязываются к человеку.

Общежительность является общей чертой для очень многих других хищных птиц. Бразильский коршун (каракара) — один из самых «бесстыжих» грабителей, оказывается, тем не менее, чрезвычайно общительным. Его сообщества для охоты были описаны Дарвином и другими натуралистами, причем оказывается, что если он схватит чересчур крупную добычу, то созывает пять или шесть товарищей, чтобы унести ее. Вечером, когда эти коршуны, все время находящиеся в движении, налетавшись задень, отправляются на покой и садятся на какое-нибудь одинокое дерево в степи, они всегда собираются небольшими стаями, причем к ним присоединяются перконоптеры, небольшие темнокрылые коршуны, похожие на ворону, — «их истинные друзья», говорит Д'Орбиньи.[17] В Старом Свете, в Закаспийских степях, коршуны имеют, по наблюдениям Зарудного, ту же привычку вить свои гнезда по несколько в одном месте. Общительный гриф[18] — одна из самых сильных пород коршунов, — получил самое свое название за любовь к обществу. Они живут огромными стаями, и в Африке попадаются горы, буквально покрытые, в каждом свободном местечке, их гнездами. Они положительно наслаждаются общественной жизнью и собираются очень большими стаями для высоких полетов, составляющих своего рода спорт. «Они живут в большей дружбе», говорит Ле Вальян, и «иногда в одной и той же пещере я находил до трех гнэзд».[19] Коршуны Урубубу в Бразилии отличаются, пожалуй, еще большей общительностью, чем грачи, говорит Бэтс.[20] Маленькие египетские коршуны (*Perchnopterus stercorarius*) тоже живут в большой дружбе. Они играют стаями в воздухе, вместе проводят ночь и утром гурьбою отправляются в поиски за пищей, причем между ними не бывает никаких, даже мелких, ссор: так свидетельствует Брэм, имевший полную возможность наблюдать их жизнь. Красногорлый сокол также встречается многочисленными стаями в Бразильских лесах, а сокол пустельга (*Tinnunculus senchris*), оставив Европу и достигнув зимой степей и лесов Азии, собирается в большие сообщества. В степях южной России он ведет (вернее, вел) такую общительную жизнь, что Нордмал видал его в больших стаях, совместно с другими соколами (*Falco tinnuculus*, *F. oesulon* и *F. subbuteo*), которые собирались в ясные дни около четырех часов пополудни и наслаждались своими полетами до поздней ночи. Они обыкновенно летели все вместе, по совершенно прямой линии, вплоть до известной определенной точки, после чего немедленно возвращались по той же линии и затем снова повторяли тот же полет.[21]

Подобные полеты стаями, ради самого удовольствия полета, очень обыкновенны среди всякого рода птиц. Ч. Диксон сообщает, что в особенности по реке Эмбер (Humber) на болотистых равнинах, часто появляются в конце августа многочисленные стаи куликов (*Tringa alpina*, горный песочник, зовут также чернозобик) и остаются на зиму. Полеты этих птиц чрезвычайно интересны, так как, собравшись огромною стаею, они описывают в воздухе круги, затем рассеиваются, а затем снова собираются, проделывая этот маневр с аккуратностью хорошо обученных солдат. Среди них бывают рассеяны многие случайные песочники других видов, улиты и кулики.[22]

Перечислить здесь различные охотничьи сообщества птиц было бы просто невозможно: они представляют самое обыкновенное явление; но следует отметить по крайней мере рыбацьи

сообщества пеликанов, в которых эти неуклюжие птицы проявляют замечательную организацию и смышленность. Они всегда отправляются на рыбную ловлю большими стаями и, выбрав подходящую губу, составляют широкий полукруг, лицом к берегу; мало-помалу полукруг этот стягивается, по мере того, как птицы подгребаются к берегу, и, благодаря этому маневру, вся рыба, попавшая в полукруг, вылавливается. На узких реках и на каналах пеликаны даже разделяются на две партии, из которых каждая составляет свой полукруг, и обе плывут навстречу друг к другу, совершенно так же, как если бы две партии людей шли навстречу друг к другу с двумя длинными неводами, чтобы захватить рыбу, попавшую между неводов. С наступлением ночи пеликаны улетают на свое обычное место отдыха — всегда одно и то же для каждой отдельной стаи — и никто никогда не видал, чтобы между ними происходили драки из-за того или другого места рыбной ловли, или места отдыха. В Южной Америке пеликаны собираются стаями до 40,000 и до 50,000 птиц, часть которых наслаждается сном, в то время как другие стоят на страже, а часть отправляется на рыбную ловлю.[23]

Наконец, я совершил бы большую несправедливость по отношению к нашему столь оклеветанному домашнему воробью, если бы не упомянул о том, как охотно каждый из них делится всякой находимой им пищей с членами того общества, к которому он принадлежит. Этот факт был хорошо известен древним грекам, и до нас дошло предание о том, как греческий оратор воскликнул однажды (цитирую на память): «В то время как я говорил вам, прилетал воробей, чтобы сказать другим воробьям, что какой-то раб рассыпал мешок с зерном, и все они улетели подбирать зерно». Тем более приятно мне было найти подтверждение этого наблюдения древних в современной небольшой книге Гёрнея, который вполне убеждён, что домашние воробьи всегда уведомляют друг друга, когда можно где-нибудь пожить с пищей. Он говорит: «Как бы далеко от двора фермы ни обмолачивался скирд хлеба — воробьи во дворе фермы всегда оказывались с зобами, набитыми зерном».[24] Правда, воробьи с чрезвычайной щепетильностью охраняют свои владения от вторжений чужаков; так, например, воробьи Люксембургского сада в Париже жестоко нападают на всех других воробьев, которые пытаются, в свою очередь, воспользоваться садом и щедростью его посетителей; но внутри своих собственных общин или групп они чрезвычайно широко практикуют взаимную поддержку, хотя иногда дело и не обходится без ссор, — как это бывает, впрочем, даже между лучшими друзьями.[25]

Охота группами и кормление стаями настолько обычны в мире птиц, что едва ли нужно приводить еще примеры: эти два явления следует рассматривать как вполне установленный факт. Что же касается силы, которую дают птицам подобные сообщества, то она вполне очевидна. Самые крупные хищники вынуждены бывают пасовать перед ассоциациями самых мелких птиц. Даже орлы — даже самый могучий и страшный орел могильник или боевой орел, которые отличаются такой силой, что могут поднять в своих когтях зайца или молодую антилопу, — бывают принуждены оставлять свою добычу стаям коршунов, которые устраивают правильную охоту за ними, как только заметят, что одному из них попалась хорошая добыча. Коршуны также охотятся за быстрою скопою-рыболовом и отнимают у нее наловленную ею рыбу; но никому еще не приходилось наблюдать, чтобы коршуны дрались за обладание похищенной таким образом добычей. На острове Кергелене д-р Couës видел, как *Vurphagus* (из скворцового семейства, морская курочка промышленников) преследует чаек с целью заставить их отрыгнуть пищу; хотя, с другой стороны, чайки, в соединении с

морскими ласточками, прогоняют морскую курочку, как только она приближается к их владениям, особенно во время гнездования.[26] Маленькие, но очень быстрые пигалицы (*Vanellus cristatus*) смело атакуют хищных птиц. «Атака пигалиц на сарыча, на коршуна, на ворону или на орла — одно из самых интересных зрелищ. Чувствуется, что они уверены в победе, и видишь ярость хищника. В подобных случаях пигалицы в совершенстве поддерживают друг друга, и чем многочисленнее они, тем храбрее».[27] Пигалица вполне заслужила прозвище «доброй матери», которое ей дали греки, так как она никогда не отказывается защищать других водяных птиц от нападений их врагов. Но даже маленький обитатель наших садов, белая трясогузка (*Motacilla alba*), вся длина которой едва достигает восьми дюймов, заставляет иногда воробьиного ястреба прекратить охоту. «Я часто восхищался их мужеством и проворством, — писал старик Брэм, — и я убеждён, что один только сокол способен поймать трясогузку... Когда их стая заставит какого-нибудь хищника удалиться, они оглашают воздух торжествующим писком и затем разлетаются». В таких случаях они собираются с определенной целью, — погоняться за врагом, совершенно так же, как нам приходилось наблюдать, что всё птичье население леса вдруг поднималось при известии о появлении в нём какой-нибудь ночной птицы и все — как хищные птицы, так и маленькие безобидные певуны — начинали гоняться за пришельцем и, в конце концов, принуждали его вернуться в своё убежище.

Какая громадная разница между силами коршуна, сарыча или ястреба, и таких маленьких пташек, как луговая трясогузка! А между тем эти маленькие птички, благодаря своим совместным действиям и храбрости, одерживают верх над грабителями, которые обладают могучим полётом и превосходно вооружены для нападения! В Европе трясогузки, не только гонятся за теми хищными птицами, которые могут быть опасны для них, но также и за ястребами рыболовами — «скорее для забавы, чем для нанесения им вреда», говорит Брэм. В Индии, по свидетельству доктора Джердона, галки гонятся за коршунами (*Gowinda*) «просто для развлечения»; а князь Вид (*Wied*) говорит, что бразильского орла, *urubitinga*, часто окружают бесчисленные стаи туканов («насмешников») и классиков (птица, находящаяся в близком родстве с нашими грачами) и издеваются над ним. «Орёл, — прибавляет Вид, — обыкновенно относится к подобным надоеданиям очень спокойно; впрочем, от времени до времени, он таки схватит одного из пристающих к нему насмешников». Мы видим, таким образом, во всех этих случаях (а таких примеров можно было бы привести десятки), как маленькие птицы, неизмеримо уступающие по силе хищнику, оказываются тем не менее сильнее его благодаря тому, что действуют сообща.[28]

Самых поразительных результатов, в смысле обеспечения личной безопасности, наслаждения жизнью и развития умственных способностей путем общественной жизни, достигли два больших семейства птиц, а именно, журавли и попугаи. Журавли чрезвычайно общительны и живут в превосходных отношениях, не только со своими сородичами, но и с большинством водяных птиц. Их осторожность не менее удивительна, чем их ум. Они сразу разбираются в новых условиях и действуют сообразно новым требованиям. Их часовые всегда находятся на страже, когда стая кормится или отдыхает, и охотники по опыту знают, как трудно к ним подобраться. Если человеку удастся захватить их где-нибудь врасплох — они больше уже не возвращаются на это место, не выславши вперед, сперва — одного разведчика, а вслед за ним — партию разведчиков; и когда эта партия возвратится с известием, что опасности не предвидится, высылаются вторая партия разведчиков, для

проверки показания первых, прежде чем вся стая решится двинуться вперед. Со сродными видами журавли вступают в действительную дружбу, а в неволе нет другой птицы, — за исключением только не менее общительного и смышленного попугая, — которая вступала бы в такую действительную дружбу с человеком. «Журавль видит в человеке не хозяина, а друга, и всячески старается выразить это», говорит Брэм, на основании личного опыта. С раннего утра до поздней ночи журавль находится в непрерывной деятельности; но он посвящает всего несколько часов утром на добывание пищи, главным образом растительной; остальное же время он отдаёт жизни в обществе. «Он схватывает маленькие кусочки дерева или камешки, подбрасывает их на воздухе, пытаясь потом снова схватить их; он выгибает шею, распускает крылья, пляшет, подпрыгивает, бегаёт и всячески выражает своё хорошее настроение, и всегда остаётся красивым и грациозным».[29] Так как он постоянно живёт в обществе, то почти не имеет врагов, и хотя Брэму приходилось иногда наблюдать, как одного из них случайно схватил крокодил, но за исключением крокодила он не знал никаких других врагов у журавля. Осторожность журавля, вошедшая в поговорку, спасает его от всех врагов, и вообще он доживает до глубокой старости. Неудивительно, поэтому, что для сохранения вида журавлю нет надобности воспитывать многочисленное потомство, и он обыкновенно кладёт не более двух яиц. Что касается до высокого развития его ума, то достаточно сказать, что все наблюдатели единогласно признают, что умственные способности журавля сильно напоминают способности человека.

Другая чрезвычайно общительная птица, попугай, стоит, как известно, по развитию её умственных способностей, во главе всего пернатого мира. Их образ жизни, так превосходно описан Брэмом, что мне достаточно будет привести нижеследующий отрывок, как лучшую характеристику:

«Попугаи, — говорит он, — живут очень многочисленными обществами или стаями, за исключением периода спаривания. Они выбирают для стоянки место в лесу, откуда каждое утро отправляются на свои охотничьи экспедиции. Члены каждой стаи очень привязаны друг к другу и делят между собой и горе, и радость. Каждое утро они вместе отправляются в поле, или в сад, или на какое-нибудь фруктовое дерево, чтобы кормиться там фруктами или плодами. Они расставляют часовых для охраны всей стаи и внимательно относятся к их предостережениям. В случае опасности, все спешат улететь, оказывая поддержку друг другу, а вечером все в одно и то же время возвращаются на место отдохновения. Короче говоря, они всегда живут в тесном дружественном союзе».

Они также находят удовольствие в обществе других птиц. В Индии, говорит Латард — сойки и вороны слетаются из-за многих миль, чтобы провести ночь вместе с попугаями, в бамбуковых зарослях. Отправляясь на охоту, попугаи проявляют не только удивительную смышленость и осторожность, но и умение соображаться с обстоятельствами. Так, например, стая белых какаду в Австралии, прежде чем начать грабить хлебное поле, непременно сперва вышлет разведочную партию, которая располагается на самых высоких деревьях по соседству с намеченным полем, тогда как другие разведчики садятся на промежуточные деревья, между полем и лесом, и передают сигналы. Если сигналы извещают, что «всё в порядке», тогда десяток какаду отделяется от стаи, делает несколько кругов в воздухе и направляется к деревьям, ближайшим к полю. Эта вторая партия, в свою очередь, довольно долго осматривает окрестности и только после такого осмотра даёт

сигнал к общему передвижению, — после чего вся стая снимается сразу и быстро обирает поле. Австралийские колонисты с большим трудом преодолевают бдительность попугаев; но если человеку, при всей его хитрости и с его оружием, удастся убить несколько какаду, то они становятся после того настолько бдительными и осторожными, что уже расстраивают вслед за тем все ухищрения врагов.[30]

Нет никакого сомнения, что только благодаря общественному характеру их жизни, попугаи могли достичь того высокого развития смыслённости и чувств, почти доходящих до человеческого уровня, которое мы встречаем у них. Высокая их смыслённость побудила лучших натуралистов назвать некоторые виды — а именно серых попугаев — «птицей-человеком». А что касается до их взаимной привязанности, то известно, что если один из их стаи бывает убит охотником, остальные начинают летать над трупом своего сотоварища с жалостными криками и «сами падают жертвами своей дружеской привязанности», — как писал Одюбон; а если два пленных попугая, хотя бы принадлежащих к двум разным видам, подружились между собою, и один из них случайно умирает, то другой также нередко погибает от тоски и горя по умершему другу.

Не менее очевидно и то, что в своих сообществах попугаи находят несравненно большую защиту от врагов, чем они могли бы найти при самом идеальном развитии у них «клюва и когтей». Весьма немногие хищные птицы и млекопитающие осмеливаются нападать на попугаев, — и то только на мелкие породы, — и Брэм совершенно прав, говоря о попугаях, что у них, как у журавлей и у общительных обезьян, едва ли имеются какие-либо иные враги, помимо человека; при чём он прибавляет: «весьма вероятно, что большинство крупных попугаев умирает от старости, а не от когтей своих врагов. Один только человек, благодаря своему высшему разуму и вооружению, — которые также составляют результат его жизни обществами, — может до известной степени истреблять попугаев. Самая их долговечность оказывается, таким образом, результатом их общественной жизни. И, по всей вероятности, нужно то же сказать и относительно их поразительной памяти, развитию которой несомненно способствует жизнь обществами, а также долговечность, сопровождаемая полным сохранением как телесных, так и умственных способностей вплоть до глубокой старости».

Из всего вышеприведённого видно, что война всех против каждого вовсе не является преобладающим законом природы. Взаимная помощь — настолько же закон природы, как и взаимная борьба, и этот закон станет для нас ещё очевиднее, когда мы рассмотрим некоторые другие сообщества птиц и общественную жизнь млекопитающих. Некоторые беглые указания на значение закона взаимной помощи в эволюции животного царства уже сделаны были на предыдущих страницах, но значение его выяснится с большею определенностью, когда, приведя несколько фактов, мы сможем сделать на основании их наши заключения.

Глава II. Взаимная помощь у ЖИВОТНЫХ (Продолжение)

- Перелёт птиц.
- Сообщества для исследования.
- Осенние сообщества.
- Млекопитающие: малое число видов необщительных.
- Охотничьи сообщества волков и т. д.
- Сообщества грызунов; обезьян.
- Взаимная помощь в борьбе за жизнь. Аргументация Дарвина для доказательства борьбы за жизнь в пределах вида. Естественные препятствия чрезмерному размножению. • Предполагаемое уничтожение промежуточных звеньев.
- Устранение соперничества в Природе.

Лишь только весна снова наступает в умеренном поясе, целые мириады птиц, рассеянных по тёплым странам юга, собираются в бесчисленные стаи и, полные радостной энергии, спешат на Север — выводить потомство. Каждая изгородь, каждая роща, каждая скала на берегах океана, каждое озеро или пруд, которыми усеяны Северная Америка, Северная Европа и Северная Азия, могли бы рассказать нам в эту пору года о том, что представляет собою взаимная помощь в жизни птиц; какую силу, какую энергию и сколько защиты она даёт каждому живому существу, как бы слабо и беззащитно оно ни было само по себе.

Возьмите, например, одно из бесчисленных озёр русских или Сибирских степей, раннюю весною. Берега его населены мириадами водяных птиц, принадлежащих, по меньшей мере, к двадцати различным видам, живущим в полном согласии и постоянно защищающим друг друга. Вот как Северцов описывает одно из таких озёр:

«Затемнело озеро между желто-рыжими песками и темно-зелеными талыми и камышами... Оно кипит птицами. Голова кружится от этого вихря... Воздух наполнен рыбниками (*Larus rudibundus* и *Sterna hirundo*), потрясаясь их звонким криком. Тысячи куликов снуют и посвистывают по берегу..., далее, почти на каждой волне колышется, крикает утка. Высоко тянут стада казарок; ниже то и дело налетают на озеро подорлики (*Aquila clanga*) и болотные луны, немедленно преследуемые крикливой стайей рыбников... У меня глаза разбежались.[31]

Везде жизнь бьёт ключом. Но вот и хищники — «наиболее сильные и ловкие», как говорит Гёксли, «и идеально приспособленные для нападения», как говорит Северцов. И вы слышите

их голодные, жадные, озлобленные крики, когда они, в продолжение целых часов выжидают удобного случая, чтобы выхватить из этой массы живых существ хотя бы одну беззащитную особь. Но лишь только они приближаются, как об их появлении возвещают дюжины добровольных часовых, и сейчас же сотни чаек и морских ласточек начинают гонять хищника. Обезумев от голода, он, наконец, отбрасывает обычные предосторожности; он внезапно бросается на живую массу птиц; но, атакованный со всех сторон, он снова бывает вынужден отступить. В порыве голодного отчаяния он набрасывается на диких уток; но смысленные общительные птицы быстро собираются в стаю и улетают, если хищник оказался рыбным орлом; если это сокол, они ныряют в озеро; если же это коршун, — они поднимают облака водяной пыли и приводят хищника в полное замешательство.[32] И в то время, как жизнь по-прежнему кишмя кишит на озере, хищник улетает с гневными криками и ищет падали или какой-нибудь молоденькой птички или полевой мышки, которые ещё не привыкли повиноваться вовремя предостережением товарищей. В присутствии всей этой потоками льющейся жизни идеально вооруженному хищнику приходится довольствоваться одними отбросками жизни.

Еще далее к северу, в Арктических архипелагах «вы можете плыть целые мили вдоль берега, и вы видите, что все выступы, все скалы и уголки горных склонов, на двести, а не то на пятьсот футов над морем, буквально покрыты морскими птицами, белые грудки которых выделяются на фоне тёмных скал, так что скалы кажутся как будто обрызганные мелом. Воздух, вблизи и вдали, переполнен птицами».[33]

Каждая из таких «птичьих гор» представляет живой пример взаимной помощи, а также бесконечного разнообразия характеров, личных и видовых, являющихся результатом общественной жизни. Так, например, устричник[34] известен своей готовностью нападать на любую хищную птицу. Болотный кулик[35] славится своей бдительностью и умением делаться вожаком более мирных птиц. Близкий предыдущей «переводчик»,[36] когда он окружён товарищами, принадлежащими к более крупным видам, предоставляет им заботиться об охране всех, и даже становится довольно боязливой птицей; но когда ему приходится быть окружённым мелкими пташками, он принимает на себя, в интересах сообщества, обязанности часового и заставляет себя слушаться, говорит Брэм. Здесь вы можете наблюдать властолюбивых лебедей; и наряду с ними — чрезвычайно общительных, даже нежных чаек киттивак,[37] между которыми, как говорит Науманн, ссоры случаются очень редко и всегда бывают кратковременны; вы видите привлекательных полярных кайр, постоянно расточающих ласки друг другу; эгоисток-гусынь, отдающих на произвол судьбы сирот, оставшихся после убитой подруги, и рядом с ними — других гусынь, которые заботятся о таких сиротах и плавают, окружённые 50–60 малышами, о которых они заботятся, как будто все были их родными детьми. Наряду с пингвинами, воровящими друг у друга яйца, вы увидите пыжиков,[38] семейные отношения которых так «очаровательны и трогательны», что даже страстные охотники не решаются стрелять в самку пыжика, окружённую выводком, или гагок, среди которых (подобно бархатным уткам, или «coroys» саванн) несколько самок высидивают яйца в одном и том же гнезде; или кайр, которые — так утверждают достойные доверия наблюдатели — иногда поочередно сидят над общим выводком. Природа — само разнообразие, и она представляет всевозможные оттенки характеров, до самых возвышенных; поэтому-то природу нельзя и изобразить одним каким-нибудь широковещательным утверждением. Ещё менее можно судить о ней с точки зрения

моралиста, так как взгляды моралиста сами являются результатом, — большею частью бессознательным, — наблюдений над природой.[39]

Привычка собираться вместе в период гнездования настолько обыкновенна у большинства птиц, что едва ли надо приводить дальнейшие примеры. Вершины наших деревьев увенчаны группами вороньих гнёзд; живые изгороди полны гнёзд мелких пташек; на фермах гнездятся колонии ласточек; в старых башнях и колокольнях укрываются сотни ночных птиц; и легко было бы наполнить целые страницы самыми очаровательными описаниями мира и гармонии, встречаемых почти во всех этих птичьих сообществах для гнездования. А насколько такие сообщества служат защитой для самых слабых птиц, само собою очевидно. Такой превосходный наблюдатель, как американский д-р Couës видел, например, как маленькие ласточки (cliff Swallows) устраивали свои гнёзда в непосредственном соседстве со степным соколом (*Falco polyargus*). Сокол свил своё гнездо на верхушке одного из тех глиняных минаретов, которых так много в каньонах Колорадо, а колония ласточек жила непосредственно пониже его. Маленькие миролюбивые птички не боялись своего хищного соседа: они просто не позволяли ему приближаться к своей колонии. Если он это делал, они немедленно окружали его и начинали гонять, так что хищнику приходилось тотчас же удалиться.[40]

Жизнь сообществами не прекращается и тогда, когда закончено время гнездования; она только принимает новую форму. Молодые выводки собираются тогда в сообщества молодежи, в которые обыкновенно входит по несколько видов. Общественная жизнь практикуется в это время главным образом ради доставляемого ею удовольствия, а также, отчасти, ради безопасности. Так мы находим осенью в наших лесах сообщества, составленные из молодых кедровок (*Sitta coesia*), вместе с синицами, зябликами, королями, пищухами и зелеными дятлами.[41] В Испании, ласточки встречаются в компании с пустельгами, мухоловками и даже голубями. На американском Дальнем Западе молодые хохлатые жаворонки (horned lark) живут в больших сообществах, совместно с другим видом полевых жаворонков (*Sparrow's lark*), с воробьем саванн (*Savannah Sparrow*) и некоторыми видами овсянок и подорожников.[42] В сущности гораздо легче было бы описать все виды, ведущие изолированную жизнь, чем поименовать те виды, которых молодежь составляет осенние сообщества, вовсе не в целях охоты и гнездования, а лишь только для того, чтобы наслаждаться жизнью в обществе и проводить время в играх и спорте, после тех немногих часов, которые им приходится отдавать на поиски за кормом.

Наконец, мы имеем перед собою еще одну громадную область взаимопомощи у птиц, во время их перелета; она до того обширна, что я могу только в немногих словах напомнить этот великий факт природы. Достаточно сказать, что птицы, жившие до тех пор целые месяцы маленькими стаями, рассыпанными на обширном пространстве, начинают собираться весной или осенью тысячами; несколько дней подряд, иногда неделю и более, — они слетаются в определённое место, прежде чем пуститься в путь и, очевидно, обсуждают подробности предстоящего путешествия. Некоторые виды каждый день, под вечер, упражняются в подготовительных полётах, готовясь к дальнему путешествию. Все они поджидают своих запоздавших сородичей и, наконец, все вместе исчезают в один прекрасный день, т. е. улетают в известном, всегда хорошо выбранном, направлении, представляющем несомненно плод накопленного коллективного опыта. При этом самые

сильные особи летят во главе стаи, сменяясь поочередно для выполнения трудовой обязанности. Таким образом, птицы перелетают даже широкие моря большими стаями состоящими, как из крупных, так и из мелких птиц; и когда на следующую весну они возвращаются в ту же местность, каждая птица направляется в то же, хорошо знакомое место, и в большинстве случаев даже каждая пара занимает то же гнездо, которое она чинила или строила в предыдущем году.[43]

Это явление перелета настолько распространено, и в то же время так недостаточно изучено: оно создало столько поразительных привычек взаимопомощи, при чём как эти привычки, так и сам факт переселения требовали бы специальной разработки, что я вынужден воздержаться от дальнейших подробностей. Я упомяну только о многочисленных и оживлённых собраниях птиц, которые происходят из года в год на том же самом месте, прежде чем они начнут свое далёкое путешествие на север, или на юг; а, равным образом, о тех собраниях, которые можно видеть на севере, — например приустьях Енисея, или же в северных графствах Англии, — когда птицы прилетают с юга в свои обычные места гнездования, но ещё не засели в свои гнёзда. В течение многих дней, иногда даже целый месяц, они собираются каждое утро и проводят вместе около часа, прежде чем разлететься на поиски за пищей, — быть может, обсуждая места, где они собираются вить свои гнёзда.[44] И если, во время перелета, случится, что колонны переселяющихся птиц захватит буря, то это общее горе объединяет птиц самых различных видов. Разнообразие птиц, которые, будучи захвачены метелью во время перелета, бьются о стекла маяков Англии, просто поразительно. Нужно также заметить, что птицы неперелетные, но медленно передвигающиеся к северу или югу соответственно временам года, т. е., так называемые бродячие птицы, тоже совершают свои передвижения небольшими стаями. Они не переселяются в одиночку, чтобы таким образом обеспечить себе, каждая порознь, лучший корм, найти лучшее убежище в новой области, но всегда поджидают друг друга и собираются в стаи, прежде чем начать свою медленную перекочку к северу или к югу.[45]

Переходя теперь к млекопитающим, первое, что поражает нас в этом обширном классе животных, — это громаднейшее численное преобладание общительных видов над теми немногими хищниками, которые живут особняком. Плоскогорья, горные страны, степи и низменности Старого и Нового света буквально кишат стадами оленей, антилоп, газелей, буйволов, диких коз и диких овец, т. е. всё животными общественными. Когда европейцы начали проникать в прерии Северной Америки, они нашли их до того густо заселёнными буйволами, что пионерам приходилось иногда останавливаться, и надолго, когда колонна перекочёвывающих буйволов пересекала их путь; такое шествие буйволов густою колонною продолжалось иногда два и три дня; а когда русские заняли Сибирь — они нашли в ней такое огромное количество оленей, антилоп, косуль, белок и других общительных животных, что самое завоевание Сибири было не что иное, как охотничья экспедиция, растянувшаяся на два столетия. Травянистые же степи Восточной Африки до сих пор переполнены стадами зебр и разнообразных видов антилоп.[46]

Вплоть до очень недавнего времени мелкие реки Северной Америки и Северной Сибири были ещё заселены колониями бобров, а Европейской России, вся северная её часть, ещё в XVII-м веке была покрыта подобными же колониями. Луговые равнины четырёх великих континентов до сих пор ещё густо, заселены бесчисленными колониями кротов, мышей,

сурков, тарбаганов, «земляных белок» и других грызунов. В более низких широтах Азии и Африки леса по сию пору являются жилищем многочисленных семей слонов, носорогов гиппопотамов и бесчисленных сообществ обезьян. На дальнем Севере олени собираются в бесчисленные стада, а ещё дальше на севере мы находим стада мускусных быков и неисчислимыя сообщества песцов. Берега океана оживлены стадами тюленей и моржей, а его воды — стадами обшительных животных, принадлежащих к семейству китов; наконец, даже в пустынях высокого плоскогорья Центральной Азии мы находим стада диких лошадей, диких ослов, диких верблюдов и диких овец. Все эти млекопитающие живут сообществами, и племенами, насчитывающими иногда сотни тысяч особей, хотя теперь, после трёх веков цивилизации, пользовавшейся порохом, мы находим лишь жалкие остатки тех неисчислимых сообществ животных, которые существовали в былые времена.

Как ничтожно, по сравнению с ними, число хищников! И как ошибочна, вследствие этого, точка зрения тех, кто говорит о животном мире, точно он весь состоит из одних только львов и гиен, запускающих окровавленные клыки в свою добычу! Это всё равно, как если бы мы стали утверждать, что вся жизнь человечества сводится на одни войны и избиения.

Ассоциация и взаимная помощь являются правилом у млекопитающих. Привычка к общественной жизни встречается даже у хищников, и, во всём этом обширном классе животных, мы можем назвать только одно семейство Кошачьих (львы, тигры, леопарды и т. д.), которого члены действительно предпочитают одинокую жизнь общественной и только изредка встречаются — теперь, по крайней мере — небольшими группами. Впрочем, даже среди львов, «самое обыкновенное дело — охотиться группами» говорит известный охотник и знаток С. Бэкер[47]; а недавно г. Н. Шиллингс, охотившийся в экваториальной восточной Африке, даже снял фотографию — ночью, при внезапной вспышке магниевого света — со львов, собиравшихся группами в три взрослых особи, и охотившихся сообща; утром же он насчитывал у реки, к которой во время засухи стекались ночью на водопой стада зебр, следы ещё большего количества львов — до тридцати, — приходивших охотиться за зебрами, причём, конечно, никогда, за много лет, ни Шиллингс, ни кто-либо другой, не слышал чтобы львы дрались или ссорились из-за добычи[48]. Что же касается до леопардов и до южно-американской пумы (род небольшого льва), то их общительность хорошо известна.

В семействе Вивер (виверы, циветы и т. д.), — хищников, представляющих нечто среднее между кошками и куницами, и в семействе Куниц (куница, горностай, ласка, хорёк, барсук и др.) также преобладает одинокий образ жизни. Но можно считать вполне установленным, что, не дальше как в конце восемнадцатого века, обыкновенная ласка (*Mustela vulgaris*) была более общежительна, чем теперь; она встречалась тогда в Шотландии, а также в Унтервальденском кантоне Швейцарии, более многочисленными группами[49].

Что касается до обширного семейства Собак (собаки, волк, шакал, лисица, песец), то их общительность и их общества в целях охоты можно рассматривать как характерную черту для многочисленных видов этого семейства. Всем известно, как волки собираются стаями для охоты, и исследователь природы Альп, Чуди, оставил превосходное описание того, как расположившись полукругом, они окружают корову, пасущуюся на горном склоне, а потом, выскочивши внезапно с громким лаем, заставляют её свалиться в пропасть.[50] Одюбон, в

тридцатых годах прошлого столетия, также видел, как Лабрадорские волки охотились стаями, причём одна стая гналась за человеком вплоть до его хижины и разорвала его собак. В суровые зимы стаи волков делаются настолько многочисленными, что они становятся опасными для людских поселений, как это было во Франции в сороковых годах. В русских степях волки никогда не нападают на лошадей иначе как стаями, причём им приходится выдерживать ожесточенную борьбу, во время которой лошади (по свидетельству Коля) иногда переходят в наступление; в подобном случае, если волки не поспешат отступить, они рискуют быть окруженными лошадьми, которые убивают их ударами копыт. Известно также, что степные волки (*Canis latrans*) американских прерий собираются стаями в 20 и 30 штук, чтобы напасть на буйвола, случайно отбившегося от стада.[51] Шакалы, которые отличаются большою храбростью и могут считаться одними из самых умных представителей псового семейства, постоянно охотятся стаями; объединенные таким образом, они не страшатся более крупных хищников.[52] Что же касается до диких собак Азии (Ползуны, или *Dholes*), то Вильямсон видел, что их большие стаи нападают решительно на всех крупных животных, кроме слона и носорога, и что им удаётся побеждать даже медведей и тигров, у которых они, как известно, постоянно отнимают детёнышей.

Гиены всегда живут обществами и охотятся стаями, и Кемминг с большой похвалой отзывается об охотничьих организациях пятнистых гиен (*Lucaon*). Даже лисицы, которые в наших цивилизованных странах неизменно живут в одиночку, собираются иногда для охоты, как о том свидетельствуют некоторые наблюдатели.[53] Полярная же лисица, т. е. песец, является, или, точнее, была во времена Стеллера, в первой половине восемнадцатого века, одним из самых общительных животных. Читая рассказ Стеллера о той войне, которую пришлось вести злосчастному экипажу Беринга с этими маленькими смышлёнными животными, не знаешь чему больше удивляться: необычайному ли уму песцов и взаимной поддержке, которую они проявляли при откапывании пищи, зарытой под камнями, или же сложенной на столбах (один из них в таком случае взбирался на верхушку столба и сбрасывал пищу поджидавшим внизу товарищам), или же бессердечию человека, доведённого до отчаяния их многочисленными стаями. Даже некоторые медведи живут сообществами, в тех местностях, где их не беспокоит человек. Так, Стеллер видел многочисленные стада чёрных камчатских медведей, а полярных медведей иногда встречали небольшими группами. Даже не очень смышленные насекомоядные не всегда пренебрегают ассоциацией.[54]

Впрочем, наиболее развитые формы взаимопомощи мы находим в особенности среди грызунов, копытных и жвачных. Белки в значительной мере индивидуалистки. Каждая из них строит свое уютное гнездо и запасает свою провизию. Они склонны к семейной жизни, и Брэм находил, что они особенно бывают счастливы, когда оба выводка того же лета соберутся со своими родителями в каком-нибудь глухом уголке леса. Но белки всё-таки поддерживают общественные отношения. Обитатели отдельных гнёзд находятся в тесных взаимных сношениях, и если в лесу, где они живут, окажется недород сосновых шишек, они переселяются целыми большими отрядами. Что же касается до чёрных белок Дальнего Запада в Америке, то они особенно отличаются своей общительностью. За исключением нескольких часов, затрачиваемых ежедневно на фуражировку, они проводят свою жизнь в играх, собираясь для этой цели многочисленными группами. Когда же они размножаются

чересчур быстро в какой-нибудь области, как было, например, в Пенсильвании в 1749 году, они собираются стадами, почти столь же многочисленными, как тучи саранчи, и двигаются на юго-запад, — в данном случае, — опустошая по пути леса, поля и сады; при этом, конечно, вслед за их густыми колоннами пробираются лисицы, хорьки, соколы и всякие ночные птицы, кормящиеся отсталыми особями. Сродный обыкновенной белке бурундук отличается еще большей общительностью. Он — большой скопидон, и в своих подземных ходах накапливает большие запасы съедобных корней и орехов, которые осенью обыкновенно грабят люди. По мнению некоторых наблюдателей, бурундук даже знаком до известной степени с радостями, испытываемыми скрягою. Но, тем не менее, он остаётся общительным животным. Он всегда живёт большими поселениями, и когда Одюбон вскрывал зимою некоторые жилища хаки (ближайшего американского сородича нашего бурундука), он находил по несколько особей в одном помещении; запасы в таких норах, очевидно, были заготовлены общими усилиями.

Большое семейство Сурков, в которое входят три обширных рода: собственно сурков, сусликов и американских «луговых собак» (*Arctomys*, *Spermophilus* *Cynomys*) отличаются ещё большею общительностью и ещё большею смышленостью. Все представители этого семейства также предпочитают иметь каждый своё жилище; но живут они большими поселениями. Страшный враг хлебных посевов в южной России — суслик — около десяти миллионов которого истребляется ежегодно одним человеком, живёт бесчисленными колониями: и в то время, как русские земства серьёзно обсуждают средства, как избавиться от этого «врага общества», суслики, собравшись тысячами в своих посёлках, наслаждаются жизнью. Их игры так очаровательны, что нет ни одного наблюдателя, который не выразил бы сперва своего восхищения и не рассказал бы о мелодических концертах, составляющихся из резкого свиста самцов и меланхолического посвистыванья самок, — прежде чем, вспомнив о своих гражданских обязанностях, он займётся изобретением различных дьявольских средств для истребления этих маленьких грабителей. Так как разведение всякого рода хищных птиц и зверей для борьбы с сусликами оказалось тщетным, но теперь последнее слово науки в этой борьбе — прививка холеры.

Поселения «луговых собак» (*Cynomys*) в прериях Северной Америки представляют одно из самых привлекательных зрелищ. Насколько глаз может охватить пространство прерии, он везде видит маленькие земляные кучки, и на каждой из них стоит зверок, ведущий самый оживленный разговор со своими соседями, путём отрывистых звуков в роде лая. Как только подан кем-нибудь сигнал о приближении человека, все в одно мгновение ныряют в свои норки, исчезая как по волшебству. Но, как только опасность миновала, зверки немедленно выползают. Целые семьи выходят из своих нор и начинают играть. Молодые царапают и задирают друг друга, ссорятся, грациозно становятся на задние лапки, тогда как старики стоят на страже. Целые семьи ходят в гости друг к другу, и хорошо протоптанные тропинки между земляными кучками показывают, что такие посещения повторяются очень часто. Короче говоря, некоторые из лучших страниц наших лучших естествоиспытателей посвящены описанию сообществ луговых собак в Америке, сурков в Старом Свете и полярных сурков в альпийских областях. Тем не менее, мне приходится повторить относительно сурков то же, что я сказал о пчёлах. Они сохранили свои боевые инстинкты, которые и проявляются у них в неволе. Но в их больших сообществах, в общении с вольной природой, противообщественные инстинкты не имеют почвы для своего развития, и в

конечном результате получается мир и гармония.

Даже такие сварливые животные, как крысы, которые вечно грызутся между собою в наших погребах, достаточно умны, чтобы не только не ссориться, когда они занимаются грабежом кладовых, но чтобы оказывать помощь друг другу во время своих набегов и переселений. Известно, что они иногда даже кормят своих инвалидов. Зато бобровая, или мускусная крыса Канады (наша ондатра) и выхухоль отличаются высокою общественностью. Одюбон с восхищением говорит об их «мирных общинах, для счастья которых нужно только, чтобы их не тревожили». Подобно всем общительным животным, они жизнерадостны, игривы, легко соединяются с другими видами животных и вообще о них можно сказать, что они достигли высокой степени умственного развития. При постройке их поселений, всегда расположенных на берегах озёр и рек, они, по-видимому, принимают в расчёт изменяющийся уровень воды, говорит Одюбон; их куполообразные жилища, сбитые из глины с камышом, имеют отдельные уголки для органических отбросов; а их залы, в зимнее время, хорошо устланы листьями и травою: в них тепло, но в то же время они хорошо проветриваются. Что же касается до бобров, которые, как известно, одарены чрезвычайно симпатичным характером, то их поразительные плотины и поселения, в которых живут и умирают целые поколения, не зная других врагов, кроме выдры и человека, представляют поразительные образцы того, что может дать животному взаимная помощь для сохранения вида, для выработки общественных привилегий и для развития умственных способностей. Плотины и поселения бобров хорошо известны всем интересующимся жизнью животных, а потому я не буду долее останавливаться на них. Замечу только, что у бобров, у ондатры и у некоторых других грызунов мы уже находим ту черту, которая также является отличительной чертой человеческих сообществ, а именно — работу сообща.

Я прохожу молчаливым два больших семейства, в состав которых входят прыгающие мыши (египетская жербоа, или эмуранчик, и алактага), шиншила, вискача (американский земляной заяц) и тушканчик (земляной заяц южной России), хотя нравы всех этих мелких грызунов могли бы служить прекрасным образчиком тех удовольствий, которые извлекаются животными из общественной жизни.[55] Именно — удовольствий, так как чрезвычайно трудно определить, что сводит животных вместе: потребность ли во взаимной защите, или просто удовольствие, привычка чувствовать себя окружённым своими сородичами. Во всяком случае, наши обыкновенные зайцы, которые не собираются в сообщества для совместной жизни и даже не одарены особенно сильными родительскими чувствами, тем не менее не могут жить без того, чтобы не собираться для совместных игр. Дитрих Де-Винкелль, считающийся лучшим знатоком жизни зайцев, описывает их как страстных игрунов, которые так опьяняются процессом игры, что известен случай, когда разыгравшиеся зайцы приняли подкравшуюся лисицу за товарища по игре.[56] Что же касается кроликов, то они постоянно живут обществами, и вся их семейная жизнь покоится на началах древней патриархальной семьи; молодежь находится в полном подчинении у отца и даже у дедушки.[57] В данном случае мы имеем очень интересный случай: эти два очень близких вида, кролики и зайцы, не выносят друг друга, не потому, чтобы они питались одинаковою пищею, как обыкновенно принято объяснять подобные случаи, но, вероятнее всего, потому, что страстный заяц, большой индивидуалист при том, не может вести дружбу с таким покойным, смирным и покорным созданием, как кролик. Их темпераменты настолько различны, что должны быть препятствием дружбе.

В обширном семействе Лошадиных, в которое входят дикие лошади и дикие ослы Азии, зебры, мустанги, — *simarrones* пампасов и полудикие лошади Монголии и Сибири, мы опять находим самую тесную общительность. Все эти виды и породы живут многочисленными табунами, из которых каждый слагается из многих косяков, по нескольку кобыл в каждом, под руководством одного жеребца. Эти бесчисленные обитатели Старого и Нового Света, вообще говоря довольно слабо организованные для борьбы с их многочисленными врагами, а также для защиты от неблагоприятных климатических условий, скоро исчезли бы с лица земли, если бы не их общительный дух. Когда к ним приближается хищник, несколько косяков немедленно соединяются вместе; они отражают нападение хищника и иногда даже преследуют его: вследствие этого ни волк, ни медведь, ни даже лев не могут выхватить лошади, или хотя бы даже зебры, пока она не отбилась от косяка. Даже ночью, благодаря их необыкновенной стадной осторожности и предварительному осмотру местности опытными особями, зебры могут ходить на водопой к реке, несмотря на львов, засевших в кустарниках.[58] Когда засуха выжигает траву в прериях, косяки лошадей и зебр собираются стадами, численность которых доходит иногда до десяти тысяч голов, и переселяются на новые места. А когда зимой в наших азиатских степях разражается метель, косяки держатся близко друг от друга и вместе ищут защиты в какой-нибудь ложине. Но если взаимное доверие почему-либо исчезает в косяке, или же группу лошадей охватит паника и они разбегутся, то большинство их гибнет, а уцелевших находят после метели полумёртвыми от усталости. Объединение является, таким образом, их главным орудием в борьбе за существование, а человек — их главным врагом. Отступая перед увеличивающейся численностью этого врага, предки нашей домашней лошади (наименованные Поляковым *Equus Przewalskii*) предпочли переселиться в самые дикие и наименее доступные части высокого плоскогорья на границах Тибета, где они выжили до сих пор, окружённые, правда, хищниками, и в климате, мало уступающем по суровости Арктической области, но зато в местности, недоступной для человека.[59]

Много поразительных примеров общественности можно было бы заимствовать из жизни оленей, и в особенности того обширного отдела жвачных, в который можно включить косулей, антилоп, газелей, каменных козлов и т. д. в сущности, из жизни всех трёх многочисленных семейств: антилоповых, козловых и овцовых (*Antelopides*, *Caprides* и *Ovides*). Бдительность, с которой они охраняют свои стада от нападений хищников; беспокойство, обнаруживаемое целым стадом серн, пока все не перейдут какое-нибудь опасное место через скалистые утёсы; усыновление сирот; отчаяние газели, у которой убит самец или самка, или даже товарищ того же самого пола; игры молодежи и много других черт можно было бы привести для характеристики их общительности. Но, быть может, самый поразительный пример взаимной поддержки представляют случайные переселения косуль, подобные тому, которое я однажды наблюдал на Амуре.

Когда я пересекал высокое плоскогорье Восточной Азии и его окраинный хребет, Большой Хинган, по дороге из Забайкалья в Мерген, а затем ехал далее по высоким равнинам Манчжурии, на пути к Амуру, я мог удостовериться, как скудно были заселены косулями эти почти необитаемые места.[60] Два года спустя я ехал верхом вверх по Амуру и к концу октября достиг нижнего края того живописного узкого прохода, которым Амур пробивается через Доуссэ-Алин (Малый Хинган), прежде чем достигнуть низменностей, где он соединяется с Сунгари. Здесь, в станицах, расположенных в этой части Малого Хингана, я

застал казаков в сильнейшем возбуждении, так как оказалось, что тысячи и тысячи косуль переплыли здесь через Амур, в узком месте большой реки, с тем, чтобы добраться до сунгарийских низменностей. В течение нескольких дней, на протяжении около шестидесяти вёрст вверх по реке, казаки неустанно избивали косуль, переправлявшихся через Амур, по которому в то время уже несло много льда. Их убивали тысячи каждый день, но движение косуль не прекращалось.

Подобного переселения никогда не видали — ни раньше, ни позже — и причины его надо искать, по всей вероятности, в том, что в Большом Хингане и на его восточных склонах выпали тогда глубокие ранние снега, которые и принудили косуль сделать отчаянную попытку — достичь низменностей на востоке от Малого Хингана. И, действительно, несколько дней спустя, когда я стал пересекать эти последние горы, я нашёл их глубоко засыпанными рыхлым снегом, доходившим до двух и до трёх футов глубины. Над этим переселением косуль стоит задуматься. Нужно представить себе, с какой огромной территории (вёрст в 200 шириною и верст 700 в длину), должны были собраться разбросанные по ней группы косуль, чтобы начать переселение, предпринятое ими под давлением совершенно исключительных обстоятельств. Нужно представить себе затем трудности, которые пришлось преодолеть косулям, прежде чем они пришли к одной общей мысли о необходимости пересечь Амур, — не где попало, а именно южнее, там, где его русло сужено в хребте; и где, пересекая реку, они вместе с тем пересекали хребет и выходили к тёплым низменностям; и тогда, когда всё это представишь себе конкретно, нельзя не почувствовать глубокого удивления перед степенью и силою общительности, проявленной в данном случае этими умными животными. Не менее поразительны также, в смысле способности к объединению, и действию сообща, переселения бизонов, или буйволов, совершавшиеся в Северной Америке. Правда, буйволы обыкновенно, паслись в громадных количествах в прериях; но эти количества составлялись из бесконечного числа небольших стад, которые никогда не смешивались друг с другом. И все эти мелкие группы, как бы они ни были разбросаны по огромной территории, в случае необходимости, сходились между собою и образовывали те огромные колонны в сотни тысяч особей, о которых я упоминал на одной из предшествующих страниц.

Мне следовало бы также сказать хотя несколько слов о «сложных семействах» слонов, об их взаимной привязанности, об обдуманности, с которой они расставляют своих часовых, и о чувствах симпатии, развивающихся среди них, под влиянием такой жизни, полной близкой взаимной поддержки.[61] Я мог бы упомянуть также об общительных чувствах, существующих среди не пользующихся доброю славой диких кабанов, и мог бы лишь похвалить их за умение объединяться в случае нападения на них хищного зверя.[62] Гиппопотамы и носороги также должны будут иметь место в труде, посвященном общительности животных. Несколько поразительных страниц можно было бы также написать об общительности и взаимной привязанности у тюленей и моржей; и, наконец, можно было бы упомянуть и о хороших чувствах, развитых среди общительных видов Китового семейства. Но мне нужно поговорить еще о сообществах обезьян, которые особенно интересны тем, что представляют переход к обществам первобытных людей.

Едва ли нужно напоминать о том, что эти млекопитающие, стоящие на самой вершине животного мира и наиболее приближающиеся к человеку по своему строению и по своему

уму, отличаются чрезвычайной общительностью. Конечно, в таком огромном отделе животного мира, включающем сотни видов, мы неизбежно встречаем самые разнообразные характеры и нравы. Но, приняв всё это во внимание, следует признать, что общительность, действие сообща, взаимная защита и высокое развитие тех чувств, которые бывают необходимым последствием общественной жизни, являются отличительной чертой почти всего обширного отдела обезьян. Начиная с самых мелких видов и кончая крупнейшими, общительность является правилом, из которого имеется лишь очень немного исключений. Ночные обезьяны предпочитают одинокую жизнь; капуцины (*sebus capucinus*), атели — самые большие ревуны, живущие в Бразилии, и вообще ревуны — живут небольшими семьями; орангутангов Уоллэс (Wallace) никогда не встречал иначе, как по одиночке, или очень небольшими группами в три-четыре особи; а гориллы, по-видимому, никогда не сходятся в группы. Но все остальные виды обезьян — шимпанзе, гиббоны, древесные обезьяны Азии и Африки, макаки, мартышки, все собакоподобные павианы, мандрилы и все мелкие игрунки — общительны в высшей степени. Они живут большими стадами, и некоторые соединяются даже по несколько разных видов. Большинство из них чувствуют себя совершенно несчастными в одиночестве. Призывный крик каждой обезьяны немедленно собирает всё стадо, и все вместе храбро отражают нападения почти всех плотоядных животных и хищных птиц. Даже орлы не решаются нападать на обезьян. Наши поля они всегда грабят стаями, причём старики берут на себя заботу о безопасности сообщества. Маленькие ти-ти, детские личики которых так поразили Гумбольдта, обнимают и защищают друг друга от дождя, обвёртывая хвосты вокруг шей дрожащих от холода сотоварищей. Некоторые виды с чрезвычайной заботливостью относятся к своим раненым товарищам, и во время отступления никогда не бросают раненого, пока не убедятся, что он умер, и что они не в силах возратить его к жизни. Так, Джемс Форбз рассказывает в своих «Oriental Memoirs» («Записках о Востоке»), с какой настойчивостью обезьяны требовали от его отряда выдачи им трупа одной убитой самки, причём это требование сделано было в такой форме, что вполне понимаешь, почему «свидетели этой необычайной сцены решили впредь никогда не стрелять в обезьян».[63] Обезьяны некоторых видов соединяются по несколько, когда хотят перевернуть камень, с целью найти находящиеся под ним муравьиные яйца. Павианы Северной Африки (*hamadryas*), живущие очень большими стадами, не только ставят часовых, но вполне достоверные наблюдатели видели, как они устанавливали цепь для передачи награбленных плодов в безопасное место. Их храбрость хорошо известна, и достаточно напомнить классическое описание Брэма, который подробно рассказал о регулярном сражении, выдержанном его караваном, прежде чем павианы позволили ему продолжать путешествие в долину Менсы, в Абиссинии.[64] Известна также игривость хвостатых обезьян, заслуживших самое своё название (игрунки), благодаря этой черте их сообществ, равно как и взаимная привязанность, господствующая в семействах шимпанзе. И если среди высших обезьян имеются два вида (орангутанг и горилла), не отличающихся общительностью, то нужно помнить, что оба эти вида, ограниченные очень небольшими площадями распространения (один живёт в Центральной Африке, а другой на островах Борнео и Суматре), по всей видимости представляют последние вымирающие остатки двух видов, бывших прежде несравненно более многочисленными. Горилла, по крайней мере, была, по-видимому, общительною в былые времена, — если только обезьяны, упомянутые в *Periplus*, были действительно гориллами.

Таким образом, даже из нашего беглого обзора видно, что жизнь сообществами не представляет исключения в животном мире она, напротив, является общим правилом — законом природы — и достигает своего полнейшего развития у высших беспозвоночных. Видов, живущих в одиночестве, или только небольшими семействами, очень мало, и они сравнительно немногочисленны. Мало того, есть основание предполагать, что, за немногими исключениями, все те птицы и млекопитающие, которые в настоящее время не живут стадами или стаями, жили ранее сообществами, пока род людской не размножился на земной поверхности и не начал вести против них истребительной войны, а равным образом не стал истреблять их источников прокормления. «On ne s'associe pas pour mourir» (для умирания не собираются вместе), — справедливо заметил Эспинас, а Хузо (Houzeau), хорошо знавший животный мир некоторых частей Америки, раньше чем животные подверглись истреблению человеком в больших размерах, высказал в своих произведениях ту же мысль.

Ассоциация встречается в животном мире на всех ступенях эволюции; и, соответственно великой идее Герберта Спенсера, так блестяще развитой в работе Перье, «Colonies Animales», «колонии», т. е. сообщества, появляются уже в самом начале развития животного мира. Но по мере того, как мы поднимаемся по лестнице эволюции, мы видим, как ассоциация становится всё более и более сознательной. Она теряет свой чисто физический характер, она перестаёт быть просто инстинктивной, и становится обдуманной. Среди высших позвоночных она уже бывает временною, периодичною, или же служит для удовлетворения какой-нибудь определённой потребности, — например, для воспроизведения, для переселений, для охоты или же для взаимной защиты. Она становится даже случайной, — например, когда птицы объединяются против хищника, или млекопитающиеся сходятся для эмиграции под давлением исключительных обстоятельств. В этом последнем случае ассоциация становится добровольным отклонением от обычного образа жизни.

Затем, объединение бывает иногда в две или три степени — сначала семья, потом группа и, наконец, ассоциация групп, обыкновенно рассеянных, но соединяющихся в случае нужды, как мы это видели на примере буйволов и других жвачных. Ассоциация также принимает высшие формы, и тогда обеспечивает большую независимость для каждого отдельного индивидуума, не лишая его, вместе с тем, — выгод общественной жизни. Таким образом, у большинства грызунов каждая семья имеет своё собственное жилище, куда она может удалиться, если пожелает уединения, но эти жилища располагаются селениями и целыми городами, так, чтобы всем обитателям были обеспечены все удобства и удовольствия общественной жизни. И, наконец, у некоторых видов, как например, у крыс, сурков, зайцев и т. д., общительность жизни поддерживается, несмотря на сварливость, или вообще на эгоистические наклонности отдельных особей. Во всех этих случаях общественная жизнь уже не обуславливается, как у Муравьёв и пчёл, физиологическою структурою; она культивируется ради выгод, даваемых взаимной помощью, или же ради приносимых ею удовольствий. И это, конечно, проявляется во всех возможных степенях и при величайшем разнообразии индивидуальных и видовых признаков, — причём самое разнообразие форм общественной жизни является последствием, а для нас и дальнейшим доказательством, её всеобщности.[65]

Общительность, т. е. ощущаемая животным потребность в общении с себе подобными, любовь к обществу ради общества, соединённая с «наслаждением жизнью», только теперь начинает получать должное внимание со стороны зоологов.[66] В настоящее время нам известно, что все животные, начиная с муравьев, переходя к птицам и кончая высшими млекопитающими, любят игры, любят бороться и гоняться один за другим, пытаются поймать друг друга, любят поддразнивать друг друга и т. д. И если многие игры являются, так сказать, подготовительной школой для молодых особей, приготавливая их к надлежащему поведению, когда наступит зрелость, то наряду с ними имеются и такие игры, которые, помимо их утилитарных целей, вместе с танцами и пением, представляют простое проявление избытка жизненных сил — «наслаждения жизнью», и выражает желание, тем или иным путём, войти в общение с другими особями того же, или даже иного вида. Короче говоря, эти игры представляют проявление общительности в истинном смысле этого слова, являющейся отличительной чертой всего животного мира.[67] Будет ли это чувство страха, испытываемого при появлении хищной птицы, или «взрыв радости», проявляющийся, когда животные здоровы и в особенности молоды, или же просто стремление освободиться от избытка впечатлений и кипящей жизненной силы, — необходимость сообщения своих впечатлений другим, необходимость совместной игры, болтовни, или просто ощущения близости других родственных живых существ, — эта потребность проникает всю природу; и в столь же сильной степени, как и любая физиологическая функция, она составляет отличительную черту жизни и впечатлительности вообще. Эта потребность составляет высшее развитие и принимает наиболее прекрасные формы у млекопитающих, особенно у молодых особей, и ещё более у птиц; но она проникает всю природу. Её обстоятельно наблюдали лучшие натуралисты, включая Пьера Гюбнера, даже среди муравьев; и нет сомнения, что та же потребность, тот же инстинкт собирает бабочек и других насекомых в огромные колонны, о которых мы говорили выше.

Привычка птиц сходитья вместе для танцев и украшение ими мест, где они обыкновенно предаются танцам, вероятно хорошо известна читателям, хотя бы по тем страницам, которые Дарвин посвятил этому предмету в «Происхождении Человека» (гл. XIII).

Посетители Лондонского Зоологического Сада знакомы также с красиво украшенной беседкой «атласной птицы»[68], устраиваемой с тою же целью. Но этот обычай танцев оказывается гораздо более распространённым, чем предполагалось прежде, и В. Гедсон (W.Hudson), в своей мастерской работе о Ла-Плате, даёт чрезвычайно интересное описание (чтобы оценить его вполне, надо прочесть его в оригинале) сложных танцев, выполняемых многочисленными видами птиц: дергачами, щеглами, пигалицами и т. д.

Привычка петь совместно, существующая у некоторых видов птиц, принадлежит к той же категории общественных инстинктов. В поразительной степени она развита у южно-американского чакара (*Chauna chavaria*, из породы, близкой к гусям), которому англичане дали самое прозаическое прозвище «хохлатого крикуна». Эти птицы собираются иногда громадными стаями и в таких случаях часто устраивают целый концерт. В. Гедсон встретил их однажды в бесчисленном количестве, сидящими вокруг озера, в пампасах, отдельными стаями, около 500 птиц в каждой.

«Вскоре», — говорит он, — «одна из стай, находившаяся вблизи меня, начала петь, и этот могущественный хор не замолкал в течение трёх или четырёх минут; когда он затих, соседняя стая начала петь, вслед за нею следующая и т. д., пока не принеслось ко мне пение стай, находившихся на противоположном берегу озера, и звуки его звонко и ясно неслись по воде; затем они мало-помалу затихли и снова начинали раздаваться возле меня».

Другой раз тому же зоологу пришлось наблюдать бесчисленное стадо чакаров, покрывавшее всю равнину, но на этот раз не разбитое на отделы, а разбросанное парами и небольшими группами. Около девяти часов вечера, «внезапно вся эта масса птиц, покрывавшая болота на целые мили кругом, разразилась могущественной вечернею песней... Стоило проехать сотню миль, чтобы послушать такой концерт.[69] К вышеприведенному можно прибавить, что чакар, подобно всем общительным животным, легко делается ручным и очень привязывается к человеку. О них говорят, что «это — очень миролюбивые птицы, которые редко ссорятся», хотя они хорошо вооружены и снабжены довольно грозными шпорами на крыльях. Жизнь сообществами делает, однако, это оружие излишним.

Тот факт, что жизнь сообществами служит самым могущественным оружием в борьбе за существование (принимая этот термин в самом широком смысле слова), был пояснён, как мы видели, на предыдущих страницах довольно разнообразными примерами, и таких примеров, если бы это было нужно, можно было бы привести несравненно больше. Жизнь сообществами, (мы это видели), даёт возможность самым слабым насекомым, самым слабым птицам и самым слабым млекопитающим защищаться против нападений самых ужасных хищников из среды птиц и животных или же охранять себя от них; она обеспечивает им долголетие; она даёт возможность виду — выкармливать своё потомство с наименьшей ненужной растратой энергии и поддерживает свою численность, даже при очень слабой рождаемости; она позволяет стадным животным совершать переселения и находить себе новые местожительства. Поэтому хотя и признавая вполне, что сила, быстрота, предохранительная окраска, хитрость и выносливость к холоду и голоду, упоминаемые Дарвином и Уоллэсом, действительно представляют качества, которые делают особь или вид наиболее приспособленными при некоторых известных обстоятельствах, — мы вместе с тем утверждаем, что общительность является величайшим преимуществом в борьбе за существование при всяких, каких бы то ни было, природных обстоятельствах. Те виды, которые волей или неволей отказываются от неё, обречены на вымирание; тогда как животные, умеющие наилучшим образом объединяться, имеют наибольшие шансы на выживание и на дальнейшую эволюцию, хотя бы они и оказались ниже других в каждой из особенностей, перечисленных Дарвином и Уоллэсом, за исключением только умственных способностей. Высшие позвоночные, и в особенности человеческий род, служат лучшим доказательством этого утверждения. Что же касается до умственных способностей, то каждый дарвинист согласится с Дарвином в том, что они представляют наиболее могущественный фактор дальнейшей эволюции; он согласится также и с тем, что умственные способности, ещё более всех остальных, обуславливаются в своём развитии общественною жизнью. Язык, подражание другим и накопленный опыт — необходимые элементы для развития умственных способностей, и именно их бывают лишены животные не общественные. Потому-то мы и находим, что на вершине различных классов стоят такие животные, как муравьи и термиты, попугаи, обезьяны, у которых высоко развиты как

умственные способности, так и общительность. «Наиболее приспособленными», наилучше приспособленными для борьбы со всеми враждебными элементами, оказываются, таким образом, наиболее общительные животные, — так что общительность можно принять главным фактором эволюции, как непосредственно, потому что она обеспечивает благосостояние вида, вместе с уменьшением бесполезной растраты энергии, так и косвенно, потому что она благоприятствует росту умственных способностей.

Кроме того, очевидно, что жизнь сообществами была бы совершенно невозможна без соответственного развития общественных чувств, и в особенности если бы известное коллективное чувство справедливости (начало нравственности) не развивалось и не обращалось в привычку. Если бы каждый индивидуум постоянно злоупотреблял своими личными преимуществами, а остальные не заступались бы за обиженного, никакая общественная жизнь не была бы возможна. Поэтому у всех общительных животных, в большей или меньшей степени, развивается чувство справедливости. Как бы ни было велико расстояние, с которого прилетели ласточки или журавли, и те и другие возвращаются, каждый и каждая, к тому гнезду, которое было выстроено или починено ими в предыдущем году. Если какой-нибудь ленивый (или молодой) воробей пытается овладеть гнездом, которое въёт его товарищ, или даже украдёт из него несколько соломинок, вся местная группа воробьев вмешивается в дело против ленивого товарища; и, очевидно, что если бы подобное вмешательство не было общим правилом, то сообщества птиц для гнездования были бы невозможны. Отдельные группы пингвинов имеют свои места для отдыха и свои места для рыбной ловли, и не дерутся из-за них. Стадо рогатого скота в Австралии имеет каждое своё определённое место, куда оно неизменно, изо дня в день, отправляется на отдых, и т. д.[70]

Мы располагаем очень большим количеством непосредственных наблюдений, говорящих о том согласии, которое господствует среди гнездящихся сообществ птиц, в поселениях грызунов, в стадах травоядных, и т. д.; но, с другой стороны, нам известны лишь весьма немногие общительные животные, которые постоянно ссорились бы между собою, как это делают крысы в наших погребах, или же моржи, которые дерутся из-за места на солнечном пригреве на занимаемом ими берегу. Общительность, таким образом, кладёт предел физической борьбе и даёт место для развития лучших нравственных чувств. Высокое развитие родительской любви во всех решительно классах животных, не исключая даже львов и тигров, — достаточно общеизвестно. Что же касается до молодых птиц и млекопитающих, которых мы постоянно видим в общении друг с другом, то в их сообществах получает дальнейшее развитие уже симпатия, а не любовь. Оставляя в стороне действительно трогательные факты взаимной привязанности и сострадания, которые наблюдались как среди домашних животных, так и среди диких, содержащихся в неволе, — мы располагаем достаточным числом хорошо удостоверенных фактов, свидетельствующих о проявлении чувства сострадания среди диких животных на свободе. Макс Перти и Л. Бюхнер собрали немало таких фактов.[71] Рассказ Вуда о том, как одна ласка явилась, чтобы поднять и унести с собой пострадавшего товарища, пользуется вполне заслуженной популярностью.[72] К тому же разряду фактов относится известное наблюдение капитана Стансбюри, во время путешествия его по высокому плоскогорью Utah, в Скалистых горах, цитируемое Дарвином. Стансбюри видел слепого пеликана, которого кормили, и при том хорошо кормили, другие пеликаны рыбой, принося ее из-за сорока пяти

верст.[73] Или же, Г. А. Уэдделль, во время своего путешествия по Боливии и Перу, неоднократно наблюдал, что, когда стадо вигоней преследуется охотниками, сильные самцы прикрывают отступление стада, нарочно отставая, чтобы охранять отступающих. Что же касается фактов о выражении сострадания животными к их раненым сотоварищам, то о них постоянно упоминается зоологами, изучавшими жизнь природы. Подобные факты — совершенно естественны. Сострадание необходимо развивается при общественной жизни. Но сострадание, в свою очередь, указывает на значительный общий прогресс в области умственных способностей и чувствительности. Оно является первым шагом на пути к развитию высших нравственных чувств и, в свою очередь, становится могущественным фактором дальнейшей эволюции.

Если взгляды, развитые на предыдущих страницах, правильны, то естественно возникает вопрос: насколько они согласуются с теорией о борьбе за существование в том виде, как она была развита Дарвином, Уоллэсом и их последователями? И я вкратце отвечу теперь на этот важный вопрос. Прежде всего, ни один натуралист не усомнится в том, что идея о борьбе за существование, проведенная через всю органическую природу, представляет величайшее обобщение нашего века. Жизнь есть борьба; и в этой борьбе выживают наиболее приспособленные. Но если поставить вопрос: «каким оружием ведется главным образом эта борьба?» и «кто в этой борьбе оказывается наиболее приспособленным?» то ответы на эти два вопроса будут совершенно различны, смотря по тому, какое значение будет придано двум различным сторонам этой борьбы: прямой борьбе за пищу и безопасность между отдельными особями, и той борьбе, которую Дарвин назвал «метафорической», т. е. борьбе, очень часто совместной, против неблагоприятных обстоятельств. Никто не станет отрицать, что в пределах каждого вида имеется некоторая степень состязания из-за пищи, хотя бы по временам. Но вопрос заключается в том, — доходит ли это состязание до пределов, допускаемых Дарвином, или даже Уоллэсом? И играло ли оно в эволюции животного царства ту роль, которая ему приписывается? Идея, которую Дарвин проводит через всю свою книгу о происхождении видов, есть, несомненно, идея о существовании настоящего состязания,[74] борьбы, в пределах каждой животной группы, из-за пищи, безопасности и возможности оставить после себя потомство. Он часто говорит об областях, переполненных животной жизнью до крайних пределов и из такого переполнения он выводит неизбежность состязания, борьбы между обитателями. Но если мы станем искать в его книге действительных доказательств такого состязания, то мы должны признать, что достаточно убедительных доказательств — нет. Если мы обратимся к параграфу, озаглавленному: «Борьба за существование — наиболее суровая между особями и разновидностями одного и того же вида», то мы не найдем в нем того обилия доказательств и примеров, которые мы привыкли находить во всякой работе Дарвина. В подтверждении борьбы между особями одного и того же вида, не приводится под вышеупомянутым заголовком ни одного примера: она принимается как аксиома; состязание же между близкими видами животных подтверждается лишь пятью примерами, из которых, во всяком случае, один (относящийся к двум видам дроздов) оказывается по позднейшим наблюдениям сомнительным.[75] Но если мы станем искать дальнейших подробностей, с целью убедиться, насколько уменьшение одного вида действительно обуславливается возрастанием другого вида, то мы найдем, что Дарвин, со своей обычной прямоотой, говорит следующее:

«Мы можем догадываться (dimly see), почему состязание должно быть особенно сурово между родственными формами, заполняющими почти одно и то же место в природе; но, вероятно, ни в одном случае мы не могли бы с точностью определить, почему один вид одержал победу над другим в великой битве жизни».

Что же касается Уоллэса, приводящего, в своем изложении дарвинизма те же, самые факты, но под слегка видоизменённым заголовком («Борьба за существование между близкородственными животными и растениями часто бывает наиболее сурова»), то он делает нижеследующее замечание, дающее вышеприведенным фактам совершенно иное освещение. Он говорит (курсив мой):

«В некоторых случаях, несомненно, ведется действительная война между двумя видами, причем более сильный вид убивает более слабый; но это вовсе не является необходимостью, и могут быть случаи, когда виды, более слабые физически, могут одержать верх, вследствие своей способности к более быстрому размножению, большей выносливости по отношению к враждебным климатическим условиям, или большей хитрости, помогающей им избегать нападений со стороны их общих врагов».

Таким образом, в подобных случаях, то, что приписывается состязанию, борьбе, может быть вовсе не состязанием и борьбой. Один вид вымирает вовсе не потому, что другой вид истребил его или выморил, отнявши у него средства пропитания, а потому, что он не смог хорошо приспособиться к новым условиям, тогда как другому виду удалось это сделать. Выражение «борьба за существование», стало быть, употребляется здесь опять-таки в переносном смысле и, может быть, другого смысла не имеет. Что же касается до действительного состязания из-за пищи между особями одного и того же вида, которое Дарвин поясняет в другом месте примером, взятым из жизни рогатого скота в Южной Америке во время засухи, то ценность этого примера значительно уменьшается тем, что он взят из жизни прирученных животных. Бизоны, при подобных обстоятельствах, переселяются, с целью избежать состязания из-за пищи. Как бы ни была сурова борьба между растениями — а она вполне доказана — мы можем только повторить относительно её замечание Уоллэса, «что растения живут там, где могут», тогда как животные в значительной мере имеют возможность сами выбирать себе местожительство. И мы снова себя спрашиваем: «До каких же размеров действительно существует состязание, борьба, в пределах каждого животного вида? На чём основано это предположение?»

То же самое замечание приходится мне сделать относительно того «косвенного» аргумента в пользу действительности сурового состязания и борьбы за существование в пределах каждого вида, который можно вывести из «истребления переходных разновидностей», так часто упоминаемого Дарвином. Как известно, Дарвина долгое время смущало затруднение, которое он видел в отсутствии длинной цепи промежуточных форм между близкородственными видами; и известно, что он нашёл разрешение этого затруднения в предположенном им истреблении этих промежуточных форм.[76] Однако, внимательное чтение различных глав, в которых Дарвин и Уоллэс говорят об этом предмете, вскоре приводит к заключению, что слово «истребление», употребляемое ими, вовсе не имеет в виду действительного истребления; то замечание, которое Дарвин сделал относительно смысла его выражения: «борьба за существование», очевидно, прилагается в равной мере и

к слову «истребление». Последнее никоим образом не может быть понимаемо в его прямом значении, но только в «метафорическом», переносном смысле.

Если мы отправимся от предположения, что данная площадь переполнена животными до крайних пределов её вместимости, и что вследствие этого между всеми её обитателями ведётся обострённая борьба из-за насущных средств существования — причём каждое животное вынужденно бороться против всех своих сородичей, чтобы добыть себе дневное пропитание, — тогда появление новой и успешной разновидности несомненно будет состоять во многих случаях (хотя не всегда) в появлении таких индивидуумов, которые смогут захватить более, чем приходящуюся им по справедливости долю средств существования; результатом тогда действительно было бы то, что подобные особи обрекли бы на недоедание, как первоначальную родительскую форму, не усвоившую новой разновидности, так и все те переходные формы, которые не обладали бы новой особенностью в той же степени, как они. Весьма возможно, что спервоначала Дарвин понимал появление новых разновидностей именно в таком виде; по крайней мере, частое употребление слова «истребление» производит такое впечатление. Но он, как и Уоллэс, знал природу чересчур хорошо, чтобы не увидеть, что это вовсе не единственно возможный и необходимый исход.

Если бы физические и биологические условия данной поверхности, а также пространство, занимаемое данным видом, и образ жизни всех членов этого вида оставались всегда неизменными, тогда внезапное появление новой разновидности, действительно, могло бы повести к недоеданию и истреблению всех тех особей, которые не усвоили бы в достаточной мере новую черту, характеризующую новую разновидность. Но именно подобной комбинации условий, подобной неизменяемости мы не видим в природе. Каждый вид постоянно стремится к расширению своего местожительства, и переселения в новые местожительства являются общим правилом, как для быстролетающей птицы, так и для медлительной улитки. Затем в каждом данном пространстве земной поверхности постоянно совершаются физические изменения, и характерною чертою новых разновидностей среди животных, в громадном числе случаев — пожалуй, в большинстве — бывает вовсе не появление новых приспособлений для выхватывания пищи изо рта сородичей — пища является лишь одним из сотни разнообразных условий существования, — но, как сам Уоллэс показал в прекрасном параграфе, «о расхождении характеров» (Darwinism, стр. 107), началом новой разновидности бывает образование новых привычек, передвижения в новые местожительства и переход к новым видам пищи. Во всех этих случаях не произойдёт никакого истребления, далее будет отсутствовать борьба за пищу, так как новое приспособление послужит к облегчению соперничества, если последнее действительно существовало, и, тем не менее, при этом тоже получится спустя некоторое время, отсутствие переходных звеньев, как результат просто выживания тех, которые наилучше приспособлены к новым условиям — и совершится это так же несомненно, как если бы происходило, предполагаемое гипотезой, истребление первоначальной формы. Едва ли нужно добавлять, что если мы вместе со Спенсером, вместе со всеми ламаркистами и с самим Дарвином, допустим изменяющее влияние среды на живущие в ней виды, — а современная наука всё более и более движется в этом направлении, — то окажется ещё менее надобности в гипотезе истребления переходных форм.

Значение переселений и последующей изоляции групп животных для появления и закрепления новых разновидностей, а в конце-концов и новых видов, на которые указал Мориц Вагнер, вполне было признано впоследствии самим Дарвином. Позднейшие же изыскания ещё более подчеркнули важность этого фактора, и они указали также, каким образом обширность территории, занимаемой данным видом, — этой обширности Дарвин вполне основательно придавал большое значение для появления новых разновидностей — может быть соединена с изоляцией отдельных частей данного вида, в силу местных геологических перемен или возникновения местных преград. Входить здесь в обсуждение всего этого обширного вопроса было бы невозможно; но нескольких замечаний будет достаточно, чтобы пояснить соединённое действие таких влияний. Известно, что части данного вида нередко переходят к новому роду пищи. Белки, например, если случится неурожай на шишки в лиственничных лесах, переходят в сосновые боры, и эта перемена пищи производит известные физиологические эффекты в организме этих белок. Если это изменение привычек будет непродолжительно, — если в следующем же году будет опять изобилие шишек в тёмных лиственничных лесах, то никакой новой разновидности белок, очевидно, не образуется. Но если часть обширного пространства, занимаемого белками, начнёт изменять свой физический характер — скажем вследствие смягчения климата, или высыхания, причем обе эти причины будут способствовать увеличению площади сосновых боров, в ущерб лиственничным лесам, — и, если некоторые другие условия будут содействовать тому, чтобы часть белок держалась на окраинах области, тогда получится новая разновидность, т. е. зарождающийся новый вид белок; но появление этой разновидности не будет сопровождаться решительно ничем таким, что могло бы заслужить название истребления среди белок. Каждый год несколько большая пропорция белок этой новой, лучше приспособленной, разновидности будет выживать по сравнению с другими, и промежуточные звенья будут вымирать с течением времени, из года в год, вовсе не будучи обрекаемы на голодную смерть своими мальтузианскими конкурентами. Именно подобные процессы и совершаются на наших глазах, вследствие великих физических изменений, происходящих на обширных пространствах Центральной Азии вследствие высыхания, которое идёт там со времени ледникового периода.

Возьмём другой пример. Доказано геологами, что современная дикая лошадь (*Equus Przewalskii*) есть результат медленного процесса эволюции, совершавшегося в течение позднейших частей третичного и всего четверичного (ледникового и послеледникового) периода; но что в течение этого длинного ряда столетий предки теперешней лошади не оставались на каком-нибудь одном определённом пространстве земного шара. Напротив того, они странствовали по Старому и Новому Свету, и, по всем вероятностям, вернулись в конце концов, вполне видоизменённые, к тем самым пастбищам, которые они когда-то оставили в течение своих многих переселений.[77] Из этого ясно, что если мы не находим теперь в Азии всех промежуточных звеньев между современной дикой лошадью и её азиатскими потретичными предками, это вовсе не значит, чтобы промежуточные звенья были истреблены. Подобного истребления никогда не происходило. Даже никакой особенно высокой смертности могло не быть среди прародительских видов нынешней лошади: особи, принадлежавшие к промежуточным разновидностям и видам, умирали при самых обычных условиях — часто даже среди изобилия пищи — и их остатки рассыпаны теперь в недрах земли по всему земному шару.

Короче говоря, если мы вдумаемся в этот предмет и внимательно перечитаем то, что сам Дарвин писал о нём, мы увидим, что если уже употреблять слово «истребление» в связи с переходными разновидностями, то его следует употреблять в метафорическом, переносном смысле. Что же касается до «соперничества», или «состязания» (competition), то это выражение также постоянно употреблялось Дарвином (см. напр. главу «об угасании»), скорее как образ, или как способ выражения, не придавая ему значения действительной борьбы за средства существования между двумя частями одного и того же вида. Во всяком случае, отсутствие промежуточных форм не составляет аргумента в пользу интенсивной борьбы и состязания. В действительности, главным аргументом для доказательства острого состязания из-за средств существования — соревнования, продолжающегося непрестанно в пределах каждого животного вида, является, по выражению проф. Геддса, «арифметический аргумент», заимствованный у Мальтуса.

Но этот аргумент ничего подобного не доказывает. С таким же правом мы могли бы взять несколько сёл в юго-восточной России, обитатели которых не терпели недостатка в пище, но вместе с тем никогда не имели никаких санитарных приспособлений; и заметивши, что за последние семьдесят или восемьдесят лет средняя рождаемость достигала у них 60-ти на 1000, а между тем население за это время несколько не увеличилось, — мы могли бы прийти к заключению, что между обитателями этих деревень идёт чрезвычайно обостренная борьба за пищу. В действительности же окажется, что население не возрастает, по той простой причине, что одна треть новорожденных умирает каждый год, не достигнув шестимесячного возраста; половина детей умирает в течение следующих четырёх лет, и из каждой сотни родившихся только семнадцать достигают двадцатилетнего возраста. Таким образом, новые пришельцы в мир уходят из него раньше, чем достигают возраста, когда они могли бы стать конкурентами. Очевидно, что если нечто подобное может происходить в людской среде, то тем более вероятно оно среди животных. И действительно, в мире пернатых уничтожение яиц идёт в таких колоссальных размерах, что в начале лета яйца составляют главную пищу нескольких видов животных; не говоря уже о бурях и наводнениях, истребляющих миллионы гнёзд в Америке и в Азии, и о внезапных переменах погоды, от которых массами гибнут молодые особи у млекопитающих. Каждая буря, каждое наводнение, каждое посещение птичьего гнезда крысой, каждая внезапная перемена температуры уничтожают тех соперников, которые кажутся столь страшными в теории.

Что же касается до фактов чрезвычайно быстрого размножения лошадей и рогатого скота в Америке, а также свиней и кроликов в Новой Зеландии, с тех пор, как европейцы ввезли их в эти страны, и даже диких животных, ввезённых из Европы (где количество их уменьшается человеком, а вовсе не соперничеством), то они, по-видимому, скорее противоречат теории избыточного населения. Если лошади и рогатый скот могли с такой быстротой размножиться в Америке, то это просто доказывает, что как ни были в то время бесчисленны бизоны и другие животные в Новом Свете, его травоядное население всё-таки было далеко ниже того количества, которое могло бы прокормиться в прериях. Если миллионы новых пришельцев всё-таки находили достаточно пищи, не заставляя голодать прежнее население прерий, мы скорее должны прийти к заключению, что европейцы нашли в Америке не излишек, а недостаточное количество травоядных. И у нас имеются серьёзные основания думать, что такая недостаточность животного населения представляет естественное положение вещей на поверхности всего земного шара, за немногими, и то

временными, исключениями из этого общего правила. Действительно, наличное количество животных на данном пространстве земли определяется вовсе не высшею продовольственной способностью этого пространства, а тем, что оно представляет каждый год при наименее благоприятных условиях. Так что, вследствие одной этой причины, состязание, борьба из-за пищи едва ли может быть нормальным условием жизни; но помимо этого есть ещё другие причины, которые в свою очередь низводят животное население ещё ниже этого невысокого уровня. Если мы возьмём лошадей (также и рогатый скот), которые всю зиму проводят на подножном корму в степях Забайкалья, то мы найдём всех их очень исхудалыми и истощенными в конце зимы. Это истощение, впрочем, оказывается результатом не недостатка в корме, так как под тонким слоем снега везде имеется трава в изобилии; причина его лежит в трудности добывания травы из — под снега, а эта трудность одинакова для всех лошадей. Кроме того, ранней весной обыкновенно бывает гололедица, и если она продолжится несколько дней подряд, то лошади приходят в ещё большее изнурение. Но вслед затем часто наступают бураны, метели, и тогда животные, уже ослабевшие, вынуждены бывают оставаться по нескольку дней совершенно без корма, вследствие чего они падают в очень больших количествах. Потери в течение весны бывают так велики, что, если весна отличалась особою суровостью, они не могут быть пополнены даже новым приплодом — тем более, что все лошади бывают истощены, и жеребята рождаются слабыми. Количество лошадей и рогатого скота всегда остается, таким образом, гораздо ниже того уровня, на котором оно могло бы держаться, если бы не было этой специальной причины — холодной и бурной весны: в продолжение всего года имеется пищи в изобилии: её хватило бы на количество животных, в пять или десять раз больше чем то, которое существует в действительности, а между тем животное население степей возрастает чрезвычайно медленно. Но лишь только буряты, владельцы скота и табунов, начинают делать, хотя бы самые незначительные запасы сена в степи и открывают к ним доступ во время гололедицы или глубоких снегов, как немедленно замечается увеличение их стад и табунов. Почти в таких же условиях находятся почти все живущие на свободе травоядные животные и многие грызуны Азии и Америки, а потому мы с уверенностью можем утверждать, что их численность понижается не путём соперничества и взаимной борьбы; что ни в какое время года им не приходится бороться из-за пищи; и что если они никогда не размножаются до степени перенаселения, то причина этого лежит в климате, а не во взаимной борьбе из-за пищи.

Значение в природе естественных препятствий к излишнему размножению, и в особенности их отношение к гипотезе соревнования, по-видимому, никогда ещё не принимались в расчет в должной мере. Об этих препятствиях, или точнее, об некоторых из них, упоминается мимоходом, но до сих пор их воздействие не разбиралось в подробности. Между тем, если сравнить действительное воздействие естественных причин на жизнь животных видов, с возможным воздействием соперничества внутри вида, мы тотчас же должны признать, что последнее не выдерживает никакого сравнения с предыдущим. Так, например, Бэтс упоминает о просто невообразимом количестве крылатых муравьев, которые гибнут, когда роятся. Мертвые или полумертвые тела огненных муравьев (*Myrmica saevissima*), нанесенные в реку во время шторма, «представляли валик в дюйм или два высоты и такой же ширины, причём этот валик тянулся без перерыва на протяжении нескольких миль у края воды».[78] Мириады муравьев были таким образом уничтожены среди природы, которая могла бы прокормить в тысячу раз больше муравьев, чем их жило тогда в этом

месте. Д-р Альтум, немецкий лесничий, который написал очень поучительную книгу о животных, вредящих нашим лесам, также даёт много фактов, указывающих на огромную важность естественных препятствий чрезмерному размножению. Он говорит, что ряд бурь, или же холодная и туманная погода во время отравлянья сосновой моли (*Bombux pinii*) уничтожает её в невероятных количествах, и весной 1871 года вся эта моль исчезла сразу, вероятно, уничтоженная рядом холодных ночей.[79] Много подобных примеров можно было бы привести относительно насекомых разных частей Европы. Д-р Альтум также упоминает о птицах, пожирающих сосновую моль, и об огромном количестве яиц этого насекомого, уничтожаемых лисицами; но он добавляет, что паразитные грибки, нападающие на нее периодически, оказываются гораздо более ужасными врагами моли, чем какая бы то ни была птица, так как они уничтожают моль сразу на огромном пространстве. Что же касается до различных видов мышей (*Mussylvaticus*, *Arvicola arvalis* и *A. agrestis*), то Альтум, приведя длинный список их врагов, замечает: «Однако, самыми страшными врагами мышей являются не другие животные, а те внезапные перемены погоды, которые случаются почти каждый год». Если морозы и теплая погода начинают чередоваться, они уничтожают их в бесчисленных количествах; «одна такая внезапная перемена погоды может из многих тысяч мышей оставить в живых всего несколько особей». С другой стороны, теплая зима, или зима, наступающая постепенно, даёт им возможность размножаться в угрожающей пропорции, не взирая ни на каких врагов; так было в 1876 и 1877 годах.[80] Соперничество оказывается, таким образом, по отношению к мышам, совершенно ничтожным фактором, в сравнении с погодой. Факты такого же рода даны тем же автором и относительно белок.

Что же касается птиц, то всем нам хорошо известно, как они страдают от внезапных перемен погоды. Метели позднего весною так же губельны для птиц на диких местах Англии (*moors*), как и в Сибири; и г. Диксону приходилось видеть красных тетеревов,[81] доведённых до того исключительно суровыми зимними холодами, что они в больших количествах покидали дикие места «и нам известны случаи, когда их ловили на улицах Шефильда. Продолжительная сырая погода», — прибавляет он, — «почти также губельна для них».

С другой стороны, заразные болезни, которые посещают по временам большинство животных видов, уничтожают их в таких количествах, что потери часто не могут быть пополнены в течение многих лет, даже среди наиболее быстро размножающихся животных. Так, например, в сороковых годах суслики внезапно исчезли в окрестностях Сарепы, в юго-восточной России, вследствие какой-то эпидемии, и в течение многих лет в этой местности нельзя было встретить ни одного суслика. Прошло много лет, раньше чем они размножились по-прежнему.[82]

Подобных фактов, из которых каждый уменьшает значение, придаваемое соперничеству и борьбе внутри вида, можно было бы привести множество.[83] Конечно, можно было бы ответить на них словами Дарвина, — что, тем не менее, каждое органическое существо «в какой-нибудь период своей жизни, в продолжение какого-нибудь времени года, в каждом поколении или по временам, должно бороться за существование и претерпевать великое истребление», и что лишь наиболее приспособленные переживают подобные периоды тяжелой борьбы за существование. Но если бы эволюция животного мира была основана исключительно, или даже преимущественно, на переживании наиболее приспособленных в

периоды бедствий; если бы естественный подбор был ограничен в своём воздействии периодами исключительной засухи, или внезапных перемен температуры, или наводнений, — то регресс был бы общим правилом в животном мире. Те, которые переживают голод, или эпидемию холеры, оспы или дифтерита, свирепствующих в тех размерах, которые наблюдаются в нецивилизованных странах, вовсе не являются ни наиболее сильными, ни наиболее здоровыми, ни наиболее разумными. Никакой прогресс не мог бы основаться на подобных переживаниях, — тем более, что все пережившие обыкновенно выходят из испытания с подорванным здоровьем подобно тем забайкальским лошадям, о которых мы упоминали выше, или экипажам арктических судов, или гарнизонам крепостей, вынужденным жить в течение нескольких месяцев на половинных рационах, и по прекращении осады выходящим с разбитым здоровьем и с проявляющейся впоследствии склонностью к совершенно ненормальной смертности. Всё, что естественный подбор может сделать в периоды бедствий, сводится к сохранению особей, одарённых наибольшей выносливостью в перенесении всякого рода лишений. Такова и есть роль естественного подбора среди сибирских лошадей и рогатого скота. Они, действительно, отличаются выносливостью; они могут питаться, в случае необходимости, полярной березой; они могут противостоять холоду и голоду. Но зато сибирская лошадь может нести только половину того груза, который без напряжения несёт европейская лошадь; ни одна сибирская корова не даёт половины того количества молока, которое даёт джерсейская корова, и ни один туземец нецивилизованных стран не выдержит сравнения с европейцами. Такие туземцы могут легче выносить голод и холод, но их физические силы гораздо ниже сил хорошо питающегося европейца, а их умственный прогресс совершается с отчаянной медленностью. «Зло не может породить добра», как писал Чернышевский в замечательном очерке, посвященном дарвинизму.[84]

К счастью, состязание не составляет общего правила, ни для животного мира, ни для человечества. Оно ограничивается, среди животных, известными периодами, и естественный подбор находит лучшую почву для своей деятельности. Лучшие условия для прогрессивного подбора создаются устранением состязания, путём взаимной помощи и взаимной поддержки.[85] В великой борьбе за существование — за наиболее возможную полноту и интенсивность жизни, при наименьшей ненужной растрате энергии — естественный подбор постоянно выискивает пути именно с целью избежать, насколько возможно, состязания. Муравьи объединяются в гнёзда и племена; они делают запасы, воспитывают для своих нужд «коров» — и таким образом избегают состязания; и естественный подбор выбирает из всех муравьёв те виды, которые лучше умеют избегать внутреннего состязания, с его неизбежными пагубными последствиями. Большинство наших птиц медленно перекачывается к югу, по мере наступления зимы, или же они собираются бесчисленными сообществами и предпринимают далекие путешествия, — и, таким образом, избегают состязания. Многие грызуны впадают в спячку, когда наступает время возможного состязания, а другие породы грызунов запасаются на зиму пищей и собираются вместе обширными поселениями, дабы иметь необходимую защиту во время работы. Олени, когда олений мох засыхает внутри материка, переселяются по направлению к морю. Буйволы пересекают огромные материки ради изобилия пищи. А колонии бобров, когда они чересчур расплодятся на реке, разделяются на две части: старики уходят вниз по реке, а молодые идут вверх, для того, чтобы избежать состязания. А если, наконец, животные не могут ни впасть в спячку, ни переселиться, ни сделать запасов пищи, ни сами выращивать потребную

пищу, как это делают муравьи, — тогда они поступают как синицы (прекрасное описание см. у Уоллэса, «Darwinism», гл. V), а именно: они переходят к новому роду пищи — и, таким образом, опять-таки избегают состязания.[86]

«Избегайте состязания! Оно всегда вредно для вида, и у вас имеется множество средств избежать его!». Такова тенденция природы, не всегда его вполне осуществляемая, но всегда ей присущая. Таков лозунг, доносящийся до нас из кустарников, лесов, рек, океанов. «А потому объединяйтесь — практикуйте взаимную помощь! Она представляет самое верное средство для обеспечения наибольшей безопасности, как для каждого в отдельности, так и для всех вместе; она является лучшей гарантией для существования и прогресса физического, умственного и нравственного». Вот чему учит нас Природа; и этому голосу Природы вняли все те животные, которые достигли наивысшего положения в своих соответственных классах. Этому же велению Природы подчинился и человек — самый первобытный человек — и лишь вследствие этого он достиг того положения, которое мы занимаем теперь. В справедливости этого читатель убедится из последующих глав, посвященных взаимной помощи в человеческих обществах.

Глава III. Взаимная помощь среди дикарей

- Предполагаемая война каждого против всех.
- Родовое происхождение человеческого общества.
- Позднее появление отдельной семьи.
- Бушмены и Готтентоты.
- Австралийцы, Папуасы.
- Эскимосы, Алеуты.
- Черты жизни дикарей, с затруднением принимаемые европейцами.
- Понятие о справедливости у Даяков.
- Обычное право.

Громадную роль, которую играет взаимная помощь и взаимная поддержка в эволюции животного мира, мы бегло рассмотрели в предыдущих двух главах. Теперь нам предстоит бросить взгляд на роль, которую те же факторы играли в эволюции человечества. Мы видели, как незначительно число животных видов, ведущих одинокую жизнь, и как, напротив того, бесчисленно количество тех видов, которые живут сообществами, объединяясь в целях взаимной защиты, или для охоты и накопления запасов пищи, ради воспитания потомства, или — просто для наслаждения жизнью сообщества. Мы видели также, что, хотя между различными классами животных, различными видами или даже различными группами того же вида, происходит немало борьбы, но, вообще говоря, в пределах группы и вида господствуют мир и взаимная поддержка; причём те виды, которые обладают наибольшим умением объединяться и избегать состязания и борьбы, имеют и лучшие шансы на переживание и дальнейшее прогрессивное развитие. Такие виды процветают, в то время как виды, чуждые общительности, идут к упадку.

Очевидно, что человек являлся бы противоречием всему тому, что нам известно о природе, если бы он представлял исключение из того общего правила: если бы существо столь беззащитное, каким был человек на заре своего существования, нашло бы для себя защиту и путь к прогрессу не во взаимной помощи как другие животные, а в безрассудной борьбе из-за личных выгод, не обращающей никакого внимания на интересы всего вида. Для всякого ума, освоившегося с идеею о единстве природы, такое предположение покажется совершенно недопустимым. А между тем, несмотря на его невероятность и нелогичность, оно всегда находило сторонников. Всегда находились писатели, глядевшие на человечество, как пессимисты. Они знали человека, более или менее поверхностно, из своего личного ограниченного опыта, в истории они ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, всегда обращавшие внимание, главным образом, на войны, на жестокости, на угнетение; и эти пессимисты приходили к заключению, что человечество представляет собою не что иное, как слабо связанное сообщество существ, всегда готовых

драться между собою, и лишь вмешательством какой-нибудь власти удерживаемых от всеобщей свалки.

Гоббс стоял на такой точке зрения; и хотя некоторые из его преемников в XVIII веке пытались доказать, что ни в какую пору своего существования, — даже в самом первобытном периоде — человечество не жило в состоянии непрерывной войны, что человек был существом общественным, даже в «естественном состоянии», и что скорее отсутствие знаний, чем природные скверные наклонности, довели человечество до всех ужасов, которыми отличалась его прошедшая историческая жизнь, — но многочисленные последователи Гоббса продолжали тем не менее утверждать, что так называемое «естественное состояние» было ни чем иным, как постоянной борьбой между индивидуумами, случайным образом столпившимися под импульсами их звериной природы. Правда, со времени Гоббса наука сделала кое-какие успехи, и теперь у нас под ногами более твёрдая почва, чем была во времена Гоббса, или Руссо. Но философия Гоббса по сию пору имеет достаточно поклонников, и в последнее время создалась целая школа писателей, которые, вооружившись не столько идеями Дарвина, сколько его терминологией, воспользовались последней для аргументации в пользу взглядов Гоббса на первобытного человека; им удалось даже придать этой аргументации какое-то подобие научной внешности. Гексли, как известно, стал во главе этой школы, и в статье, напечатанной в 1888 году, он изобразил первобытных людей чем-то в роде тигров или львов, лишённых каких бы то ни было этических понятий, не останавливающихся ни перед чем в борьбе за существование, — вся жизнь которых проходила в «постоянной драке». «За пределами ограниченных и временных семейных отношений, Гоббсовская война каждого против всех была, — говорил он, — нормальным состоянием их существования».[87]

Не раз уже замечено было, что главная ошибка Гоббса, а также и философов XVIII века, заключалась в том, что они представляли себе первобытный род людской в форме маленьких бродячих семей, наподобие «ограниченных и временных» семейств более крупных хищных животных. Между тем, теперь положительно установлено, что подобное предположение совершенно неверно. Конечно, у нас нет прямых фактов, свидетельствующих об образе жизни первых человекообразных существ. Даже время первого появления таких существ ещё в точности не установлено, так как современные геологи склонны видеть их следы уже в плиоценовых и даже в миоценовых отложениях третичного периода. Но мы имеем в своём распоряжении косвенный метод, который даёт нам возможность осветить до известной степени даже этот отдалённый период. Действительно, в течение последних сорока лет сделаны были очень тщательные исследования общественных учреждений у самых низших рас, и эти исследования раскрыли в теперешних учреждениях первобытных народов следы более древних учреждений, давно уже исчезнувших, но тем не менее оставивших несомненные признаки своего существования. Мало-помалу, целая наука, посвященная эмбриологии человеческих учреждений, была создана трудами Бахофена, Мак-Ленанна, Моргана, Эдуарда Б. Тейлора, Мэна, Поста, Ковалевского и мн. др. И эта наука установила теперь, вне всякого сомнения, что человечество начало свою жизнь не в форме небольших одиноких семей.

Семья не только не была первобытной формой организации, но, напротив, она является очень поздним продуктом эволюции человечества. Как бы далеко мы ни восходили в глубь

палеоэтнологии человечества, мы везде находим людей, живших тогда сообществами, группами, подобными стадам высших млекопитающих. Очень медленная и продолжительная эволюция потребовалась для того, чтобы довести эти сообщества до организации рода или клана, которая в свою очередь должна была подвергнуться другому, тоже очень продолжительному процессу эволюции, прежде чем могли появиться первые зародыши семьи, полигамной или моногамной. Сообщества, банды, роды, племена — а не семьи — были, таким образом, первобытной формой организации человечества и его древнейших прародителей. К такому выводу пришла этнология после тщательных кропотливых исследований. В сущности этот вывод могли бы предсказать зоологи, так как ни одно из высших млекопитающих, за исключением весьма немногих плотоядных и немногих, несомненно вымирающих, видов обезьян (орангутангов и горилл), не живёт маленькими семьями, изолированно бродящими по лесам. Все остальные живут сообществами. И Дарвин так прекрасно понял, что изолированно живущие обезьяны никогда не смогли бы развиться в человекоподобные существа, что он был склонен рассматривать человека происходящим от какого-нибудь сравнительно слабого, но непременно общительного вида обезьян, вроде шимпанзе, а не от более сильного, но необщительного вида, вроде гориллы.[88] Зоология и палеоэтнология приходят, таким образом, к одинаковому заключению, что древнейшей формой общественной жизни была группа, племя, а не семья. Первые человеческие сообщества просто были дальнейшим развитием тех сообществ, которые составляют самую сущность жизни высших животных.[89]

Если перейти теперь к положительным данным, то мы увидим, что самые ранние следы человека, относящиеся к ледниковому или раннему послеледниковому периоду, дают несомненные доказательства того, что человек уже тогда жил сообществами. Очень редко случается найти одинаковое каменное орудие, даже из древнейшего, палеолитического периода; напротив того, где бы ни находили одно или два кремневых орудия, там всегда находили вскоре и другие, почти всегда в очень больших количествах. Уже в те времена, когда люди жили ещё в пещерах, или укрывались под нависшими скалами, вместе с исчезнувшими с тех пор млекопитающими, и едва умели выделывать кремневые топоры самого грубого вида, они уже были знакомы с выгодами жизни сообществами. Во Франции, в долинах притоков Дордони, вся поверхность скал в некоторых местах покрыта пещерами, служившими убежищем палеолитическому человеку.[90] Иногда пещерные жилища расположены этажами и несомненно более напоминают гнёзда колоний ласточек, чем логовища хищных животных. Что же касается до кремневых орудий, найденных в этих пещерах, то, по выражению Леббока, «без преувеличения можно сказать, что они — бесчисленны». То же самое справедливо относительно всех других палеолитических стоянок. Судя по изысканиям Ларте, обитатели округа Ориньяк, в южной Франции, устраивали уже родовые пиры при погребении своих умерших. Таким образом, люди жили сообществами, и у них проявлялись зачатки родового религиозного обряда, уже в ту чрезвычайно отдаленную эпоху.

То же самое подтверждается, ещё с большим обилием доказательств, относительно позднейшего периода каменного века. Следы неолитического человека встречаются в таких громадных количествах, что по ним можно было, в значительной мере, восстановить весь его образ жизни. Когда ледяной покров (который должен был простираться от полярных

областей вплоть до середины Франции, Германии и России, и покрывал Канаду, а также значительную часть территории, занимаемой теперь Соединёнными Штатами) начал таять, то поверхности, освободившиеся от льда, покрылись сперва топями и болотами, а позднее — бесчисленными озёрами.[91] Озёра заполняли в ту пору все углубления и расширения в долинах, раньше чем воды промыли себе те постоянные русла, которые в последующую эпоху стали нашими реками. И, куда бы мы ни обратились теперь, в Европе, Азии или Америке, — мы находим, что берега бесчисленных озёр этого периода, — который по справедливости следовало бы назвать Озерным периодом — покрыты следами неолитического человека. Эти следы так многочисленны, что можно лишь удивляться густоте населения в ту эпоху. На террасах, которые теперь обозначают берега древних озёр, «стоянки» неолитического человека близко следуют одна за другой, и на каждой из них находят каменные орудия в таких количествах, что не остаётся ни малейшего сомнения в том, что в продолжение очень долгого времени эти места были обитаемы довольно многочисленными племенами людей. Целые мастерские кремневых орудий, которые, в свою очередь, свидетельствуют о количестве рабочих, собиравшихся в одном месте, были открыты археологами.

Следы более позднего периода, уже характеризующегося употреблением глиняных изделий, мы имеем в так называемых «кухонных отбросах» Дании. Как известно, эти кучи раковин от 5-ти до 10-ти футов толщиной, от 100 до 200 футов в ширину, и в 1000 и более футов в длину, так распространены в некоторых местах морского побережья Дании, что долгое время их считали естественными образованиями. А между тем они состоят «исключительно из таких материалов, которые так или иначе употреблялись человеком», и они до такой степени переполнены продуктами человеческого труда, что Леббок в течение всего лишь двухдневного пребывания в Мильгаарде нашёл 191 кусок каменных орудий и четыре обломка глиняных изделий.[92] Самые размеры и распространённость этих куч кухонных отбросов доказывают, что в течение многих и многих поколений по берегам Дании основались сотни небольших племён или родов, которые, без всякого сомнения, жили так же мирно между собою, как живут теперь обитатели берегов Огненной Земли, которые также набрасывают теперь подобные же кучи раковин и всяких отбросов.[93]

Что же касается до свайных построек Швейцарии, представляющих дальнейшую ступень на пути к цивилизации, они дают ещё лучшие доказательства того, что их обитатели жили обществами и работали сообща. Известно, что уже в каменном веке берега Швейцарских озёр были усеяны рядами деревень, состоявших каждая из нескольких хижин, построенных на платформе, поддерживаемой бесчисленными сваями, вбитыми в дно озера. Не менее двадцати четырёх деревень, из которых большинство принадлежало к каменному веку, было открыто за последние годы на берегах Женевского озера, тридцать две на Констанцском озере, сорок шесть на Нефшательском, и т. д.; и каждая из них свидетельствует о громадном количестве труда, выполненного сообща, — не семьей, а целым родом. Некоторые исследователи предполагают даже, что жизнь этих обитателей озёр была в замечательной степени свободна от воинственных столкновений; и предположение это весьма вероятно, если принять в соображение жизнь тех первобытных племён, которые теперь ещё живут в подобных же деревнях, построенных на сваях по берегам морей.

Мы видим, таким образом, даже из предыдущего краткого очерка, что, в конце концов, наши сведения о первобытном человеке вовсе не так скудны, и что они во всяком случае скорее опровергают, чем подтверждают, предположения Гоббса. Сверх того, они могут быть пополнены в значительной мере, если обратиться к прямому наблюдению таких первобытных племён, которые в настоящее время стоят ещё на том же уровне цивилизации, на каком стояли обитатели Европы в доисторические времена.

Что эти первобытные племена, которые существуют теперь, вовсе не представляют, — как утверждали некоторые ученые, — выродившихся племен, которые когда-то были знакомы с более высокой цивилизацией, но утратили её — уже было вполне доказано Эд. Б. Тэйлором и Дж. Лёббоком. Впрочем, к аргументам, приводившимся против теории вырождения, можно прибавить ещё нижеследующий. За исключением немногих племён, которые держатся в малодоступных горных странах, так называемые «дикари» занимают пояс, который окружает более или менее цивилизованные нации, преимущественно на тех оконечностях наших материков, которые, большею частью, сохраняли до сих пор, или же недавно ещё носили характер ранней поледниковой эпохи. Сюда принадлежат эскимосы и их сородичи в Гренландии, Арктической Америке и Северной Сибири, а в Южном полушарии — австралийские туземцы, папуасы, обитатели Огненной Земли, и, отчасти, бушмены; причём в пределах пространства, занятого более или менее цивилизованными народами, подобные первобытные племена встречаются только в Гималаях, в нагорьях юго-восточной Азии и на Бразильском плоскогории. Не должно забывать, при этом, что ледниковый период закончился не сразу на всей поверхности земного шара; он до сих пор продолжается в Гренландии. Вследствие этого, в ту пору, когда приморские области Индийского океана, Средиземного моря или Мексиканского залива уже пользовались более тёплым климатом, и в них развивалась более высокая цивилизация, — громадные территории в Средней Европе, Сибири и Северной Америке, а также Патагонии, в Южной Африке, Юго-восточной Азии и Австралии, оставались ещё в условиях раннего послеледникового периода, которые делали их необитаемыми для цивилизованных наций жаркого и умеренного пояса. В эту пору названные области представляли нечто вроде теперешних ужасных «урманов» северо-западной Сибири, и их население, недоступное для цивилизации и незатронутое ею, удерживало характер раннего послеледникового человека. Только позднее, когда высыхание сделало эти территории более пригодными для земледелия, стали они заселяться более цивилизованными пришельцами; и тогда часть прежних обитателей была ассимилирована новыми засельщиками, тогда как другая часть отступала всё дальше и дальше в направлении к приполярным странам и осела в тех местах, где мы теперь их находим. Территории, обитаемые ими в настоящее время, сохранили по сию пору, или до очень недавнего времени сохранили в физическом отношении, околледниковый характер; а искусства и орудия их обитателей до сих пор ещё не вышли из неолитического периода; и несмотря на расовые различия и на пространства, которые разделяют их друг от друга, образ жизни и общественные учреждения этих племён поразительно схожи между собою.

Мы можем, поэтому, рассматривать этих «дикарей», как остатки раннего послеледникового населения, занимавшего то, что теперь представляет цивилизованную область.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать первобытные народы, это — сложность организации брачных отношений, под которою они живут. У большинства из них

семья, в том смысле, как мы её понимаем, существует только в зачаточном состоянии. Но в то же самое время «дикари» вовсе не представляют из себя «малосвязанных между собою скопищ мужчин и женщин, сходящихся беспорядочно, под влиянием минутных капризов». Все они подчиняются, напротив, известной организации, которую Льюис Морган описал в её типичных чертах и назвал «родовою» или клановою организацией.[94]

Излагая вкратце этот очень обширный предмет, мы можем сказать, что в настоящее время нет более сомнения в том, что человечество в начале своего существования прошло чрез стадию брачных отношений, которую можно назвать «коммунальным браком», то есть мужчины и женщины, целыми родами, жили между собою, как мужья с жёнами, обращая весьма мало внимания на кровное родство. Но несомненно также и то, что некоторые ограничения этих свободных отношений между полами были налагаемы уже в очень раннем периоде. Брачные отношения вскоре были запрещены между сыновьями одной матери и её сестрами, её внучками и её тётками. Позднее такие отношения были запрещены между сыновьями и дочерями одной и той же матери, а затем вскоре последовали и другие ограничения. Развилась мало-помалу идея рода (*gens*), который обнимал собою всех действительных или предполагаемых потомков от одного общего корня (скорее — всех, объединённых в одну родовую группу таким предполагаемым родством). А когда род размножился от подразделения на несколько родов, из которых каждый делился в свою очередь на классы (обыкновенно, на четыре класса), и брак разрешался лишь между, известными, точно определёнными классами. Подобную стадию можно наблюдать ещё теперь между туземцами Австралии, говорящими Камиларойским языком. Что же касается до семьи, то её первые зародыши появились в родовой организации. Женщина, которая была захвачена в плен во время войны с каким-нибудь другим родом, и прежде принадлежала бы целому роду, в более поздний период удерживалась за собой тем, кто взял её в плен, при соблюдении известных обязательств по отношению к роду. Она могла быть помещена им в отдельной хижине, после того как она заплатила известного рода дань роду, и, таким образом, могла основать в пределах рода отдельную семью, появление которой, очевидно, открывало собой новую фазу цивилизации. Но ни в каком случае жена, клавшая это основание патриархальной семье, не могла быть взята из своего рода. Она должна была происходить из чужого рода.

Если мы примем во внимание, что эта сложная организация развилась среди людей, стоявших на самой низшей из известных нам ступеней развития, и что она поддерживалась в сообществах, не знавших никакой другой власти, кроме власти общественного мнения, мы сразу поймём, как глубоко должны были корениться общественные инстинкты в человеческой природе, даже на самых низших ступенях её развития. Дикарь, который мог жить при такой организации, подчиняясь по собственной воле ограничениям, которые постоянно сталкивались с его личными пожеланиями, конечно, не был похож на зверя, лишённого каких бы то ни было этических принципов и не знающего узды для своих страстей. Но этот факт становится еще более поразительным, если принять во внимание неизмеримо отдалённую древность родовой организации.

В настоящее время известно, что первобытные семиты, Гомеровские греки, доисторические римляне, германцы Тацита, древние кельты и славяне, все прошли чрез период родовой организации, очень близко сходной с родовой организацией австралийцев, краснокожих

индейцев, эскимосов и других обитателей «пояса дикарей».[95]

Таким образом, мы должны допустить одно из двух: или эволюция брачных обычаев шла по каким-нибудь причинам в одном и том же направлении у всех человеческих рас, или же зачатки родовых ограничений развились среди некоторых общих предков, бывших родоначальниками семитов, арийцев, полинезийцев и т. д., прежде чем эти предки дифференцировались в отдельные расы, и что эти ограничения поддерживались вплоть до настоящего времени среди рас, давно уже отделившихся от общего корня. Обе альтернативы в равной степени указывают, однако, на поразительную устойчивость этого учреждения — такую устойчивость, которой не могли разрушить никакие посягательства на неё личности, в течение многих десятков тысячелетий. Но самая стойкость родовой организации показывает, насколько ложен тот взгляд, в силу которого первобытное человечество изображают в виде беспорядочного скопища индивидуумов, подчиняющихся одним лишь собственным страстям и пользующихся каждый своею личною силою и хитростью, чтобы одерживать верх над всеми другими. Необузданный индивидуализм — явление новейшего времени, но он вовсе не был свойствен первобытному человечеству.[96]

Переходя теперь к существующим в настоящее время дикарям, мы можем начать с бушменов, стоящих на очень низкой ступени развития — настолько низкой, что они не имеют даже жилищ и спят в норах, вырытых в земле, или просто под прикрытием лёгких щитов из трав и ветвей, защищающих их от ветра. Известно, что когда европейцы начали селиться на их территории и истребили громадные стада красного зверя, пасшиеся до того времени на равнинах, бушмены начали красть рогатый скот у поселенцев, — и тогда эти пришельцы начали против бушменов отчаянную войну и стали истреблять их со зверством, о котором я предпочитаю не рассказывать здесь. Пятьсот бушменов было истреблено, таким образом, в 1774 году; в 1808–1809 годах союз фермеров истребил их три тысячи, и т. д. Их отравляли, как крыс, выставляя отравленное мясо этим доведённым до голода людям, или пристреливали, как зверей, спрятавшись в засаде за трупом подброшенного животного; их убивали при всякой встрече.[97] Таким образом, наши сведения о бушменах, полученные в большинстве случаев от тех самых людей, которые истребляли их, не могут отличаться особенной дружелюбностью. Тем не менее, мы знаем, что, во время появления европейцев, бушмены жили небольшими родами, которые иногда соединялись в федерации; что они охотились сообща и делили между собою добычу без драки и ссор; что они никогда не бросали своих раненых и выказывали сильную привязанность к сотоварищам. Лихтенштейн рассказывает чрезвычайно трогательный эпизод об одном бушмене, который едва не потонул в реке и был спасён товарищами. Они сняли с себя свои звериные шкуры, чтобы прикрыть его, и сами дрожали от холода; они обсушили его, растирали, его пред огнём и смазывали его тело тёплым жиром, пока, наконец, не возвратили его к жизни. А когда бушмены нашли в лице Иогана Вандервальта человека, обращавшегося с ними хорошо, они выражали ему свою признательность проявлениями самой трогательной привязанности.[98] Бурчелль и Моффатт изображают их добросердечными, бескорыстными, верными своим обещаниям и благодарными,[99] — все качества, которые могли развиться, лишь будучи постоянно практикуемы в пределах рода. Что же касается до их любви к детям, то достаточно напомнить, что когда европеец хотел заполучить себе бушменку в рабство, он похищал её ребенка; мать всегда являлась сама и становилась рабыней, чтобы разделить участь своего дитяти.[100]

Та же самая общительность встречается у готтентотов, которые немногим превосходят бушменов по развитию. Лёббок говорит о них, как о самых «грязных животных», и они, действительно, очень грязны. Всё их одеяние состоит из повешенной на шею звериной шкуры, которую носят, пока она не распадётся в куски; а их хижины состоят из нескольких жердей, связанных концами и покрытых циновками, причём внутри хижин нет ровно никакой обстановки. Хотя они держат быков и овец и, кажется, были знакомы с употреблением железа, уже до встречи с европейцами, тем не менее они до сих пор стоят на одной из самых низких ступеней человеческого развития. И всё же европейцы, которые были близко знакомы с их жизнью, с великой похвалою отзывались об их общительности и готовности помогать друг другу. Если дать что-нибудь готтентоту, он тотчас же делит полученное между всеми присутствующими — обычай, который, как известно, поразил также Дарвина у обитателей Огненной Земли. Готтентот не может есть один, и как бы он ни был голоден, он подзывает прохожих и делится с ними своей пищей. И когда Кольбен выразил по этому поводу своё удивление, ему ответили: «таков обычай у готтентотов». Но этот обычай свойствен не одним готтентотам: это — почти повсеместный обычай, отмеченный путешественниками у всех «дикарей». Кольбен, хорошо знавший готтентотов и не обходивший молчанием их недостатков, не может нахвалиться их родовой нравственностью.

«Данное ими слово — для них священо», — пишет он. «Они совершенно незнакомы с испорченностью и вероломством Европы». «Они живут очень мирно и редко воюют со своими соседями». «Они полны мягкости и добродушия во взаимных отношениях... Одним из величайших удовольствий для готтентотов является обмен подарками и услугами», «По своей честности, по быстроте и точности отправления правосудия, по целомудрию, готтентоты превосходят все, или почти все, другие народы».[101]

Ташар (Tacharl), Барроу (Barrow) и Муди (Moodie)[102] вполне подтверждают слова Кольбена. Нужно только заметить, что когда Кольбен писал о готтентотах, что «во взаимных своих отношениях они — самый дружелюбный, самый щедрый и самый добродушный народ, какой когда-либо существовал на земле» (I, 332), — он дал определение, которое с тех пор постоянно повторяется путешественниками при описании самых разнообразных дикарей. Когда европейцы впервые сталкивались с какими-нибудь первобытными расами, они обыкновенно изображали их жизнь карикатурным образом; но стоило умному человеку прожить среди них более продолжительное время, и он уже описывал их как «самый кроткий» или «самый благородный» народ на земном шаре. Совершенно теми же самыми словами, самые достойные доверия путешественники характеризуют остяков, самоедов, эскимосов, даяков, алеутов, папуасов и т. д. Я также помню, что подобные же отзывы мне приходилось читать о тунгусах, о чукчах, об индейцах Ciy, и некоторых других племенах дикарей. Самое повторение подобной похвалы уже говорит нам больше, чем целые томы специальных исследований.

Туземцы Австралии стоят по развитию не выше своих южноафриканских братьев. Их хижины имеют тот же характер и очень часто они довольствуются даже простым щитом или ширмой из хвороста, для защиты от холодных ветров. В пище они не отличаются разборчивостью: в случае нужды они пожирают совершенно разложившуюся падаль, а когда случится голод, то иногда прибегают и к людоедству. Когда австралийские туземцы

впервые были открыты европейцами, то оказалось, что они не имели никаких других орудий, кроме сделанных самым грубым образом из камня или кости. Некоторые племена не имели даже лодок и были совершенно незнакомы с меновой торговлей. А между тем, после тщательного изучения их привычек и обычаев, оказалось, что у них существует та самая выработанная родовая организация, о которой говорилось выше.[103]

Территория, на которой они живут, обыкновенно бывает поделена между различными родами, но область, на которой каждый род производит охоту или рыбную ловлю, остается в общественном владении, и продукты охоты и ловли идут всему роду.[104] Роду же принадлежат орудия охоты и рыбной ловли. Еда происходит сообща. Подобно многим другим дикарям, австралийские туземцы держатся известных правил относительно сезонов, когда разрешается сбор различных видов камеди и трав.[105] Что же касается до их нравственности вообще, то лучше всего привести здесь следующие ответы, данные Лумгольцем, миссионером, жившим в Северном Квинсланде, на запросы Парижского Антропологического общества:[106]

«Чувство дружбы им знакомо; оно развито очень сильно. Слабые пользуются общественной помощью; за больными очень хорошо смотрят: их никогда не бросают на произвол судьбы и не убивают. Племена эти — людоеды, но они очень редко едят членов собственного племени (если не ошибаюсь — только тогда, когда убивают по религиозным мотивам); они едят только чужих. Родители любят своих детей, играют с ними и ласкают их. Детоубийство практикуется лишь с общего согласия. Со стариками обращаются очень хорошо и никогда не убивают их. У них нет ни религии, ни идолов, а существует только страх смерти. Брак — полигамический. Ссоры, возникающие в пределах рода, решаются путем дуэлей на деревянных мечах и с деревянными же щитами. Рабства не существует; обработки земли — никакой; глиняных изделий не имеется; одежды — нет, за исключением передника, носимого иногда женщинами. Род состоит из двух сот человек, разделенных на четыре класса мужчин и четыре класса женщин; брак допускается только между обычными классами, но никогда не в пределах самого рода».

Относительно папуасов, близкородственных австралийцам, мы имеем свидетельство Г. Л. Бинка, жившего в Новой Гвинее, преимущественно в Geellwinck Bay, с 1871 по 1883 г. Приводим сущность его ответов на те же вопросы.[107]

«Папуасы — общительны и весьма веселого нрава; они много смеются. Скорее робки, чем храбры. Дружба довольно сильна между членами разных родов, и еще сильнее в пределах одного и того же рода. Папуас часто выплатит долги своего друга, с условием, что последний уплатит этот долг, без процентов, его детям. За больными и стариками присматривают; стариков никогда не покидают и не убивают, — за исключением рабов, которые долго болели. Иногда съедают военнопленных. Детей очень ласкают и любят. Старых и слабых военнопленных убивают, а остальных продают в рабство. У них нет ни религии, ни богов, ни идолов, ни каких бы то ни было властей; старейший член семьи является судьей. В случае прелюбодеяния, (т. е. нарушения их брачных обычаев), виновник платит штраф, часть которого идет в пользу «негории» (общины). Земля состоит в общем владении, но плоды земли принадлежат тому, кто их вырастил. Папуасы имеют глиняную посуду и знакомы с меновой торговлей, причем, согласно выработавшемуся обычаю, купец

дает им товары, а они возвращаются по домам и приносят туземные произведения, в которых нуждается купец; если же они не могут добыть нужных произведений, то возвращают купцу его европейский товар.[108] Папуасы «охотятся за головами», т. е. практикуют кровавую месть. Впрочем, «иногда, — говорит Финш, — дело передается на рассмотрение Намототского раджи, который заканчивает дело наложением виры».

Когда с папуасами хорошо обращаются, то они очень добродушны. Миклухо-Маклай высадился, как известно, на восточном берегу Новой Гвинеи, в сопровождении лишь одного только матроса, прожил там целых два года среди племен, считавшихся людоедами, и с грустью расстался с ними; он обещал вернуться к ним, и сдержал слово, — и прожил снова год, причем, за все время у него не было с туземцами никакого столкновения. Правда, он держался правила, никогда — ни под каким предлогом — не говорить им неправды и не делать обещаний, которых он не мог выполнить. Эти бедные создания, не умеющие даже добывать огня и потому тщательно поддерживающие огонь в своих хижинах, живут в условиях первобытного коммунизма, не имея никаких начальников, и в их поселках почти никогда не бывает ссор, о которых стоило бы говорить. Они работают сообща — ровно столько, сколько нужно для добывания пищи на каждый день; они сообща воспитывают своих детей; а по вечерам наряжаются, как можно кокетливее, и предаются пляскам. Подобно всем дикарям, они страстно любят пляски, представляющие своего рода родовые мистерии. В каждой деревне имеется своя «барла» или «балай» — «длинный» или «большой» дом для холостых, в котором бывают общественные собрания и обсуждаются общественные дела — опять-таки черта общая почти всем обитателям островов Тихого океана, а также эскимосам, краснокожим индейцам и т. д. Целые группы деревень находятся в дружественных отношениях между собою и навещают друг друга целым обществом.

К несчастью, между деревнями нередко возникает вражда, — не из-за «излишней густоты населения», или «обостренного соревнования» и тому подобных измышлений нашего меркантильного века, а, главным образом, вследствие суеверий. Как только кто-нибудь заболел, собираются его друзья и родственники и тщательнейшим образом обсуждают вопрос, кто мог бы быть виновником болезни? При этом перебирают всех возможных врагов, каждый кается в самых мелких своих ссорах, и, наконец, — истинная причина болезни найдена. Ее наслал такой-то враг из соседней деревни — а потому решают произвести на эту деревню набег. Вследствие этого, ссоры обыкновенны, даже между береговыми деревнями, не говоря уже о живущих в горах людоедах, которых считают настоящими колдунами и врагами, — хотя при ближайшем знакомстве оказывается, что они ничем не отличаются от своих соседей, живущих по морскому побережью.[109]

Много поразительных страниц можно было бы написать о гармонии, господствующей в деревнях полинезийских обитателей на островах Тихого океана.

Но они стоят уже на несколько высшей ступени цивилизации, а потому мы возьмем дальнейшие примеры из жизни обитателей дальнего Севера. Прибавлю только, прежде чем покинуть южное полушарие, что даже обитатели Огненной Земли, пользовавшиеся такой плохой репутацией, начинают выступать в более благоприятном свете, по мере того, как мы лучше знакомимся с ними. Несколько французских миссионеров, живущих среди них, «не

могут пожаловаться ни на один враждебный поступок». Они живут родами, по 120-ти и 150-ти душ и также практикуют первобытный коммунизм, как и папуасы. Они все делят между собою и очень хорошо обращаются со стариками. Полный мир господствует между этими племенами.[110]

У эскимосов и их ближайших сородичей, тлинкетов, колошей и алеутов мы находим наиболее близкое подобие того, чем был человек во время ледникового периода. Употребляемые ими орудия едва отличаются от орудий древнего каменного века, и некоторые из этих племен до сих пор еще незнакомы с искусством рыбной ловли: они просто убивают рыбу острогой.[111] Они знакомы с употреблением железа, но добывают его только от европейцев, или же находят в остовах кораблей после крушения. Их общественная организация отличается полною первобытностью, хотя они уже и вышли из стадии «коммунального брака» даже с его «классовыми» ограничениями. Они живут уже семьями, но семейные узы еще слабы, так как по временам у них происходит обмен жен и мужей.[112] Семьи, однако, остаются объединенными в роды, — да иначе и быть не может. Как могли бы они выдержать тяжелую борьбу за существование, если бы не объединяли своих сил самым тесным образом? Так они и поступают, причем родовые узы всего теснее там, где борьба за жизнь наиболее тяжела, а именно — в северо-восточной Гренландии. Живут они обыкновенно в «длинном доме», в котором помещается несколько семейств, отделенных друг от друга небольшими перегородками из рваных мехов, но с общим для всех коридором. Иногда такой дом имеет форму креста и в таких случаях в центре его помещается общий очаг. Германская экспедиция, которая провела зиму возле одного из таких «длинных домов» могла убедиться, что за всю арктическую зиму «мир не был нарушен ни одною ссорой, и никаких споров не возникало из-за пользования этим тесным пространством». Выговор или даже недружелюбные слова не допускаются иначе, как в законной форме насмешливой песни (nith—song)[113], которую женщины поют хором. Таким образом, тесное сожительство и тесная взаимная зависимость достаточны для поддержания из века в век того глубокого уважения к интересам сообщества, которым отличается жизнь эскимосов. Даже в более обширных эскимосских общинах «общественное мнение является настоящим судебным учреждением, причем обычное наказание состоит в том, что провинившегося стыдят перед всеми».[114]

В основе жизни эскимосов лежит коммунизм. Все, добываемое путем охоты или рыбной ловли, принадлежит всему роду. Но у некоторых племен, особенно на Западе, под влиянием датчан, начинает слагаться частная собственность. Они, однако, употребляют довольно оригинальное средство, чтобы ослабить неудобства, возникающие из накопления богатства отдельными лицами, которое вскоре могло бы разрушить их родовое единство. Когда эскимос начинает сильно богатеть, он созывает всех своих сородичей на пиршество, и когда гости насытятся, он раздаривает им все свое богатство. На реке Юконе, в Аляске, Далль видел, как одна алеутская семья раздала таким образом десять ружей, десять полных меховых одежд, двести ниток бус, множество одеял, десять волчьих шкур, двести бобровых шкур и пятьсот горностаевых. Затем они сняли с себя свои праздничные одежды, отдали их и, одевшись в старые меха, обратились к своим сородичам с краткою речью, говоря, что хотя теперь они стали беднее каждого из гостей, зато они приобрели их дружбу.[115]

Подобные раздачи богатств стали, по-видимому, укоренившимся обычаем у эскимосов и практикуются в известную пору, каждый год, после предварительной выставки всего того, что было приобретено в течение года.[116] Они представляют по-видимому, очень древний обычай, возникший одновременно с первым появлением личного богатства, как средство восстановления равенства между сородичами, нарушавшегося обогащением отдельных лиц. Периодические переделы земель и периодическое прощение всех долгов, существовавшие в исторические времена у многих различных народов (семитов, арийцев и т. д.) были, вероятно, пережитком этого старинного обычая. Обычай погребения с покойником или уничтожения на его могиле всего его личного имущества, — который мы находим у всех первобытных рас, — должен, по-видимому, иметь то же самое происхождение. В самом деле, в то время как все принадлежавшее покойнику лично сжигается или же разбивается на его могиле, те вещи, которые принадлежали ему совместно со всем его родом, как, например, общинные лодки, сети и т. п. оставляются в целости. Уничтожению подлежит только личная собственность. В более позднюю эпоху этот обычай становится религиозным обрядом: ему дается мистическое толкование, и уничтожение предписывается религиею, когда общественное мнение, одно, оказывается уже не в силах настоять на обязательном для всех соблюдении обычая. И, наконец, действительное уничтожение заменяется символическим обрядом, т. е. — на могиле сжигают простые бумажные модели, или изображения имущества покойника (так делается в Китае), или же на могилу несут имущество покойника и приносят его обратно в дом по окончании погребальной церемонии; в этой форме обычай до сих пор сохранился, как известно, между европейцами, по отношению к мечам, крестам и другим знакам общественного отличия.[117]

О высоком уровне племенной нравственности эскимосов довольно часто упоминается в общей литературе. Тем не менее, следующие заметки о нравах алеутов, — близких сородичей эскимосов, — не лишены интереса, тем более, что они могут служить хорошим пояснением нравственности дикарей вообще. Они принадлежат перу чрезвычайно выдающегося человека, русского миссионера Вениаминова, который написал их после десятилетнего пребывания среди алеутов и тесного общения с ними. Я сокращаю их, удерживая по возможности собственные выражения автора.

Выносливость, — писал он, — их отличительная черта, и она, поистине, колоссальна. Они не только ходят купаться каждое утро в покрытое льдом море, и стоят затем, нагие на берегу, вдыхая морозный воздух, но их выносливость, даже при тяжелой работе и недостаточной пище, — превосходит все, что только можно вообразить. Если случится недостаток пищи, алеут прежде всего заботится о своих детях; он отдает им все, что имеет, а сам голодает. Они не склонны к воровству, как это уже было замечено первыми русскими пришельцами. Не то, чтобы они никогда не воровали; каждый алеут признается, что он когда-нибудь уворовал что-нибудь, но всегда это какой-нибудь пустяк, и все это носит совершенно ребяческий характер. Привязанность у родителей к детям очень трогательна, хотя она никогда не выражается в ласках или словами. Алеут с трудом решается дать какое-нибудь обещание, но, раз давши, он сдержит его во что бы то ни стало. (Один алеут подарил Вениаминову связку вяленой рыбы, но, при спешном отъезде, она была забыта на берегу, и алеут унес ее обратно домой. Случая отправить ее Вениаминову не представилось вплоть до января, а между тем, в ноябре и декабре среди этих алеутов была большая недостача съестных припасов. Но голодающие алеуты не дотронулись до подаренной уже рыбы, и в

январе она была послана по назначению). Их нравственный кодекс и разнообразен и суров. Так, например, считается постыдным: бояться неизбежной смерти; просить пощады у врага; умереть не убив ни одного врага; быть изобличенным в воровстве; опрокинуться с лодки в гавани; бояться выехать в море в бурную погоду; лишиться сил раньше других товарищей, если случится недостаток в пище во время длинного пути; обнаружить жадность во время дележа добычи, — причем, дабы устыдить такого жадного товарища, остальные отдают ему свои доли. Постыдным считается также: выболтать общественную тайну своей жене; будучи вдвоем на охоте, не предложить лучшую долю добычи товарищу; хвастать своими подвигами, а в особенности вымышленными; ругаться со злобою; также — просить милостыню; ласкать свою жену в присутствии других и танцевать с ней; торговаться самолично: продажа всегда должна быть сделана через третье лицо, которое и определяет цену. Для женщины считается постыдным: не уметь шить и вообще неумело исполнять всякого рода женские работы; не уметь танцевать; ласкать мужа и детей или даже говорить с мужем в присутствии посторонних.[118]

Такова нравственность алеутов, и дальнейшее подтверждение сказанного легко было бы заимствовать из их сказок и легенд. Прибавлю только, что когда Вениаминов писал свои «Записки» (в 1840 году), среди алеутов, — представлявших население в 60,000 человек, за шестьдесят лет совершено было только одно убийство, а за сорок лет, среди 1800 алеутов, не было совершено ни одного уголовного преступления. Это, впрочем, не покажется странным, если вспомнить, что всякого рода брань и грубые выражения абсолютно неизвестны в жизни алеутов. Даже их дети никогда не дерутся между собой и не оскорбляют друг друга словесно. Самым сильным выражением в их устах являются фразы вроде: «твоя мать не умеет шить» или «твой отец кривой».[119]

Многие черты в жизни дикарей остаются однако загадкой для европейцев. В подтверждение высокого развития родовой солидарности у дикарей и их добрых взаимных отношений можно было бы привести какое угодно количество самых достоверных показаний. А между тем, не менее достоверно и то, что те же самые дикари практикуют детоубийство, что они в некоторых случаях убивают своих стариков, и что все они слепо повинуются обычаю кровавой мести. Мы должны, поэтому, попытаться объяснить одновременное существование таких фактов, которые для европейского ума кажутся на первый взгляд совершенно несовместимыми.

Мы только что упомянули о том, как алеут будет голодать целыми днями и даже неделями, отдавая все съедобное своему ребенку; как мать-бушменка идет в рабство, чтобы не разлучаться со своим ребенком, и можно было бы заполнить целые страницы описанием действительно нежных отношений, существующих между дикарями и их детьми. У всех путешественников постоянно попадаются подобные факты. У одного вы читаете о нежной любви матери; у другого рассказывается об отце, который бешено мчит по лесу, неся на своих плечах ребенка, ужаленного змеей; или какой-нибудь миссионер повествует об отчаянии родителей при потере ребенка, которого он спас от принесения в жертву тотчас же после рождения; или же узнаете, что «дикарки» — матери обыкновенно кормят детей до четырехлетнего возраста, и что, на Ново-Гебридских островах, в случае смерти особенно любимого ребенка его мать или тетка убивают себя, чтобы ухаживать за своим любимцем на том свете,[120] и т. д., без конца.

Подобные факты упоминаются во множестве; а потому, когда мы видим, что те же самые любящие родители практикуют детоубийство, мы необходимо должны признать, что такой обычай (каковы бы ни были его позднейшие видоизменения) возник под прямым давлением необходимости, как результат чувства долга по отношению к роду и ради возможности выращивать уже подрастающих детей. Вообще говоря, дикари вовсе «не плодятся без меры», как выражаются некоторые английские писатели. Напротив, они принимают всякого рода меры для уменьшения рождаемости. Именно в этих видах существует у них целый ряд самых разнообразных ограничений, которые европейцам, несомненно, показались бы даже излишне стеснительными, и, тем не менее, строго соблюдаются дикарями. Но при всем том, первобытные народы не в силах выкармливать всех рождающихся детей, и тогда они прибегают к детоубийству. Впрочем, не раз было замечено, что как только им удастся увеличить свои обычные средства существования, они тотчас же перестают прибегать к этому средству; вообще родители очень неохотно подчиняются этому обычаю и при первой возможности прибегают ко всякого рода компромиссам, лишь бы сохранить жизнь своих новорожденных. Как уже было прекрасно указано моим другом Эли Реклю,[121] они выдумывают ради этого счастливые и несчастные дни рождения, чтобы пощадить хотя бы жизнь детей, рожденных в счастливые дни; они всячески пытаются отложить умерщвление на несколько часов и потом говорят, что если ребенок уже прожил сутки, ему суждено прожить всю жизнь.[122] Им слышатся крики маленьких детей, будто бы доносящиеся из леса, и они утверждают, что если послышится такой крик, он предвещает несчастье для целого рода; а так как у них нет ни специалистов по «производству ангелов», ни «яслей», которые помогали бы им отделяться от детей, то каждый из них содрогается перед необходимостью выполнить жестокий приговор, и потому они предпочитают выставить младенца в лес, чем отнять у него жизнь насильственным образом. Детоубийство поддерживается таким образом, недостатком знаний, а не жестокостью; и вместо пичканья дикарей проповедями, миссионеры сделали бы гораздо лучше, если бы последовали примеру Вениаминова, который ежегодно, до глубокой старости, переплывал Охотское море в плохонькой шхуне, для посещения тунгусов и камчадалов или же путешествовал на собаках среди чукчей, снабжая их хлебом и принадлежностями для охоты. Таким образом, ему действительно удалось совершенно вывести детоубийство.[123]

То же самое справедливо и по отношению к тому явлению, которое поверхностные наблюдатели называют отцеубийством. Мы только что видели, что обычай умерщвления стариков вовсе не так широко распространен, как это рассказывали некоторые писатели. Во всех этих рассказах много преувеличения; но несомненно, что такой обычай встречается, временно, почти у всех дикарей, и в таких случаях он объясняется теми же причинами, как и умерщвление детей. Когда старик «дикарь» начинает чувствовать, что он становится бременем для своего рода; когда каждое утро он видит, что достающуюся ему долю пищи отнимают у детей, — а малышки, ведь, не отличаются стоицизмом своих отцов и плачут, когда они голодны; когда каждый день молодым людям приходится нести его на своих плечах по каменистому побережью или через девственный лес, — у дикарей, ведь, нет ни кресел на колесах для больных, ни бедняков, чтобы возить такие кресла, — тогда старик начинает повторять то, что и до сих пор говорят старики-крестьяне в России: «Чужой век заедаю — пора на покой!» И он идет на покой. Он поступает так же, как в таких случаях поступает солдат. Когда спасение отряда зависит от его дальнейшего движения вперед, а солдат не может дальше идти и знает, что должен будет умереть, если останется позади,

он умоляет своего лучшего друга оказать ему последнюю услугу, прежде чем отряд двинется вперед. И друг дрожащими руками разряжает ружье в умирающее тело. Так поступают и дикари. Старик дикарь просит для себя смерти; он сам настаивает на выполнении этой последней своей обязанности по отношению к своему роду. Он получает сперва согласие своих сородичей на это. Тогда он сам роет для себя могилу и приглашает всех сородичей на последний прощальный пир. Так, в свое время, поступил его отец, — теперь его черед, и он дружественно прощается со всеми, прежде чем расстаться с ними. Дикарь до такой степени считает подобную смерть выполнением обязанности по отношению к своему роду, что он не только отказывается, чтобы его спасали от смерти (как это рассказывает Моффатт), но даже не признает такого избавления, если бы оно было совершено. Так, когда одна женщина, которая должна была умереть на могиле своего мужа, (в силу обряда, упомянутого раньше), была спасена от смерти миссионерами и увезена ими на остров, — она убежала от них ночью, переплыла широкий пролив и явилась к своему роду, чтобы умереть на могиле.[124] Смерть, в таких случаях, становится у них вопросом религии. Но, вообще говоря, дикарям настолько противно бывает проливать кровь, иначе, как в битве, что даже в этих случаях, ни один из них не возьмет на себя убийство, а потому они прибегают ко всякого рода окольным путям, которых европейцы не понимали и совершенно ложно истолковывали. В большинстве случаев, старика, решившегося умереть, оставляют в лесу, выделив ему более чем должную ему долю из общественного запаса. Сколько раз разведочным партиям в полярных экспедициях случалось поступать точно так же, когда они не в силах были более везти заболевшего товарища. «Вот тебе провизия. Проживи еще несколько дней! Быть может, откуда-нибудь придет неожиданная помощь!»

Западно-европейские ученые, встречаясь с такими фактами, оказываются решительно неспособными понять их; они не могут примирить их с фактами, свидетельствующими о высоком развитии родовой нравственности, и потому предпочитают набросить тень сомнения на абсолютно надежные наблюдения, касающиеся последней, вместо того, чтобы искать объяснения для совместного существования двоякого рода фактов: высокой родовой нравственности, и рядом с нею — убийства престарелых родителей и новорожденных детей. Но если бы те же самые европейцы, в свою очередь, рассказали дикарю, что люди чрезвычайно любезные, привязанные к своим детям и настолько впечатлительные, что они плачут, когда видят несчастье, изображаемое на сцене театра, живут в Европе бок о бок с такими лачугами, где дети мрут прямо-таки от недостатка пищи, — то дикарь тоже не понял бы их. Я помню, как тщетно я старался объяснить моим приятелям-тунгусам нашу цивилизацию, построенную на индивидуализме: они не понимали меня и прибегали к самым фантастическим догадкам. Дело в том, что дикарь, воспитанный в идеях родовой солидарности, практикуемой во всех случаях, худых и хороших, точно также не способен понять «нравственного» европейца, не имеющего никакого понятия о такой солидарности, как средний европеец не способен понять дикаря. Впрочем, если бы нашему ученому пришлось прожить среди полуголодного рода дикарей, у которых всей наличной пищи не хватило бы даже для прокормления одного человека на несколько дней, тогда он, может быть, понял бы, чем дикари руководятся в своих поступках. Равным образом, если бы дикарь пожил среди нас и получил наше «образование», он, может быть, понял бы наше европейское бездушие по отношению к ближним и наши Королевские комиссии, занимающиеся вопросом о предупреждении различных легальных форм детоубийства, практикуемых в Европе.[125] «В каменных домах сердца становятся каменные», — говорят

русские крестьяне, но дикарю все-таки пришлось бы пожить сперва в каменном доме.

Подобные же замечания можно бы было сделать и относительно людоедства. Если принять во внимание все факты, которые выяснились недавно, во время рассуждений об этом вопросе в Парижском Антропологическом Обществе, а также многие случайные заметки, разбросанные в литературе о «дикарях», мы обязаны будем признать, что людоедство было вызвано настоятельной необходимостью; и что только под влиянием предрассудков и религии оно развилось до тех ужасных размеров, каких оно достигло на островах Фиджи или в Мексике. Известно, что, вплоть до настоящего времени, многие дикари бывают вынуждены иногда питаться падалью почти совершенно разложившегося, а в случаях совершенного отсутствия пищи, некоторым из них приходилось разрывать могилы и питаться человеческими трупами, даже во время эпидемии. Такого рода факты вполне удостоверены. Но если мы перенесемся мысленно к условиям, которые приходилось переносить человеку во время ледникового периода, в сыром и холодном климате, не имея в своем распоряжении почти никакой растительной пищи; если примем в расчет страшные опустошения, производимые по сию пору цингой среди голодающих полудиких народов, и вспомним, что мясо и свежая кровь были единственными известными им укрепляющими средствами, мы должны будем допустить, что человек, который сперва был зерноядным животным, стал плотоядным во время ледникового века. Конечно, в то время, вероятно, было изобилие всякого зверя; но известно, что звери часто предпринимают большие переселения в арктических областях,[126] и иногда совершенно исчезают на несколько лет из данной территории. В таких случаях человек лишался последних средств пропитания. Мы знаем, далее, что даже европейцы, во время подобных тяжелых испытаний, прибегали к каннибализму: немудрено, что прибегали к нему и дикари. Вплоть до настоящего времени они, по временам, бывают вынуждены съесть трупы своих покойников, а в прежние времена они, в таких случаях, вынуждены были съесть и умирающих. Старики умирали тогда, убежденные, что своей смертью они оказывают последнюю услугу своему роду. Вот почему некоторые племена приписывают каннибализму божественное происхождение, представляя его, как нечто, внушенное повелением посланника с неба.

Позднее каннибализм потерял характер необходимости и обратился в суеверное «переживание». Врагов надо было съесть, чтобы унаследовать их храбрость; потом, в более позднюю эпоху, для той же цели съедалось уже одно только сердце врага, или его глаз. В то же время, среди других племен, у которых развилось многочисленное духовенство и выработалась сложная мифология, были придуманы злые боги, жаждущие человеческой крови, и жрецы требовали человеческих жертв для умилостивления богов. В этой религиозной фазе своего существования каннибализм достиг наиболее возмутительных своих форм. Мексика является хорошо известным в этом отношении примером, а на Фиджи, где король мог съесть любого из своих подданных, мы также находим могущественную касту жрецов, сложную теологию,[127] и полное развитие неограниченной власти королей. Таким образом, каннибализм, возникший в силу необходимости, сделался в более поздний период религиозным учреждением, и в этой форме он долго существовал, после того, как давно уже исчез среди племен, которые, несомненно, практиковали его в прежние времена, но не достигли теократической стадии развития. То же самое можно сказать относительно детоубийства и оставления на произвол судьбы престарелых родителей. В некоторых случаях эти явления также поддерживались

как пережиток старых времен, в виде религиозно хранимой традиции прошлого.

В заключение я упомяну еще об одном чрезвычайно важном и повсеместном обычае, который также дал повод в литературе к самым ошибочным заключениям. Я имею в виду обычаи кровавой мести. Все дикари убеждены, что пролитая кровь должна быть отомщена кровью. Если кто-нибудь был убит, то убийца тоже должен умереть; если кто-нибудь был ранен и пролита была его кровь, то кровь нанесшего рану тоже должна быть пролита. Никаких исключений из этого правила не допускается: оно распространяется даже на животных; если охотник пролил кровь — убивая медведя, или белку, — его кровь тоже должна быть пролита, по возвращении его с охоты. Таково понятие дикарей о справедливости — понятие, до сих пор удержавшееся в Западной Европе по отношению к убийству.

Покуда оскорбитель и оскорбленный принадлежат к тому же самому роду, дело решается очень просто: род и потерпевшее лицо сами решают дело.[128] Но когда преступник принадлежит к другому роду и этот род, по каким-либо причинам отказывает в удовлетворении, тогда оскорбленный род берет на себя отмщение. Первобытные люди смотрят на поступки каждого в отдельности, как на дело всего его рода, получившее одобрение рода, а потому они считают весь род ответственным за деяния каждого его члена. Вследствие этого отмщение может упасть на любого члена того рода, к которому принадлежит обидчик.[129] Но часто случается, что месть превзошла обиду. Имея в виду нанести только рану, мстители могли убить обидчика, или же ранить его тяжелее, чем предполагали; тогда получается новая обида другой стороны, которая требует от нее новой родовой мести; дело затягивается, таким образом, без конца. А потому первобытные законодатели очень старательно устанавливали точные границы возмездия: око за око, зуб за зуб и кровь за кровь.[130]

Замечательно, однако, что у большинства первобытных народов подобные случаи кровавой мести несравненно реже, чем можно было ожидать; хотя у некоторых из них они достигают совершенно ненормального развития, особенно среди горцев, загнанных в горы иноземными пришельцами, как, например, у горцев Кавказа и в особенности у даяков на Борнео. У даяков — по словам некоторых современных путешественников — дело дошло до того, что молодой человек не может ни жениться, ни быть объявленным совершеннолетним прежде, чем он принесет хоть одну голову врага. Так, по крайней мере, рассказывается, со всеми подробностями, в одной английской книге.[131] Оказывается, однако, что сведения, сообщаемые в этой книге, до крайности преувеличены. Во всяком случае, то, что англичане называют «охота за головами», представляется в совершенно ином свете, когда мы узнаем, что предполагаемый «охотник» вовсе не «охотится» и даже не руководится личным чувством мести. Он поступает сообразно тому, что считает нравственным обязательством по отношению к своему роду, а потому поступает точно также, как европейский судья, который подчиняясь тому же, очевидно, ложному началу: «кровь за кровь», отдает осужденного им убийцу в руки палача. Оба — и даяк и наш судья — испытали бы даже угрызения совести, если бы из чувства сострадания пощадили убийцу. Вот почему даяки, вне этой сферы убийств, совершаемых под влиянием их понятий о справедливости, оказываются, по единогласному свидетельству всех, кто хорошо познакомился с ними, чрезвычайно симпатичным народом. Сам Карл Бокк, который дал такую ужасную картину «охоты за

головами», пишет о них:

«Что касается до нравственности даяков, то я должен отвести им высокое место в ряду других народов... Грабежи и воровство совершенно неизвестны среди них. Они также отличаются большой правдивостью... Если я не всегда успевал добиться от них «всей правды», — все же я никогда не слышал от них ничего, кроме правды. К сожалению, нельзя сказать того же о малайцах» (стр. 209 и 210).

Свидетельство Бокка вполне подтверждается Идой Пфейффер. «Я вполне поняла» — писала она, — «что с удовольствием продолжала бы путешествовать среди них. Я обыкновенно находила их честными, добрыми и скромными... в гораздо большей степени, чем какой-либо из других, известных мне, народов».[132] Штольце, говоря о даяках, употребляет почти те же самые выражения. Даяки обыкновенно имеют по одной только жене и хорошо обращаются с нею. Они очень общительны и каждое утро весь род отправляется большими партиями на рыбную ловлю, на охоту или на огородные работы. Их деревни состоят из больших хижин, в каждой из которых помещается около дюжины семейств, а иногда и несколько сот человек, причем все они живут между собою очень миролюбиво. Они с большим уважением относятся к своим женам и очень любят своих детей; когда кто-нибудь заболевает — женщины ухаживают за ним поочередно. Вообще, они очень умеренны в пище и питье. Таковы даяки в своей действительной повседневной жизни.

Приводить дальнейшие примеры из жизни дикарей, значило бы только повторять, еще и еще, то что уже сказано. Куда бы мы ни обратились, ведь мы находим те же общительные нравы, тот же мирской дух. И когда мы пытаемся проникнуть во мрак былых веков, мы видим в них ту же родовую жизнь и те же, хотя бы и очень первобытные, союзы людей для взаимной поддержки. Поэтому Дарвин был совершенно прав, когда видел в общественных качествах человека главную деятельную силу его дальнейшего развития, а вульгаризаторы Дарвина совершенно не правы, когда утверждают противное.

«Сравнительная слабость человека и малая быстрота его движений, — писал он, — а также недостаточность его природного вооружения и т. д., более чем уравнивались, — во-первых его умственными способностями (которые, как заметил Дарвин в другом месте, развивались, главным образом, или даже исключительно, в интересах общества); и во-вторых, его общественными качествами, в силу которых он подавал помощь своим собратьям людям и получал ее от них».[133]

В восемнадцатом веке было в ходу идеализировать «дикарей» и жизнь «в естественном состоянии». Теперь же люди науки впали в противоположную крайность, в особенности с тех пор, как некоторые из них, стремясь доказать животное происхождение человека, но не будучи знакомы с общественностью животных, начали обвинять дикаря во всевозможных воображаемых «скотских» наклонностях. Очевидно однако, что такое преувеличение еще более ненаучно, чем идеализация Руссо. Первобытный человек не может считаться ни идеалом добродетели, ни идеалом «дикости». Но у него есть одно качество, выработанное в нем и укрепленное самыми условиями его тяжелой борьбы за существования; он отождествляет свое собственное существование с жизнью своего рода; и без этого качества человечество никогда не достигло бы того уровня, на котором оно находится теперь.

Первобытные люди, как мы уже сказали выше, до такой степени отождествляют свою жизнь с жизнью своего рода, что каждый из их поступков, как бы он ни был незначителен сам по себе, рассматривается как дело всего рода. Все их поведение управляется целым бесконечным рядом устных правил благопристойности, которые являются плодом их общего опыта относительно того, что следует считать добром или злом — т. е., что полезно или вредно для их собственного рода. Конечно, умозаключения, на которых основаны их правила благопристойности, бывают иногда чрезвычайно нелепы. Многие из них имеют свое начало в суевериях. Вообще, что бы дикарь ни делал, он видит одни только ближайшие последствия своих поступков; он не может предвидеть их косвенные и более отдаленные последствия, но в этом он только усиливает ошибку, в которой Бентам упрекал цивилизованных законодателей. Мы можем находить обычное право дикарей нелепым, но они подчиняются его предписаниям, как бы они ни были для них стеснительными. Они подчиняются им даже более слепо, чем цивилизованный человек подчиняется предписаниям своих законов. Обычное право дикаря — это его религия; это — самое свойство его жизни. Мысль о роде всегда присутствует в его уме; а потому самоограничение и самопожертвование в интересах рода — самое обыденное явление. Если дикарь нарушил какое-нибудь из мелких правил, установленных его родом, женщины преследуют его своими насмешками. Если же нарушение имеет более серьезный характер, тогда его день и ночь мучит страх, что он накликал несчастье на весь род, пока род не снимет с него его вины. Если дикарь случайно ранил кого-нибудь из своего собственного рода и, таким образом, совершил величайшее из преступлений, он становится совершенно несчастным человеком: он убегает в леса и готов покончить с собой, если род не снимет с него вину, причинивши ему какую-нибудь физическую боль, или проливши некоторое количество его собственной крови.[134] В пределах рода все делится сообща; каждый кусок пищи разделяется между всеми присутствующими; даже, если дикарь находится один в лесу, он не начнёт есть, не прокричав трижды приглашения всякому, кто может его услышать и пожелает разделить с ним пищу.[135]

Короче говоря, в пределах рода, правило: «каждый за всех» царствует, безусловно, до тех пор, пока возникновение отдельной семьи не начнет разрушать родового единства. Но это правило не распространяется на соседние роды или племена, даже если они вступили в союз для взаимной защиты. Каждое племя или род представляет отдельную единицу. Как у млекопитающих и у птиц, территория не остается нераздельной, а распределяется между отдельными семьями, так и у них она распределяется между отдельными племенами, и, за исключением военного времени, эти границы свято соблюдаются. Вступая на территорию соседей, каждый должен показать, что он не имеет дурных намерений и чем громче он возвещает о своем приближении, тем более он пользуется доверием; если же он входит в дом, то должен оставить свой топор у входа. Но ни один род не обязан делиться своей пищей с другими родами: он волен делиться, или нет. Вследствие этого, вся жизнь первобытного человека распадается на два рода отношений, и ее следует рассматривать с двух различных этических точек зрения: отношения в пределах рода и отношения вне его; причем (подобно нашему международному праву) «междуродовое» право сильно отличается от обычного родового права. Вследствие этого, когда дело доходит до войны между двумя племенами, самые возмутительные жестокости по отношению к врагам могут рассматриваться, как нечто заслуживающее высокой похвалы. Такое двойственное понимание нравственности проходит, впрочем, чрез всю эволюцию человечества, и оно

сохранилось вплоть до настоящего времени. Мы, европейцы, кое-что сделали, — не очень-то много, во всяком случае, — чтобы избавиться от этой двойной нравственности; но нужно также сказать, что если мы, до известной степени, распространили наши идеи солидарности — по крайней мере в теории — на целую нацию и отчасти также на другие нации, мы в то же самое время ослабили узы солидарности в пределах наших наций, и даже в пределах самой нашей семьи.

Появление отдельных семей внутри рода неизбежным образом нарушали установившееся единство. Семья — особняк — неизбежно ведет к отдельной собственности и к накоплению личного богатства. Мы видели, однако, как эскимосы стремятся предотвратить неудобства этого нового элемента в родовой жизни.

В дальнейшем развитии человечества то же стремление принимает новые формы; и проследить различные бытовые учреждения (деревенские общины, гильдии и т. п.), при помощи которых народные массы стремились поддержать родовое единство, вопреки влияниям, стремившимся его разрушить, составило бы одно из самых поучительных исследований. С другой стороны, первые зародыши познания, появившиеся в чрезвычайно отдаленные времена, когда они еще сливались с колдовством, также сделались в руках личности силою, которую можно было направлять против интересов рода. Эти зародыши знаний держались тогда в большом секрете и передавались одним лишь посвященным, в тайных обществах колдунов, шаманов и жрецов, которые мы находим у всех решительно первобытных племен. Кроме того, в то же время, войны и набеги создавали военную власть, а также касту воинов, которых союзы и «клубы» мало-помалу приобретали громадную силу. Но при всем том никогда ни в какой период жизни человечества войны не были нормальным условием жизни. В то время как воины истребляли друг друга, а жрецы прославляли эти убийства, народные массы продолжали жить обыденной жизнью и отправлять обычную свою повседневную работу. И проследить эту жизнь масс, изучить средства, при помощи которых они поддерживали свою общественную организацию, основанную на их понятиях о равенстве, взаимопомощи и взаимной поддержке — т. е. на их обычном праве, — даже тогда, когда они были подчинены самой свирепой теократии или автократии в государстве, — изучить эту сторону развития человечества, — самое главное в настоящее время для истинной науки о жизни.

Глава IV. Взаимная помощь среди варваров

- Великие переселения.
- Возникшая необходимость новой организации.
- Деревенская община.
- Общинная работа.
- Судебная процедура.
- Международное право.
- Пояснения, заимствованные из теперешней жизни.
- Буряты.
- Кабилы.
- Кавказские горцы.
- Африканские племена.

Изучая первобытных людей, нельзя не удивляться развитию общительности, которую человечество проявляло с самых первых шагов своей жизни. Следы человеческих обществ были найдены в остатках каменного века, как позднейшего, так и древнейшего; а когда мы начинаем изучать современных дикарей, образ жизни которых не отличается от образа жизни человека в позднейшем каменном веке (неолитическом периоде), мы находим, что эти дикари связаны между собой чрезвычайно древнею родою организацией, которая дает им возможность комбинировать свои слабые индивидуальные силы, наслаждаться жизнью сообща и подвигаться вперед в своем развитии. Человек, таким образом, не представляет исключения в природе. Он также подчинен великому началу взаимной помощи, которая обеспечивает наилучшие шансы выживания только тем, кто оказывает друг другу наибольшую поддержку в борьбе за существование. Таковы были заключения, к которым мы пришли в предыдущих главах.

Как только, однако, мы переходим к высшей стадии цивилизации и обращаемся к истории, которая уже может рассказать нам кое-что об стадии, мы бываем поражены той борьбой и теми столкновениями, которые раскрывает нам история. Старые узы, по-видимому, совершенно порваны. Племена воюют с племенами, одни роды с другими, индивидуумы с индивидуумами; и из этой хаотической борьбы враждебных сил человечество выходит разделенным на касты, поработенное деспотами, распавшееся на отдельные государства, которые всегда готовы вступить в войну одно против другого. И, вот, перелистывая такую историю человечества, философ-пессимист с торжеством приходит к заключению, что война и угнетение являются истинной сущностью человеческой природы; что войнолюбивые и хищнические инстинкты человека могут быть, в известных пределах, обузданы только какою-нибудь могучею властью, которая путем силы водворила бы мир и, таким образом, дала бы возможность немногим благодарным людям готовить лучшую жизнь для

человечества в грядущие времена.

А, между тем, стоит только подвергнуть повседневную жизнь человека в течение исторического периода рассмотрению более тщательному, как это и было сделано за последнее время многими серьезными исследователями человеческих учреждений, и жизнь эта немедленно получает совершенно иную окраску. Оставляя в стороне предвзятые идеи большинства историков и их видимое пристрастие к драматическим сторонам истории, мы видим, что самые документы, которыми они обыкновенно пользуются, по существу таковы, что в них преувеличивается та часть человеческой жизни, которая отдавалась на борьбу, и совершенно не дается должной оценки мирной работе человечества. Ясные и солнечные дни теряются из виду, ради описания бурь и шквалов. Даже в наше время громоздкие летописи, которые мы припасаем для будущего историка в нашей прессе, наших судах, наших правительственных учреждениях и даже в наших беллетристических произведениях и поэзии, страдают той же односторонностью. Они передадут потомству самые подробные описания каждой войны, каждого сражения и схватки, каждого спора и акта насилия, они сохранят эпизоды всякого рода индивидуальных страданий; но в них едва ли сохранятся какие-либо следы бесчисленных актов взаимной поддержки и самопожертвования, которые каждый из нас знает из личного опыта; в них почти не обращается внимания на то, что составляет истинную сущность нашей повседневной жизни — наши общественные инстинкты и нравы. Неудивительно поэтому, если летописи прошлых времен оказались такими несовершенными. Летописцы древности неизменно заносили в свои сказания все мелкие войны и всякого рода бедствия, постигавшие их современников; но они не обращали никакого внимания на жизнь народных масс, хотя именно массы занимались больше всего мирным трудом, в то время как немногие предавались возбуждению борьбы. Эпические поэмы, надписи на памятниках, мирные договоры, — словом, почти все исторические документы носят тот же характер: они имеют дело с нарушениями мира, а не с самим миром. Вследствие этого, даже те историки, которые приступали к изучению прошлого с наилучшими намерениями, бессознательно рисовали изуродованное изображение того времени, которое они стремились изобразить; и для того, чтобы восстановить действительное отношение между борьбой и единением, мы обязаны теперь заняться детальным анализом мелких фактов и бледных указаний, случайно сохранившихся в памятниках прошлого; объяснить их с помощью сравнительной этнологии; и, после того как мы столько наслышались о том, что разделяло людей — воссоздать камень за камнем те общественные учреждения, которые объединяли их.

Вероятно, уже недалеко то время, когда всю историю человечества придется написать сызнова, в новом направлении, принимая в расчет оба сейчас указанные течения человеческой жизни и оценивая роль, которую каждое из них сыграло в эволюции. Но, пока такой труд будет совершён, мы можем уже воспользоваться громадною подготовительною работою, выполненною в последние годы и дающею уже возможность восстановить, хотя в общих чертах, это второе течение, долго оставшееся в пренебрежении. Из тех периодов истории, которые изучены лучше других, мы можем уже набросать несколько картин жизни народных масс, с целью — показать, какую роль, в течение этих периодов, играла взаимная помощь. При этом, краткости ради, мы не обязаны непременно начинать с египетской, или даже греческой и римской истории, потому что в действительности эволюция человечества не имела характера неразрывной цепи событий. Несколько раз случалось так, что

цивилизация обрывалась в данной местности, у данной расы, и начиналась снова в ином месте, среди иных рас. Но каждое её новое возникновение начиналось всегда с того же родового быта, который мы видели сейчас у дикарей. Так что, если взять последнее возникновение нашей теперешней цивилизации, — с того времени, когда она началась заново, в первых столетиях нашей эры, среди тех народов, которых римляне называли «варварами», — мы будем иметь полную гамму эволюции, начиная с родового быта и кончая учреждениями нашего времени. Этим картинам и будут посвящены последующие страницы.

Учёные ещё не согласились между собою насчёт тех причин, которые около двух тысяч лет тому назад двинули целые народы из Азии в Европу и вызвали великие переселения варваров, положившие конец Западно-Римской империи. Географу, однако, естественно представляется одна возможная причина, когда он созерцает развалины некогда густонаселенных городов в теперешних пустынях Средней Азии, или же исследует старые русла рек, ныне исчезнувших, и остатки озёр, некогда громадных, которые ныне свелись чуть не до размеров небольших прудов. Причина эта — высыхание: совсем недавнее высыхание, продолжающееся и поныне, с быстротой, которую мы раньше считали невозможным допустить.[136]

С подобным явлением человек не мог бороться. Когда обитатели северо-западной Монголии и восточного Туркестана увидели, что вода уходит от них, им не оставалось другого выхода, как спуститься вдоль широких долин, ведущих к низменностям и теснить на запад обитателей этих низменностей.[137] Племя за племенем, таким образом, вытеснялось в Европу, вынуждая другие племена двигаться и передвигаться в течение целого ряда столетий на запад, или же обратно на восток, в поисках за новыми, более или менее постоянными местами жительства. Расы смешивались с расами во время этих переселений, аборигены — с пришельцами, арийцы — с урало-алтайцами; и ничего не было бы удивительного, если бы общественные учреждения, которые объединяли их у себя на родине, совершенно рухнули во время этого наслоения различных рас друг на друга, совершавшегося тогда в Европе и Азии. Но эти учреждения не были разрушены: они только подверглись такому видоизменению, какого требовали новые условия жизни.

Общественная организация тевтонцев, кельтов, скандинавов, славян и других народов, когда они впервые пришли в соприкосновение с римлянами, находилась в переходном состоянии. Их родовые союзы, основанные на действительной или же на предполагаемой общности происхождения, прослужили для объединения их в течение многих тысячелетий. Но подобные союзы отвечали своей цели только до тех пор, пока в пределах самого рода не появлялось отдельных семейств. Однако же, в силу указанных выше причин, отдельные патриархальные семьи медленно, но неудержимо создавались среди родового быта, и их появление, в конце концов, очевидно, вело к индивидуальному накоплению богатств и власти, к их наследственной передаче в семье и к разложению рода. Частые переселения и сопровождавшие их войны могли только ускорить распадение родов на отдельные семьи, а рассеивание племён во время переселений и их смешение с чужеземными представляли как раз те условия, которыми облегчалось распадение прежних союзов, основанных на узах родства. Варварам, — т. е. тем племенам, которых римляне называли «варварами», и которых, следуя классификации Моргана, я буду называть тем же именем, в отличие от первобытных племён, или «дикарей», — предстояло, таким образом, одно из двух: либо дать

своим родам разбиться на слабосвязанные между собою группы семейств, из которых наиболее богатые семьи (в особенности те, у которых богатство соединялось с функциями жреца, или с военной славой) захватили бы власть над остальными: или же — отыскать какую-нибудь новую форму общественного строя, основанного на каком-нибудь новом начале.

Многие племена были не в силах сопротивляться раздроблению: они разорялись и были потеряны для истории. Но более энергичные племена не распались: они вышли из испытания, выработавши новый общественный строй — деревенскую общину, — которая и продолжала, объединяя их в течение следующих пятнадцати или даже более веков. У них выработалось представление об общей территории земли, приобретённой ими и защищаемой их общими усилиями, и это представление заступило место угасавшего уже представления об общем происхождении. Их боги постепенно потеряли свой характер предков и получили новый — местный, территориальный характер. Они становились божествами или впоследствии святыми данной местности; «Земля» отождествлялась с её обитателями. Вместо прежних союзов по крови вырастали земельные союзы, и этот новый строй, очевидно, представлял много удобств при данных условиях. Он признавал независимость семьи и даже усиливал эту независимость, так как деревенская община отказывалась от всяких прав на вмешательство в то, что происходило внутри самой семьи; он давал также гораздо больше свободы личной инициативе; он не был по существу враждебен союзам между людьми различного происхождения, а между тем он поддерживал необходимую связь в действиях и в мыслях общинников; и, наконец, он был достаточно силён, чтобы противостоять властолюбивым наклонностям меньшинства, слагавшегося из колдунов, жрецов и профессиональных или прославившихся воинов. Вследствие этого, этот новый строй стал первичной клеточкой всей будущей общественной жизни, и у многих народов деревенская община сохранила этот характер вплоть до настоящего времени.

Теперь уже известно — и едва ли кем-либо оспаривается, — что деревенская община вовсе не была отличительной чертой славян или древних германцев. Она была распространена в Англии, как в саксонский, так и в нормандский периоды, и удерживалась местами вплоть до девятнадцатого века;^[138] она же являлась основой общественной организации древней Шотландии, древней Ирландии и древнего Уэльса. Во Франции, общинное владение и общинный передел пахотной земли деревенским мирским сходом держались, начиная с первых столетий нашей эры, до времён Тюрго, нашедшего мирские сходы «чересчур шумными», а потому и начавшего уничтожение их. В Италии, община пережила римское владычество и возродилась после падения римской империи. Она являлась общим правилом среди скандинавов, славян, финнов (в *pittäyä*, и, вероятно, в *kihlakunta*) у куров и у ливов. Деревенская община в Индии в прошлом и в настоящем, арийская и не арийская, — хорошо известна, благодаря сделавшим эпоху в этой области трудам сэра Генри Мэна; и Эльфинстон описал её у афганцев. Мы находим её также в монгольском «улусе», в кабийском *thaddoart'e*, в яванской *dessa*, в малайской *kota* или *tofa* и под разнообразными наименованиями в Абиссинии, в Судане, во внутренней Африке, у туземных племён обеих Америк и у всех мелких и крупных племён на островах Тихого океана. Одним словом, мы не знаем ни одной человеческой расы, ни одного народа, которые не прошли бы в известном периоде через деревенскую общину. Уже один этот факт опровергает теорию, в силу которой деревенскую общину в Европе старались представить порождением крепостного

права. Она сложилась гораздо ранее крепостного права, и даже крепостная зависимость не смогла разбить её. Она представляет универсальный фазис эволюции человеческого рода, естественное перерождение родовой организации, — по крайней мере у всех тех племён, которые играли или до настоящего времени играют какую-нибудь роль в истории.[139]

Деревенская община представляла собою естественно выросшее учреждение, а потому полного однообразия в её построении не могло быть. Вообще говоря, она являлась союзом семей, считавших себя происходящими от одного общего корня и владевших сообща известной территорией. Но у некоторых племён, при известных обстоятельствах, семьи чрезвычайно разрастались, прежде чем от них почковались новые семьи; в таких случаях, пять, шесть или семь поколений продолжали жить под одной кровлей или внутри одной загородки, владея сообща хозяйством и скотом и собираясь для еды перед общим очагом. Тогда слалось то, что известно в этнологии под именем «неделёной семьи» или «неделённого домохозяйства», какие мы до сих пор встречаем по всему Китаю, в Индии, в южно-славянской «Задруге» и случайно находим в Африке, в Америке, Дании, Северной России, в Сибири («семейские») и Западной Франции.[140] У других племён, или же при других обстоятельствах, которые ещё в точности не определены, семьи не достигали таких больших размеров; внуки, а иногда и сыновья, выходили из домохозяйства тотчас по вступлении в брак, и каждый из них клал начало своей собственной ячейке. Но как делённые, так и неделённые семьи, как те, которые селились вместе, так и те, которые селились врозь, по лесам, все они соединялись в деревенские общины; несколько деревень соединялись в роды, или племена, а несколько родов объединялись в конфедерации. Таков был общественный строй, который развился среди так называемых «варваров», когда они начали оседать на более или менее постоянное жительство в Европе.

Долгая эволюция потребовалась на то, чтобы род стал признавать отдельное существование в нём патриархальной семьи живущей в отдельной хижине, но, даже после такого признания, род, всё-таки, вообще говоря, ещё не признавал личного наследования собственности. Те немногие вещи, которые могли принадлежать лично индивидууму, или уничтожались на его могиле, или погребались вместе с ним. Деревенская община, напротив того, вполне признала частное накопление богатства в пределах семьи и наследственную его передачу. Но богатство понималось исключительно в форме движимого имущества, включая сюда скот, орудия и посуду, оружие и жилой дом, который, «подобно всем вещам, могущим быть уничтоженными огнём», причислялся к той же категории.[141] Что же касается до частной поземельной собственности, то деревенская община не признавала и не могла признать ничего подобного и, говоря вообще, не признает такого рода собственности, и по настоящее время. Земля была общей собственностью всего рода или целого племени, и сама деревенская община владела своею частью родовой территории лишь до тех пор, пока род или племя — точных границ здесь нельзя установить — не находил нужным нового распределения деревенских участков. Так как расчистка земли из под леса и распашка целины в большинстве случаев производились целыми общинами, или по крайней мере, объединённым трудом нескольких семей, — всегда с разрешения общины, — то вновь очищенные участки оставались за каждой семьёй на четыре, на двенадцать, на двадцать лет, после чего они уже рассматривались как части пахотной земли, принадлежащей всей общине. Частная собственность или «вечное» владение землею были так же несовместимы с основными понятиями и религиозными представлениями

деревенской общины, как ранее они были несовместимы с понятиями родового быта, так что потребовалось продолжительное влияние римского права и христианской церкви, которая вскоре восприняла законы языческого Рима, чтобы освоить варваров с возможностью частной земельной собственности.[142] Но даже тогда, когда такая собственность или владение на неопределённое время было признано, собственник отдельного участка оставался в то же время совладельцем общинных пустошей, лесов и пастбищ. Мало того, мы постоянно видим, в особенности в истории России, что когда несколько семейств, действуя совершенно порознь, завладевали какой-нибудь землёй, принадлежавшей племенам, на которых они смотрели как на чужаков, семьи захватчиков вскоре объединялись между собой и образовывали деревенскую общину, которая в третьем или четвёртом поколении уже верила в общность своего происхождения. Сибирь по сию пору полна таких примеров.

Целый ряд учреждений, отчасти унаследованных от родового периода, начал теперь выработываться на этой основе общинного владения землёй, и продолжал выработываться за те долгие ряды столетий, которые потребовались, чтобы подчинить варваров власти государств, организованных по римскому или византийскому образцу. Деревенская община была не только союзом для взаимной поддержки во всевозможных формах, для защиты от насилия и для дальнейшего развития знаний, национальных уз и нравственных понятий; причём каждое изменение в юридических, военных, образовательных или экономических правах общины решалось всеми — на мирском сходе деревни, на родовом вече, или на вече конфедерации. Община, будучи продолжением рода, унаследовала все его функции. Она представляла *universitas*, «мир» в себе самой.

Охота сообща, рыбная ловля сообща, и общественная обработка насаждений фруктовых деревьев были общим правилом при старых родовых порядках. Общественная обработка полей стала таким же правилом в деревенских общинах варваров. Правда, что прямых свидетельств в этом направлении мы имеем очень мало, и что в древней литературе мы находим всего несколько фраз у Диодора и у Юлия Цезаря, относящихся к обитателям Липарских островов, одному из кельто-иберских племён, и к свевам. Но зато нет недостатка в фактах, доказывающих, что общинная обработка земли практиковалась у некоторых германских племён, у франков и у древних шотландцев, ирландцев и валлийцев (*Welsh*).[143] Что же касается до позднейших пережитков общественной обработки, то они — просто бесчисленны. Даже в совершенно романизированной Франции общинная пахота была обычным явлением всего каких-нибудь двадцать пять лет тому назад в Морбигане (Бретань).[144] Старинный Уэльский *сувар*, или сборный плуг, мы находим, напр., на Кавказе, а общинная обработка земли, отведенной в пользование сельского святилища, представляет обычное явление у кавказских племён, наименее затронутых цивилизацией;[145] подобные же факты постоянно встречаются среди русских крестьян. Кроме того, хорошо известно, что многие племена Бразилии, центральной Америки и Мексики обрабатывали свои поля сообща, и что тот же обычай широко распространен по сию пору среди малайцев, в Новой Каледонии, у некоторых негритянских племен и т. д.[146] Короче говоря, общинная обработка земли представляет такое обычное явление у многих арийских, урало-алтайских, монгольских, негритянских, краснокожих индейских, малайских и меланезийских племен, что мы должны смотреть на нее, как на всеобщую — хотя и не единственно возможную — форму первобытного земледелия.[147]

Нужно помнить, однако, что общинная обработка земли еще не влечет за собою необходимо общинного потребления. Уже в родовом быте мы часто видим, что, когда лодки, нагруженные фруктами или рыбой, возвращаются в деревню; то привезенная в них пища разделяется между отдельными хижинами и «длинными домами» (в которых помещаются или несколько семейств, или молодежь), причем пища готовится отдельно у каждого отдельного очага. Обычай садиться за трапезу в более узком кругу родственников или сотоварищей, таким образом, проявляется уже в раннем периоде родовой жизни. В деревенской общине он становится правилом. Даже пищевые продукты, выращенные сообща, обыкновенно делились между домохозяевами, после того, как часть их была отложена в запас для общинного пользования. Впрочем, традиция общественных пиров благочестиво сохранялась. При всяком удобном случае, как напр., в дни, посвященные повиновению предков, во время религиозных празднеств, при начале и по окончании полевых работ, а также по поводу таких событий, как рождение детей, свадьбы и похороны, община собиралась на общественный пир. Даже в настоящее время в Англии, мы находим пережиток этого обычая, хорошо известный под именем «после жатвенной вечери» (harvest supper): он удержался дальше всех таких обычаев.

Даже долгое время после того, как поля перестали обрабатываться сообща, всею общиной, мы видим, что некоторые земледельческие работы продолжают выполняться миром. Некоторая часть общинной земли до сих пор во многих местах обрабатывается сообща, в целях помощи неимущим, а также для образования общинных запасов, или же для употребления продуктов подобного труда во время религиозных празднеств.

Ирригационные каналы и арыки роются и чинятся сообща. Общинные луга косятся миром; и одно из самых вдохновляющих зрелищ представляет русская деревенская община во время такого покоса, когда мужчины соперничают друг с другом в широте размаха косы и быстроте косьбы, а женщины ворошат скошенную траву и собирают ее в копны; мы видим здесь, чем мог бы быть, и чем должен был бы быть людской труд. Сено, в таких случаях, делится между отдельными домохозяевами, и, очевидно, что никто не имеет права брать сено из стога у своего соседа, без разрешения; но ограничение этого общего правила, встречаемое у осетин на Кавказе, очень поучительно: как только начнет куковать кукушка, возвещая о наступлении весны, которая вскоре оденет все луга травой, каждый получает право из соседского стога, сколько ему нужно сена для прокормления своего скота.[148] Таким образом, снова утверждаются древние общинные права, как бы для того, чтобы доказать, насколько неограниченный индивидуализм противоречит человеческой природе.

Когда европеец-путешественник высаживается на каком-нибудь островке Тихого океана и, увидав вдали группу пальмовых деревьев, направляется к ней, его обыкновенно поражает открытие, что маленькие деревушки туземцев соединены между собой дорогами, которые вымощены крупными камнями и вполне удобны для босоногих туземцев; — во многих отношениях они напоминают «старые дороги» в Швейцарских горах. Подобные дороги были проложены «варварами» по всей Европе, и надо постранствовать по диким, мало населенным странам, лежащим вдали от главных линий международных сообщений, чтобы понять размеры той колоссальной работы, которую выполнили варварские общины, чтобы победить дикость необразимых лесных и болотистых пространств, какую представляла из себя Европа около двух тысяч лет тому назад. Отдельные семьи, слабые и без нужных орудий, никогда не смогли бы победить дикую тайгу. Лес и болота победили бы их. Одни

только деревенские общины, работая сообща, могли осилить эти дикие леса, эти засасывающие трясины и безграничные степи. Грубые дороги и гати, паромы и деревянные мосты, которые зимой снимались и строились снова после весеннего половодья, окопы и частоколы, которыми обносились деревни, земляные крепостцы, небольшие башни и вышки, которыми бывала усыпана территория — все это было делом рук деревенских общин. А когда община разрасталась, начинался процесс ее почкования. На некотором расстоянии от первой вырастала новая община, и, таким образом, шаг за шагом леса и степи попадали под власть человека. Весь процесс создания европейских наций был в сущности плодом такого почкования деревенских общин. Даже в настоящее время, русские крестьяне, если только они не совсем задавлены нуждой, переселяются общинами, миром поднимают целину и миром же сообща роют себе землянки, а потом строят дома, когда селятся в бассейне Амура или же в Канаде. Даже англичане, в начале колонизации Америки, возвращались к старой системе: они селились и жили общинами.[149]

Деревенская община была главным оружием варваров в их тяжелой борьбе с враждебной природой. Она также являлась связью, которую варвары противопоставляли угнетению со стороны наиболее ловких и сильных, стремившихся усилить свою власть в те тревожные времена. Воображаемый «варвар» — человек, сражающийся и убивающий людей из-за пустыков и «кровожадный» дикарь наших книжников. Действительный варвар, напротив того, в своей жизни подчинялся целому сложному ряду учреждений, проникнутых внимательным отношением к тому, что может быть полезным или же пагубным для его племени или же конфедерации, причем установление этого рода благоговейно передавались из поколения в поколение в стихах и песнях, в пословицах и трехстишиях (триадах), в изречениях и наставлениях. Чем более мы изучаем этот период, тем более убеждаемся мы в тесноте уз, связывавших людей в их общинах. Всякая ссора, возникавшая между двумя односельчанами, рассматривалась как дело, касающееся всей общины — даже оскорбительные слова, которые вырвались во время ссоры, рассматривались как оскорбление общины и ее предков. Подобные оскорбления надо было окупить извинениями и легкою пеней в пользу обиженного и в пользу общины.[150] Если же ссора заканчивалась дракой и ранами, то человек, присутствовавший при этом и не вмешавшийся для прекращения ссоры, рассматривался, как если бы он сам нанес причиненные раны.[151]

Юридическая процедура была проникнута тем же духом. Каждый спор, прежде всего, отдавался на рассмотрение посредников, или третейских судей, и в большинстве случаев разрешался ими, так как третейский суд играл чрезвычайно важную роль в варварском обществе. Но если дело было слишком серьезно и не могло быть разрешено посредниками, оно отдавалось на обсуждение мирского схода, который был обязан «найти приговор», и произносил его всегда в условной форме: т. е. «обидчик должен выплатить такое-то возмездие обиженному, если обида будет доказана», обида же доказывалась или отрицалась шестью или двенадцатью лицами, которые подтверждали или отрицали факт обиды под присягою; к Божьему суду прибегали только в том случае, если оказывалось противоречие между двумя составами соприсягателей обеих тяжущихся сторон. Подобная процедура, остававшаяся в силе более чем две тысячи лет, достаточно говорит сама за себя; она показывает, насколько тесны были узы, связывавшие между собой всех членов общины. При том, нужно помнить, что, кроме своего нравственного авторитета, мирский сход не имел никакой другой силы, чтобы привести свой приговор в исполнение.

Единственной, возможной угрозой непокорному было бы объявление его изгоем, находящимся вне закона; но даже и эта угроза была обоюдоострым оружием. Человек, недовольный решением мирского схода, мог заявить, что он выходит из своего рода и присоединяется к другому роду, — а это была ужасная угроза, так как, по общему убеждению, она непременно навлекала всевозможные несчастья на род, который мог совершить несправедливость по отношению к одному из своих сочленов.[152]

Сопrotивление справедливому решению, основанному на обычном праве, было просто «невообразимо», по очень удачному выражению Генри Мэна, так «закон, нравственность и факт представляли в те времена нечто нераздельное».[153] Нравственный авторитет общины был настолько велик, что даже в гораздо более позднюю пору, когда деревенские общины подпали уже в подчинение феодальным владельцам, они тем не менее удерживали за собой юридическую власть; они только предоставляли владельцу, или его представителю, «находить» вышеупомянутые условные приговоры, в согласии с обычным правом, которое он клялся сохранять в чистоте, причем ему предоставлялось взимать в свою пользу ту пеню (*fred*), которая прежде взыскивалась в пользу общины.[154] Но в течение долгого времени сам феодальный владелец, если он являлся совладельцем общинных пустошей и выгонов, подчинялся в общинных делах решениям общины. Принадлежал ли он к дворянству или к духовенству, он обязан был подчиняться решению мирского схода — «*Wer daselbst Wasser und Weid gehorsams ein*» — «кто пользуется здесь правом на воду и пастбища, тот должен повиноваться», — говорит одно старинное изречение. Даже когда крестьяне стали рабами феодальных владельцев, — последние обязаны были являться на мирской сход, если сход вызывал их.[155]

В своих представлениях о правосудии варвары, очевидно, недалеко ушли от дикарей. Они также считали, что всякое убийство должно повлечь за собой смерть убийцы; что нанесение раны должно быть наказано нанесением точь-в-точь такой же раны, и что обиженная семья обязана сама исполнить приговор, произнесённый в силу обычного права, т. е. убить убийцу, или одного из его сородичей, или же нанести известного рода рану обидчику, или одному из его ближних. Это было для них священной обязанностью, долгом по отношению к предкам, который должен быть выполнен вполне открыто, а никоим образом втайне и получить возможно широкую огласку. Поэтому самые вдохновенные места саг и всех вообще произведений эпической поэзии посвящены прославлению того, что тогда считалось правосудием, т. е. родовой мести. Сами боги присоединялись в таких случаях к смертным и помогали им.

Впрочем, преобладающей чертой правосудия варваров является уже, с одной стороны, стремление ограничить количество лиц, которые могут быть вовлечены в войну двух родов из-за кровавой мести, а с другой стороны, — стремление устранить зверскую идею о необходимости отплачивать кровью за кровь и ранами за раны, и желание установить систему вознаграждений обиженному за обиды. Своды «варварских» законов, которые представляли собрания постановлений обычного права, записанных для руководства судей — «сначала допускали, затем поощряли и, наконец, требовали» замены кровавой мести вознаграждением, как это заметил Кенигсвартер.[156] Но представлять эту систему судебного возмездия за обиды, как систему штрафов, которые давали, будто бы, богатому человеку *carte blanche*, т. е. полное право поступать, как ему вздумается, — доказывает совершенное непонимание этого учреждения. Вира, т. е. *Wergeld*, выплачивавшаяся

обиженному, совершенно отлична от небольшого штрафа, или *fred*, [157] выплачивавшегося общине или её представителю; и вира обыкновенно назначалась такая высокая за всякого рода насилие, что, конечно, она не могла являться поощрением для подобного рода поступков. В случае убийства, вира обыкновенно превышала все возможное имущество убийцы. «Восемнадцать раз восемнадцать коров» — таково вознаграждение у осетин, не умеющих считать свыше восемнадцати; у африканских племён вира за убийство достигает 800 коров, или 100 верблюдов с их приплодом, и только у более бедных племён она спускается до 416 овец. [158] Вообще, в громадном большинстве случаев, виру за убийство невозможно было уплатить, так что убийце оставалось одно: убедить, своим раскаянием, обиженную семью, чтобы она усыновила его. Даже теперь, на Кавказе, когда родовая война из-за кровавой мести заканчивается мировой, обидчик прикасается губами к груди старшей женщины в роде, и становится, таким образом, «молочным братом» всех мужчин обиженной семьи. [159] У некоторых африканских племён убийца должен отдать свою дочь или сестру в замужество одному из членов семьи убитого; у других племён он обязан жениться на вдове убитого; и во всех таких случаях он становится, после этого, членом семьи, мнение которого выслушивается во всех важных семейных делах. [160]

Кроме того, варвары не только не относились с пренебрежением к человеческой жизни, но они вовсе не знали тех ужасающих наказаний, которые были введены позднее светским и духовным законодательством, под римским и византийским влияниями.

Если право саксов назначало смертную казнь довольно легко, даже за поджог и вооруженный грабёж, то другие варварские кодексы прибегали к ней только в случаях предательства по отношению к своему роду и святотатства по отношению к общинным богам, видя в смертной казни единственное средство умиловать богов.

Всё это, очевидно, очень далеко от предполагаемой «нравственной распущенности» варваров. Напротив того, мы не можем не любоваться глубоко нравственными началами, которые были выработаны древними деревенскими общинами и которые нашли себе выражение в уэльских трехстишиях, в легендах о короле Артуре, в ирландских комментариях (Брегон), [161] в старых германских легендах и т. д., а также до сих пор выражаются в поговорках современных варваров. В своём введении к «*The Story of Burnt Njal*» Джордж Дазент очень верно охарактеризовал следующим образом качества нормана, как они определяются на основании саг:

«Открыто и мужественно делать предстоящее ему дело, не страшась ни врагов, ни недругов, ни судьбы... быть свободным и отважным во всех своих поступках; быть ласковым и щедрым по отношению к друзьям и сородичам; быть суровым и грозным по отношению к врагам (т. е. к тем, кто подпал под закон кровавой мести), но даже и по отношению к ним выполнять все должные обязанности... Не нарушать перемирия, не быть передатчиком и клеветником. Не говорить за глаза о человеке ничего такого, чего не посмел бы сказать в его присутствии. Не прогонять от своего порога человека, ищущего пищи или крова, хотя бы он был даже твоим врагом». [162]

Таковыми же или даже еще более возвышенными принципами проникнута вся уэльская эпическая поэзия и триады. Поступать «с кротостью и по принципам беспристрастия», по

отношению к людям, без различия будут ли они врагами или друзьями, и «исправлять причинённое зло» — таковы высшие обязанности человека; «зло — смерть, добро — жизнь», восклицает поэт-законодатель.[163] «Мир был бы нелепым, если бы соглашения, сделанные на словах, не почитались», — говорит закон Брегона. А смиренный мордвин-шаманист, восхваливши подобные же качества, прибавляет, в своих принципах обычного права, что «между соседями корова и подоюнок — общее достояние», что «корову надо доить для себя и для того, кто может попросить молока»; что «тело ребёнка краснеет от удара, но лицо того, кто бьёт ребёнка — краснеет от стыда»,[164] и. т. д. Можно было бы наполнить много страниц изложением подобных же нравственных начал, которые «варвары» не только выражали, но которым они следовали.

Здесь необходимо упомянуть еще одну заслугу древних деревенских общин. Это то, что они постепенно расширяли круг лиц, солидарно связанных между собою. В период, о котором мы говорим, не только роды федерировались в племена, но и племена, в свою очередь, даже хотя бы и различного происхождения, объединялись в конфедерации. Некоторые союзы были настолько тесны, что, например, вандалы, оставшиеся на месте, после того, как часть их конфедерации ушла на Рейн, а оттуда перешла в Испанию и Африку, в течение сорока лет охраняли общинные земли и покинутые деревни своих союзников; они не завладевали ими до тех пор, пока не убедились, через особых посланцев, что их союзники не намерены более возвратиться. У других варваров мы встречаем, что земля обрабатывалась одною частью племени, в то время как другая часть сражалась на границах их общей территории или за её пределами. Что же касается до лиг между несколькими племенами, то они представляли самое обычное явление. Сикамбры объединились с херусками и свевами; квады с сарматами; сарматы с аланами, карпами и гуннами. Позднее, мы видим также, как понятие о нациях постепенно развивается в Европе, гораздо раньше, чем что-либо вроде государства начало слагаться где бы то ни было в той части материка, — которая была занята варварами. Эти нации — так как невозможно отказать в имени нации Меровингской Франции, или же России одиннадцатого и двенадцатого века, — эти нации были, однако, объединены между собою ничем иным, как единством языка и молчаливым соглашением их маленьких республик, избирать своих князей (военных защитников и судей) из одной только определённой семьи.

Войны, конечно, были неизбежны; переселения неизбежно влекут за собой войну, но уже Генри Мэн, в своём замечательном труде о племенном происхождении международного права, вполне доказал, что «человек никогда не был ни так свиреп, ни так глуп, чтобы подчиняться такому злу, как война, не употребивши некоторых усилий, чтобы предотвратить его». Он показал также, как велико было «число древних учреждений, обличавших намерение предупредить войну, или найти для неё какую-нибудь альтернативу».[165] В сущности, человек, вопреки обычным предположениям, такое не войнолюбивое существо, что, когда варвары, наконец, осели на своих местах, они быстро утратили навык к войне, — так быстро, что вскоре должны были завести особых военных вождей, сопровождаемых особыми Scholae или дружинами, для защиты своих сёл от возможных нападения. Они предпочитали мирный труд войне, и самое миролюбие человека было причиной специализации военного ремесла, причём в результате этой специализации получилось впоследствии рабство и все войны «государственного периода» в истории человечества.

История встречается с большими затруднениями в своих попытках восстановить учреждения варварского периода. На каждом шагу историк находит бледные указания на то или другое учреждение, которых он не может объяснить при помощи одних лишь исторических документов. Но прошлое тотчас же озаряется ярким светом, как только мы обращаемся к учреждениям многочисленных племён, до сих пор ещё живущих под таким общественным строем, который почти тождествен со строем жизни наших предков, варваров. Тут мы встречаем такое обилие материалов, что затруднение является в выборе, так как острова Тихого океана, степи Азии и плоскогорья Африки оказываются настоящими историческими музеями, заключающими образчики всех возможных промежуточных стадий, пережитых человечеством при переходе от родового быта дикарей к государственной организации. Рассмотрим несколько таких образчиков.

Если мы возьмём, например, деревенские общины монголо-бурят, в особенности тех, которые живут в Кудинской степи, на верхней Лене, и более других избежали русского влияния, то мы имеем в них довольно хороший образчик варваров в переходном состоянии, от скотоводства к земледелию.[166] Эти буряты до сих пор живут «неделёнными семьями», т. е., хотя каждый сын после женитьбы уходит жить в отдельную юрту, но юрты, по крайней мере, трёх поколений находятся внутри одной изгороди, и неделённая семья работает сообща на своих полях и владеет сообща своими неделёнными домохозяйствами, скотом, а также «телятниками» (небольшие огороженные пространства, на которых сохраняется мягкая трава для выкормки телят). Обыкновенно каждая семья собирается для еды в своей юрте, но когда жарится мясо, то все члены неделённого домохозяйства, от двадцати до шестидесяти человек, пируют вместе. Несколько неделённых семей, живущих в одном урочище, а также меньшего размера семьи, поселившиеся в том же месте (в большинстве случаев они представляют остатки неделённых семей, разбившихся по какой-нибудь причине), составляет улус, или деревенскую общину. Несколько улусов составляют «род» — вернее племя, — а все сорок шесть «родов» Кудинской степи объединены в одну конфедерацию. В случае надобности, вызываемой теми или другими специальными нуждами, несколько «родов» вступают в меньшие, но более тесные союзы. Эти буряты не признают частной поземельной собственности — землей владеют улусы сообща, или точнее ею владеет вся конфедерация, и в случае необходимости происходит передел земли между различными улусами, на сходе всего рода, между сорока шестью родами на вече конфедерации. Следует заметить, что та же самая организация существует у всех 250.000 бурят Восточной Сибири, хотя они уже более трёхсот лет находятся под властью России и хорошо знакомы с русскими порядками.

Несмотря на всё сказанное, имущественное неравенство быстро развивается у бурят, особенно с тех пор, как русское правительство начало придавать преувеличенное значение избираемым бурятами «тайшам» (князьям), которых оно считает ответственными сборщиками податей и представителями конфедераций в их административных и даже коммерческих сношениях с русскими. Таким образом, открываются многочисленные пути к обогащению немногих, идущему рука об руку с обеднением массы, вследствие захвата русскими бурятских земель. Тем не менее у бурят, особенно Кудинских, держится обычай (а обычай — сильнее закона), согласно которому, если у семьи пал скот, то более богатые семьи дают ей несколько коров и лошадей, на поправку. Что же касается бедняков, бессемейных, то они едят у своих сородичей; бедняк входит в юрту, занимает — по праву, а

не из милости — место у огня и получает свою долю пищи, которая всегда самым добросовестным образом делится на равные части; спать он остаётся там, где ужинал. Вообще, русские завоеватели Сибири были настолько поражены коммунистическими обычаями бурят, что они назвали их «братскими» и доносили в Москву: «У них всё сообща; всё, что у них есть, они делят между всеми». Даже в настоящее время, когда Кудинские буряты продают свою пшеницу, или посылают свой скот для продажи русскому мяснику, все семьи улуса или даже рода ссыпают пшеницу в одно место и сгоняют скот в одно стадо, продавая всё оптом, как бы принадлежащее одному лицу. Кроме того, каждый улус имеет свой запасный хлебный магазин для ссуд на случай надобности, свои общинные печи, чтобы печь хлеб (four banal французских общин) и своего кузнеца, который подобно кузнецу в индийских сёлах,[167] будучи членом общины, никогда не получает платы за работу в пределах общины. Он должен выполнять всю нужную кузнечную работу даром, а если он употребит свои часы досуга на выделку чеканных посеребрённых железных пластинок, служащих у бурят для украшения одежды, то при случае он может продать их женщине из другого рода, но женщине, принадлежащей к его собственному роду, он может только подарить их.

Купля-продажа вовсе не может иметь места в пределах общины, и это правило соблюдается так строго, что когда какая-нибудь зажиточная бурятская семья нанимает работника, он должен быть взят из другого рода, или же из русских; замечу, что такой обычай насчёт купли-продажи существует не у одних бурят: он так широко распространён между современными варварами, — арийцами и урало-алтайцами — что он должен был быть всеобщим у наших предков.

Чувство единения в пределах конфедерации поддерживается общими интересами всех родов, их общими вечами и их празднествами, которые обыкновенно происходят в связи с вечами. То же самое чувство поддерживается, впрочем, и другим учреждением, — племенной охотой, аба, которая очевидно представляет отголосок очень отдалённого прошлого. Каждую осень все сорок шесть Кудинских родов сходятся для такой охоты, добыча которой делится потом между всеми семьями. Кроме того, время от времени созывается национальная аба, для утверждения чувства единства у всей бурятской нации. В таких случаях, все бурятские роды, разбросанные на сотни вёрст к востоку и к западу от озера Байкала, обязаны выслать специально для этой цели своих выбранных охотников. Тысячи людей собираются на такую национальную охоту, причём каждый привозит провизии на целый месяц. Все доли провизии должны быть равны, а потому, прежде чем сложить вместе все запасы, каждая доля взвешивается выборным старшиной (непреренно — «от руки»: весы были бы профанацией древнего обычая). Вслед за тем, охотники разделяются на отряды, по двадцати человек в каждом, и начинают охоту, согласно заранее установленному плану. В таких национальных охотах вся бурятская нация переживает эпические традиции того времени, когда она была объединена в одну могущественную лигу. Могут также прибавить, что подобные же охоты — обычное явление у краснокожих индейцев и у китайцев на берегах Уссури (kada).[168]

В кабилах, образ жизни которых был так хорошо описан двумя французскими исследователями,[169] мы имеем представителей варваров, подвинувшихся несколько дальше в своём земледелии. Их поля орошаются арыками, удобряются и вообще хорошо

возделаны, а в гористых областях каждый кусок удобной, земли обрабатывается заступом. Кабилы пережили немало превратностей в своей истории; они следовали некоторое время мусульманскому закону о наследовании, но не могли примириться с ним, и лет полтораста тому назад вернулись к своему прежнему родовому обычному праву. Вследствие этого, землевладение имеет у них смешанный характер, и частная земельная собственность существует наряду с общинным владением. Во всяком случае, основой теперешнего общественного строя является деревенская община (thaddart), которая обыкновенно состоит из нескольких неделённых семей (kharoubas), признающих общность своего происхождения, а также из нескольких, меньшего размера, семей чужаков. Деревни группируются в роды, или племена, (ârch); несколько родов составляют конфедерацию (thak'ebilt); и, наконец, несколько конфедераций иногда слагаются в лигу, — главным образом для целей вооруженной защиты.

Кабилы не знают никакой другой власти, кроме своей djemtâa, или мирского схода деревенской общины. В нём принимают участие все взрослые мужчины, и они собираются для этого, или прямо под открытым небом, или же в особом здании, имеющем каменные скамьи. Решения djemtâa, очевидно, должны быть приняты единогласно, т. е. обсуждение продолжается до тех пор, пока все присутствующие согласятся принять известное решение, или подчинятся ему. Так как в деревенской общине не бывает такой власти, которая могла бы заставить меньшинство подчиниться решению большинства, то система единогласных решений практиковалась человечеством везде, где только существовали деревенские общины, и практикуется по сию пору там, где они продолжают существовать, т. е. у нескольких сот миллионов людей на всём пространстве земного шара. Кабийская djemtâa сама назначает свою исполнительную власть — старшину, писаря и казначея; она сама раскладывает подати и заведует распределением общинных земель, равно как и всякими общепольными работами. Значительная часть работ производится сообща: дороги, мечети, фонтаны, оросительные каналы, башни для защиты от набегов, деревенские ограды и т. п., — всё это строится деревенской общиной, тогда как большие дороги, мечети более крупных размеров и большие базары являются делом целого рода. Многие следы общинной обработки земли существуют до сих пор, и дома продолжают строиться всем селом, или же с помощью всех мужчин и женщин своего села. Вообще, к «помочам» прибегают чуть ли не ежедневно, для обработки полей, для жатвы, для построек и т. п. Что же касается ремесленных работ, то каждая община имеет своего кузнеца, которому даётся часть общинной земли, и он работает для общины: когда подходит время пахоты, он обходит все дома и чинит плуги и другие земледельческие орудия бесплатно, выковать же новый плуг считается благочестивым делом, которое не может быть вознаграждено деньгами, или вообще какой-либо платой.

Так как у кабилы уже существует частная собственность, то среди них, очевидно, есть и богатые, и бедные. Но, подобно всем людям, живущим в тесном обращении и знающим, как и откуда начинается обеднение, они считают бедность такою случайностью, которая может посетить каждого. «От сумы да от тюрьмы не отказывайся», — говорят русские крестьяне; кабилы прилагают к делу эту поговорку, и в их среде нельзя подметить ни малейшей разницы в обращении между бедными и богатыми; когда бедняк созывает «помочь» — богач работает на его поле, совершенно так же, как бедняк работает в подобном же случае на поле богача.[170] Кроме того, djemtâa отводит известные сады и поля, иногда

возделываемые сообща, для пользования беднейших членов общины. Много подобных обычаев сохранилось до сих пор. Так как более бедные семьи не в состоянии покупать для себя мяса, то оно регулярно покупается на суммы, составляющиеся из штрафных денег, из пожертвований в пользу *djettmâa*, или из платы за пользование общинным бассейном для выжимки оливкового масла, и это мясо распределяется поровну между теми, кто по бедности не в состоянии купить его для себя. Точно также, когда какая-нибудь семья убивает овцу и быка не в базарный день, деревенский глашатай выкрикивает об этом по всем улицам, чтобы больные люди и беременные женщины могли получить сколько им нужно мяса.

Взаимная поддержка проходит красной нитью по всей жизни кабилы, и если один из них, во время путешествия за пределами родной страны, встречает другого кабила в нужде, он обязан прийти к нему на помощь, хотя бы и рисковал для этого собственным имуществом и жизнью; если же такая помощь не была оказана, то *djettmâa* человека, пострадавшего от подобного эгоизма, может жаловаться, и тогда *djettmâa* эгоиста тотчас же вознаграждает потерпевшего. В данном случае, мы наталкиваемся, таким образом, на обычай, хорошо известный всякому, изучавшему средневековые купеческие гильдии. Всякий чужеземец, являющийся в кабийскую деревню, имеет право зимой на убежище в доме, а его лошади могут пастись в течение суток на общинных землях. В случае нужды, он может, впрочем, рассчитывать почти на безграничную поддержку. Так, во время голода 1867–1868 годов, кабилы принимали и кормили всякого, без различия происхождения, кто только искал убежища в их деревнях. В области Деллис собралось не менее 12.000 человек, пришедших не только из всех частей Алжирии, но даже из Марокко, причём кабилы кормили их всех. В то время, как по всей Алжирии люди умирали с голода, в кабийской земле не было ни одного случая голодной смерти; кабийские *djettmâa*, лишая себя часто самого необходимого, организовали помощь, не прося никакого пособия от правительства и не жалуясь на обременение: они смотрели на это, как на свою естественную обязанность.

И в то время, как среди европейских колонистов принимались всевозможные полицейские меры, чтобы предотвратить воровство и беспорядки, возникавшие вследствие наплыва чужестранцев, никакой подобной охраны не потребовалось на кабийской территории: *djettmâa* не нуждались ни в защите, ни в помощи извне.[171]

Я могу лишь вкратце упомянуть о двух других чрезвычайно интересных чертах кабийской жизни: а именно, об институции, именуемой *анауа*, имеющей целью охрану в случае войны колодцев, оросительных арыков, мечетей, базарных площадей и некоторых дорог, и об институции *соф*, о которой я скажу ниже. В *анауа* мы собственно имеем целый ряд установлений, стремящихся уменьшить зло, причиняемое войной, и предупредить войны. Так, базарная площадь — *анауа*, в особенности, если она находится близ границы и служит местом, где встречаются кабилы с чужеземцами; никто не смеет нарушать мира на базаре, и если возникают беспорядки, они тотчас же усмиряются самими чужестранцами, собравшимися в городе. Дорога, по которой ходят деревенские женщины к фонтану за водой, также считается *анауа* в случае войны и т. д. Что же касается до *соф*'а, то это установление представляет широкораспространенную форму ассоциации, в некоторых отношениях сходной с средневековыми *Bürgschaften* или *Gegilden*, а также представляет общество, существующее, как для взаимной защиты, так и для различных целей,

умственных, политических, религиозных, нравственных и т. д., которые не могут быть удовлетворены территориальной организацией общины, рода или конфедерации. Соф не знает территориальных ограничений; он набирает своих членов в различных деревнях, даже среди чужеземцев, и он оказывает своим сочленам защиту во всевозможных случаях жизни. Вообще, он является попыткой дополнения территориальной группировки, группировкою внетерриториальной, в целях дать выражение взаимному сродству всякого рода стремлений за пределами данной территории. Таким образом, свободные международные ассоциации вкусов и идей, которые мы считаем одним из лучших проявлений нашей современной жизни, берут своё начало из древнего варварского периода.

Жизнь кавказских горцев даёт другой ряд чрезвычайно поучительных примеров того же рода. Изучая современные обычаи осетин — их неделённые семьи, их общины и их юридические понятия — профессор М. Ковалевский, в замечательной работе, «Современный обычай и древнее право», мог шаг за шагом сравнивать их с подобными же установлениями древних варварских законов и даже имел возможность подметить первоначальное зарождение феодализма. У других кавказских племён мы иногда находим указания на способы зарождения деревенской общины, в тех случаях, когда она не была родовой, а выростала из добровольного союза между семьями разного происхождения. Такой случай, наблюдался, например, недавно, в хевсурских деревнях, обитатели которых принесли клятву «общности и братства».[172] В другой части Кавказа, в Дагестане, мы видим рост феодальных отношений между двумя племенами, причём оба остаются в то же время сложенными в деревенские общины, сохраняя даже следы родовых «классов», таким образом, мы имеем в этом случае живой пример тех форм, которые принимало завоевание Италии и Галлии варварами. Победители лезгины, покорившие несколько грузинских и татарских деревень в Закатальском округе, не подчинили эти деревни власти отдельных семей; они организовали феодальный клан, состоящий теперь из 12.000 домохозяев в трёх деревнях и владеющий сообща не менее чем двадцатью грузинскими и татарскими деревнями. Завоеватели разделили свою собственную землю между своими родами, а роды в свою очередь поделили её на равные части между семьями; но они не вмешиваются в дела *djemtâa* своих данников, которые до сих пор практикуют обычай, упоминаемый Юлием Цезарем, а именно: *djemtâa* решает ежегодно, какая часть общинной территории должна быть обработана, и эта земля разделяется на участки, по количеству семей, причём самые участки распределяются по жребию. Следует заметить, что хотя пролетарии не являются редкостью среди лезгин, — живущих при системе частной поземельной собственности и общего владения рабами[173] — они очень редки среди крепостных грузин, продолжающих держать свою землю в общинном владении. Что же касается до обычного права кавказских горцев, то оно очень схоже с правом лангобардов и салических франков, причём некоторые его постановления бросают новый свет на юридическую процедуру варварского периода. Отличаясь очень впечатлительным характером, обитатели Кавказа употребляют все усилия, чтобы ссоры не доходили до убийства; так, напр., у хевсуров дело скоро доходит до обнажённых мечей; но если выбежит женщина и бросит среди ссорящихся кусок полотна, служащий ей женским головным убором, шашки тотчас же спускаются в ножны, и ссора прекращается. Головной убор женщины является в данном случае *анауа*. Если ссора не была прекращена вовремя и кончилась убийством, то вира, налагаемая на убийцу, бывает так значительна, что виновник будет разорён на всю жизнь, если его не усыновит семья убитого; если же он прибегнул к кинжалу в мелкой ссоре и нанёс раны, он навсегда теряет

уважение своих сородичей. Во всех возникающих ссорах ведение дела поступает в руки посредников; они выбирают судей из среды своих сородичей, — шесть в маловажных делах и от десяти до пятнадцати в делах более серьёзных, — и русские наблюдатели свидетельствуют об абсолютной неподкупности судей. Клятва имеет такое значение, что люди, пользующиеся общим уважением, освобождаются от неё, — простое утверждение совершенно достаточно, тем более, что в важных делах хевсур никогда не поколеблется признать свою вину (я имею, конечно, в виду хевсура, ещё не затронутого цивилизацией). Клятва, главным образом, сохраняется для таких дел, как споры об имуществе, в которых, кроме простого установления фактов, требуется ещё известного рода оценка их. В подобных случаях, люди, которых утверждение повлияет решающим образом на разрешение спора, действуют с величайшей осмотрительностью. Вообще, можно сказать, что варварские общества Кавказа отличаются честностью и уважением к правам сородичей.

Различные африканские племена представляют такое разнообразие в высшей степени интересных обществ, стоящих на всех промежуточных ступенях развития, начиная с первобытной деревенской общины и кончая деспотическими варварскими монархиями, что я должен оставить всякую мысль дать хотя бы главные результаты сравнительного изучения их учреждений.[174] Достаточно сказать, что, даже при самом жестоком деспотизме королей, мирские сходы деревенских общин и их обычное право остаются полноправными в широком круге всяких дел. Закон государственный позволяет королю отнять жизнь у любого подданного, просто из каприза, или даже для удовлетворения прожорливости, но обычное право народа продолжает сохранять ту же сеть учреждений, служащих для целей взаимной поддержки, которая существует среди других варваров или же существовала у наших предков. А у некоторых, наиболее благоприятно-поставленных племён (в Борну, Уганде, Абиссинии) и в особенности у богосов, некоторые требования обычного права одухотворены действительно изящными и утончёнными чувствами.

Деревенские общины туземцев обеих Америк носили тот же характер. Бразильские тупи, когда они были открыты европейцами, жили в «длинных домах», занятых целыми родами, которые сообща возделывали свои зерновые посеиы и маниоковые поля. Арани, подвинувшиеся гораздо дальше на пути цивилизации, обрабатывали свои поля сообща; также и укаги, которые, оставаясь при системе первобытного коммунизма и «длинных домов», научились проводить хорошие дороги и в некоторых областях домашнего производства[175] не уступали ремесленникам раннего периода средневековой Европы. Все они жили, повинясь тому же обычному праву, образчики которого были даны на предыдущих страницах.

На другом конце мира мы находим малайский феодализм, который, однако, оказался бессильным искоренить негарию, т. е. деревенскую общину, с её общинным владением, по крайней мере частью земли, и перераспределением её между негариями целого рода.[176] У альфурусов Минегасы мы находим общинную трехпольную систему обработки земли; у индейского племени уайандотов (Wyandots) мы встречаем периодическое перераспределение земли всем родом; равным образом, во всех тех частях Суматры, где мусульманское право ещё не успело вполне разрушить старый родовой строй, мы находим неделённую семью (suca); и деревенскую общину (kota), сохраняющую свои права на землю, даже в таких случаях, когда часть её была расчищена без разрешения со стороны

общины.[177] Но сказать это, значит сказать вместе с тем, что все обычаи, служащие для взаимной защиты и для предупреждения родовых войн из-за кровавой мести и вообще всякого рода войн, обычаи, на которые мы вкратце указали выше, как на типичные обычаи для общины, также существуют и в данном случае. Мало того: чем полнее сохранилось общинное владение, тем лучше и мягче нравы. De Stuerе положительно утверждает, что везде, где деревенская община была менее подавлена завоевателями, наблюдается меньшее неравенство материального благосостояния, и самые предписания кровавой мести отличаются меньшей жестокостью и, наоборот, везде, где деревенская община, была окончательно разрушена, «жители страдают от невыносимого гнёта со стороны деспотических правителей».[178] И это вполне естественно. Так что, когда Waitz заметил, что те племена, которые сохранили свои родовые конфедерации, стоят на высшем уровне развития и обладают более богатою литературою, чем те племена, у которых эти узы разрушены, он высказал именно то, что можно было предвидеть, заранее.

Приводить дальнейшие примеры, значило бы уже повторяться — так поразительно походят друг на друга варварские общины, не взирая на разность климатов и рас. Один и тот же процесс эволюции совершался во всём человечестве, с удивительным однообразием. Когда, разрушаемый изнутри отдельной семьёй, а извне — расчленением переселявшихся родов и необходимостью для них принимать в свою среду чужаков, родовой строй начал разлагаться, на смену ему выступила деревенская община, основанная на понятии об общей территории. Этот новый строй, выросший естественным путем из предыдущего родового строя, позволил варварам пройти через самый смутный период истории, не разбившись на отдельные семьи, которые неизбежно погибли бы в борьбе за существование. При новой организации развились новые формы обработки земли; земледелие достигло такой высоты, которая большинством населения земного шара не была превзойдена вплоть до настоящего времени; ремесленное домашнее производство достигло высокой степени совершенства. Дикая природа была побеждена, чрез леса и болота были проложены дороги, и пустыня заселилась деревнями, отроившимися от материнских общин. Рынки, укрепленные города, церкви, — выросли среди пустынных лесов и равнин. Мал-помалу стали вырабатываться представления о более широких союзах, распространявшихся на целые племена и на группы племён, различных по своему происхождению. Старые представления о правосудии, сводившиеся просто к мести, медленным путём подвергались глубокому видоизменению, и идея исправления нанесённого ущерба заняла место идеи об отмщении. Обычное право, которое по сию пору остается законом повседневной жизни для двух третей человечества, если не более, выработалось понемногу при этой организации, равно как и система обычаев, стремившихся к предупреждению угнетения масс меньшинством, силы которого росли, по мере того, как росла возможность личного накопления богатств. Такова была новая форма, в которую вылилось стремление масс к взаимной поддержке. И прогресс — экономический, умственный и нравственный — которого достигло человечество при этой новой народной форме организации, был так велик, что когда, позднее, начали слагаться государства, они просто завладели, в интересах меньшинства, всеми юридическими, экономическими и административными функциями, которые деревенская община уже отправляла на пользу всем.

Глава V. Взаимная помощь в средневековом городе

- Рост власти в варварском обществе.
- Рабство в деревнях.
- Восстание укреплённых городов: их освобождение; их партии.
- Гильдии.
- Двойственное происхождение свободного средневекового города.
- Его автономная юрисдикция и самоуправление.
- Почётное положение, занятое трудом.
- Торговля, производимая гильдиями и городом.

Общительность и потребность во взаимной помощи и поддержке настолько прирождены человеческой природе, что мы не находим в истории таких времён, когда бы люди жили врозь, небольшими обособленными семьями, борющимися между собою из-за средств к существованию. Напротив, современные исследования доказали, как мы это видели в двух предыдущих главах, что, с самых ранних времён своей доисторической жизни, люди собирались уже в роды, которые держались вместе идеей об единстве происхождения всех членов рода и поклонением их общим предкам. В течение многих тысячелетий родовой строй служил для объединения людей, хотя в нём не имелось решительно никакой власти, чтобы сделать его принудительным. Эта бытовая организация наложила глубокую печать на всё последующее развитие человечества; и когда узы общего происхождения стали ослабевать, вследствие частых и далёких переселений, причём развитие отдельной семьи в пределах самого рода также разрушало древнее родовое единство, — тогда новая форма объединения, основанная на земельном начале, т. е. деревенская община, — была вызвана к жизни общественным творчеством человека. Это установление, в свою очередь, послужило для объединения людей в продолжение многих столетий, давая им возможность развивать более и более свои общественные учреждения и вместе с тем способствуя им пройти чрез самые мрачные периоды истории, не разбившись на ничем не связанные между собою сорища семей и индивидуумов; благодаря ему, они смогли сделать дальнейшие шаги в своей эволюции и выработать целый ряд второстепенных общественных учреждений, из которых многие дожили вплоть до настоящего времени. Мы видели это в предыдущих двух главах. Теперь же нам предстоит проследить дальнейшее развитие той же, всегда присущей человеку, склонности ко взаимной помощи. Взявши деревенские общины, так называемых варваров, в тот период, когда они вступали в новый период цивилизации, после падения западной римской империи, мы должны теперь изучить те новые формы, в которые вылились общественные потребности масс в течение средних веков, в особенности — поскольку они нашли себе выражение в средневековых гильдиях и в средневековом городе.

Так называемые варвары первых столетий нашей эры так же, как и многие монгольские, африканские, арабские и т. п. племена, до сих пор находящиеся в той же стадии развития, не только не походили на кровожадных животных, с которыми их часто сравнивают, но напротив, неизменно предпочитали мир войне. За исключением немногих племён, которые во время великих переселений были загнаны в бесплодные пустыни или на высокие нагорья и, таким образом, вынуждены были жить периодическими набегами на своих более счастливых соседей, — за исключением этих племён, громадное большинство германцев, саксов, кельтов, славян и т. д., как только они осели на своих новозавоёванных землях, немедленно вернулись к сохе, или заступу, и к своим стадам. Самые ранние варварские кодексы уже изображают нам общества, состоящие из мирных земледельческих общин, а вовсе не из беспорядочных орд людей, находящихся в непрерывной войне друг с другом. Эти варвары покрыли занятые ими страны деревнями и фермами; [179] они расчищали леса, строили мосты чрез дикие потоки, прокладывали гати чрез болота и колонизировали совершенно необитаемую до того пустыню; рискованные же военные занятия они предоставляли братствам, *scholae*, или дружинам беспокойных людей, собиравшихся вокруг временных вождей, которые переходили с места на место, предлагая свою страсть к приключениям, своё оружие и знание военного дела для защиты населения, желавшего одного: чтобы ему представили жить в мире. Отряды таких воителей приходили и уходили, ведя между собою родовые войны из-за кровавой мести; но главная масса населения продолжала пахать землю, обращая очень мало внимания на своих мнимых вождей, пока они не нарушали независимости деревенских общин. [180] И эта масса новых засельщиков Европы выработала теперь системы землевладения и способы обработки земли, которые до сих пор остаются в силе и в употреблении у сотен миллионов людей. Они выработали свою систему возмездия за причинённые обиды, вместо древней родовой кровавой мести; они научились первым ремёслам; и, укрепивши свои деревни частоколами, земляными городками и башнями, куда можно было скрываться в случае новых набегов, они вскоре предоставили защиту этих башен и городков тем, кто из войны сделал себе ремесло.

Именно это миролюбие варваров, а отнюдь не их будто бы войнолюбивые инстинкты, стало, таким образом, источником их последовавшего затем порабощения военными вождями. Очевидно, что самый образ жизни вооружённых братств давал дружинникам гораздо больше случаев к обогащению, чем их могло представляться хлебопашцам, жившим мирною жизнью в своих земледельческих общинах. Даже теперь мы видим, что вооруженные люди по временам предпринимают флибустьерские экспедиции, чтобы перестрелять африканских матабэлов и отнять у них их стада, хотя матабэлы стремятся лишь к миру и готовы купить его, хотя бы дорогой ценой; и, очевидно, что в старину дружинники не отличались большею добросовестностью, чем современные флибустьеры. Так приобретали они скот, железо (имевшее в то время чрезвычайно высокую ценность, [181] и рабов; и хотя большая часть награбленного добра растрачивалась тут же, в тех достославных пирах, которые воспевает эпическая поэзия — всё же некоторая часть оставалась и служила для дальнейшего обогащения. В то время было ещё множество невозделанной земли, и не было недостатка в людях, готовых обрабатывать её, лишь бы только достать необходимый скот и орудия. Целые сёла, доведённые до нищеты болезнями, падежами скота, пожарами или нападениями новых пришельцев, бросали свои дома и шли вразброд, в поисках за новыми местами для населения. В России, по настоящее время, сёла бредут врозь по тем же причинам. И вот, если кто-нибудь из *hirdmen*'ов, т. е. старших дружинников, предлагал

выдавать крестьянам несколько скота для начала нового хозяйства, железа для выковки плуга, а не то и самый плуг, а также свою защиту от набегов и грабежей, и если он объявлял, что на столько-то лет новые поселщики будут свободны от всяких платежей, прежде чем начать выплату долга, то переселенцы охотно садились на его землю. А впоследствии, когда, после упорной борьбы с недородами, наводнениями и лихорадками, эти пионеры начинали уплачивать свои долги, они легко попадали в крепостную зависимость у защитника территории. Богатства, несомненно, накапливались этим путём, а за богатством всегда следует власть.[182] Но всё-таки, чем больше мы проникаем в жизнь тех времён — шестого и седьмого столетий нашей эры, — тем более мы убеждаемся, что для установления власти меньшинства потребовался, помимо богатства и военной силы, еще один элемент. Это был элемент закона и права, — желание масс сохранить мир и установить то, что они считали правосудием, и это желание дало вождям дружин, — королям, герцогам, князьям и т. п. — ту силу, которую они приобрели двумя или тремя столетиями позже. Та же идея правосудия, выросшая в родовом периоде, но понимаемого теперь как должное возмездие за причинённую обиду, прошла красной нитью через историю всех последовавших установлений; и в значительно большей мере, чем военные или экономические причины, она послужила основой, на которой развилась власть королей и феодальных владетелей.

Действительно, главною заботою варварских деревенских общин было тогда (как и теперь, у современных нам народов, стоящих на той же ступени развития), быстрое прекращение семейных войн из-за кровавой мести, которые могли возникнуть вследствие ходячих в то время представлений о правосудии. Как только возникала ссора между двумя общинниками, в неё немедленно вступалась община, и мирской сход, выслушавши дело, назначал размер виры (wergeld) т. е. возмездия, которое следовало выплатить пострадавшему, или его семье, а равным образом и размер пени (fred) за нарушение мира, которая, уплачивалась общине. Внутри самой общины раздоры легко улаживались таким путём. Но, когда являлся случай кровавой мести между двумя различными племенами, или двумя конфедерациями племён, тогда — несмотря на все меры, принимавшиеся для предупреждения подобных войн,[183] — трудно было найти такого посредника или знатока обычного права, которого решение было бы приемлемо обеими сторонами, по доверию к его беспристрастию и знакомству с древнейшими законами. Затруднение это ещё более осложнялось тем, что обычное право различных племён и конфедераций не одинаково определяло размеры виры в различных случаях. Вследствие этого явился обычай брать судью из среды таких семей, или таких родов, которые были известны сохранением древнего закона во всей чистоте, знанием песен, стихов, саг и т. д., при помощи которых закон удерживался в памяти; и сохранение закона таким путём стало своего рода искусством, «мистерией», тщательно передаваемой из поколения в поколение в известных семьях. Так в Исландии и в других скандинавских странах на всяком Allthing или национальном вече, lovsögmáthr (сказатель прав) распевал на память всё обычное право, для поучения собравшихся; а в Ирландии, как известно, существовал особый класс людей, имевших репутацию знатоков древних преданий, и вследствие этого пользовавшихся большим авторитетом в качестве судей.[184] Затем когда мы находим в русских летописях известие, что некоторые племена северо-западной России, видя всё возрастающие беспорядки, происходившие оттого, что «род восстал на род», обратились к норманским варягам (varingiar) и просили их стать судьями и начальниками дружин; когда мы видим далее князей, выбираемых неизменно в течение следующих двух столетий из одной и той же норманской семьи, мы должны признать, что славяне допускали

в этих норманнах лучшее знакомство с законами того обычного права, которое различные славянские роды признавали для себя подходящим. В этом случае, обладание рунами, служившими для записи древних обычаев, являлось положительным преимуществом на стороне норманнов; но в других случаях имеются некоторые указания на то, что за судьями обращались к «старшему» роду, т. е. к ветви, считавшейся материнскою, и что решения этих судей считались самыми справедливыми.[185] Наконец, в более позднюю пору, мы видим явную склонность выбрать судей из среды христианского духовенства, которое в то время ещё придерживалось основного, теперь забытого, принципа христианства, — что месть не составляет акта правосудия. В то время христианское духовенство открывало свои церкви, как места убежища для людей, убегавших от кровавой мести; и оно охотно выступало в качестве посредника в уголовных делах, всегда противясь старому родовому началу — «жизнь за жизнь и рана за рану».

Одним словом, чем глубже мы проникаем в историю ранних установлений, тем меньше мы находим оснований для военной теории происхождения власти. Судя по всему, далее та власть, которая позднее стала таким источником угнетения, имела своё происхождение в мирных наклонностях масс.

Во всех случаях суда, пеня (fred), которая часто доходила до половины размера виры (wergeld), поступала в распоряжение мирского схода или веча, и с незапамятных времён она употреблялась для производства работ, служивших для общей пользы и защиты. До сих пор она имеет то же назначение (возведение башен) у кабиллов и у некоторых монгольских племён; и мы имеем прямые исторические свидетельства, что даже гораздо позднее судебные пошлины, в Пскове и в некоторых французских и германских городах, шли на поправку городских стен.[186] Поэтому, совершенно естественно было, чтобы штрафы вручались судьям, которые, в свою очередь, обязаны были поддерживать дружину вооружённых людей, содержащуюся для защиты территории, а также обязаны были приводить приговоры в исполнение. Это стало всеобщим обычаем в восьмом и девятом веке, даже в тех случаях, когда судьёй был выборный епископ. Таким образом, появлялись зачатки соединения в одном лице того, что мы теперь называем судебною и исполнительною властью. Но власть герцога, короля, князя и т. п. строго ограничивалась этими двумя функциями. Он вовсе не был правителем народа — верховная власть всё ещё принадлежала вечу; он не был даже начальником или князем, но считался равным ему.[187] Король или князь являлся полновластным господином лишь в своей народной милиции, так как, когда народ брался за оружие, он находился под начальством отдельного, также избранного вождя, который не был подчинён королю, личных вотчинах. Фактически, в языке варваров, слово konung, koning или cyning — синоним латинского rex, — не имело другого значения, как только временного вождя, или предводителя отряда людей. Начальник флотилии судов, или даже отдельного пиратского судна, был также konung, и вплоть до настоящего времени заведующий рыбной ловлей в Норвегии называется Not-kong — «Король сетей».[188] Почтения, которым впоследствии стали окружать личность короля, в то время ещё не существовало, и тогда как изменнический поступок по отношению к роду наказывался смертью, за убийство короля накладывалась вира, причём король лишь оценивался во столько-то раз выше обыкновенного вольного человека.[189] А когда король Кну (или Канут) убил одного из своих дружинников, то сага изображает его, созывающим дружинников на сходку (thing), во время которой он стал на колени, умоляя о прощении. Ему

простили его вину, но лишь после того, когда он согласился уплатить виру, в девять раз более обычной виры, причём из этой виры одну треть получал он сам, за потерю своего дружинника, одна треть была отдана родственникам убитого и одна треть (в виде fred) — дружине.[190] В сущности, нужно было, чтобы совершилась полнейшая перемена в ходячих понятиях, под влиянием церкви и изучения римского права, прежде чем идея о святой неприкосновенности начала прилагаться к личности короля.

Я вышел бы, однако, за пределы настоящих очерков, если бы захотел проследить постепенное развитие власти из вышеуказанных элементов. Такие историки, как Грин и г-жа Грин для Англии, Огюстен Тьерри, Мишле и Люшер для Франции, Кауфман, Янсен, и даже Нич в Германии, Лео и Ботта для Италии, Беляев, Костомаров и их последователи для России, и многие другие, подробно рассказали об этом. Они показали, как население, вполне свободное и только соглашавшееся «кормить» известное количество своих военных защитников, постепенно впадало в крепостную зависимость от этих покровителей, как отдача себя под покровительство церкви, или феодального владельца (cummendation), становилась тяжелою необходимостью для свободных граждан, будучи единственною защитою от других феодальных грабителей; как замок каждого феодального владельца и епископа становился разбойничьим гнездом, — словом, как вводилось ярмо феодализма — и как крестовые походы, освобождая всех, кто носил крест, дали первый толчок к народному освобождению. Но нам нет надобности здесь рассказывать всё это, так как главная наша задача — проследить теперь работу построительного гения народных масс, в их учреждениях, служивших делу взаимной помощи.

В то самое время, когда, казалось, последние следы свободы исчезли у варваров, и Европа, подпавшая под власть тысячи мелких правителей, шла прямо к установлению таких теократий и деспотических государств, какие обыкновенно следовали за варварскою стадией в предыдущие эпохи цивилизации, или же шла к созданию варварских монархий, какие мы теперь видим в Африке, в то самое время жизнь в Европе приняла новое направление. Она пошла по направлению, подобному тому, которое однажды уже принято было цивилизацией в городах древней Греции. С единодушием, которое кажется нам теперь почти непонятным, и которое очень долгое время действительно не понималось историками, городские населения, вплоть до самых маленьких посадов, начали свергать с себя иго своих светских и духовных господ. Укреплённое село восстало против замка феодального владельца: сперва оно свергло его власть, затем — напало на него и, наконец, разрушило его. Движение распространялось от одного города к другому; в скором времени в нём приняли участие все европейские города, и менее чем в сто лет свободные города возникли на берегах Средиземного, Немецкого и Балтийского морей, Атлантического океана и у фиордов Скандинавии; у подножья Аппенин, Альп, Шварцвальда, Грампианских и Карпатских гор; в равнинах России, Венгрии, Франции и Испании. Везде вспыхивало то же самое восстание, имевшее везде одни и те же черты, везде проходившее чрез те же фазы и везде приводившее к одним и тем же результатам.

В каждом местечке, где только люди находили, или думали найти, некоторую защиту в своих городских стенах, они вступали в «соприкасательства» (co-jurations), «братства» и «дружества», объединённые одною общею идеею, и смело шли навстречу новой жизни взаимной помощи и свободы. И они успели в осуществлении своих стремлений настолько,

что в триста, или четыреста лет вполне изменился самый вид Европы. Они покрыли страну прекрасными роскошными зданиями, являвшимися выражением гения свободных союзов свободных людей, зданиями, которых мы до сих пор не превзошли по красоте и выразительности; они оставили в наследие последующим поколениям все искусства и все ремёсла, и вся наша современная цивилизация, со всеми достигнутыми ею и ожидаемыми в будущем успехами, представляет лишь дальнейшее развитие этого наследия. И когда мы теперь стараемся определить, какие силы произвели эти великие результаты, мы находим их — не в гении индивидуальных героев, не в мощной организации больших государств и не в политических талантах их правителей, но в том же самом потоке взаимной помощи и взаимной поддержки, работу которого мы видели в деревенской общине и который оживился и обновился в средние века нового рода союзами, — гильдиями, вдохновленными тем же духом, — но отлился уже в новую форму.

В настоящее время хорошо известно, что феодализм не повлёк за собой разложение деревенской общины. Хотя феодалам и удалось наложить ярмо крепостного труда на крестьян и присвоить себе те права, которые раньше принадлежали деревенской общине (подати, выморочные имущества, налоги на наследства и браки), крестьяне, тем не менее, удержали за собой два основных общинных права: общинное владение землёй и собственные суды. В былые времена, когда король посылал своего фогта (судью) в деревню, крестьяне встречали последнего с цветами в одной руке и оружием в другой, и задавали ему вопрос: какой закон намерен он применять, тот ли, который он найдёт в деревне, или тот, который он принёс с собой? В первом случае ему вручали цветы и принимали его, а во втором — вступали с ним в бой.[191] Теперь же крестьянам принимать судью, посылаемого королём или феодальным владельцем, так как не принять его они не могли; но всё-таки сохранили юрисдикцию мирского схода и сами назначали шесть, семь, или двенадцать судей, которые действовали совместно с судьёю феодального владельца в присутствии мирского схода, в качестве посредников или лиц, «находящих приговор». В большинстве случаев, королевскому или феодальному судье не оставалось даже ничего другого, как только подтвердить решение общинных судей и получить обычный штраф (fred). Это драгоценное право собственной юрисдикции, которое в то время влекло за собой и право на собственную администрацию и на собственное законодательство, сохранилось среди всех столкновений и войн, и даже законники, которыми окружил себя Карл Великий, не могли уничтожить это право: они были вынуждены подтвердить его. В то же самое время, во всех делах, касавшихся общинных владений, мирской сход удерживал за собой верховное право и, как было показано Маурером, он часто требовал подчинения себе со стороны самого феодального владельца, в делах, касавшихся земли. Самое сильное развитие феодализма не могло сломить этого сопротивления; деревенская община твёрдо держалась за свои права; и когда в девятом и десятом столетиях, нашествия норманнов, арабов и венгерцев ясно показали, что военные дружины в сущности не в силах охранять страну от набегов, — по всей Европе крестьяне начали укреплять свои поселения каменными стенами и крепостцами. Тысячи укреплённых центров были воздвигнуты тогда, благодаря энергии деревенских общин, а раз вокруг общин воздвигались стены, и в этом новом святилище создались новые общие интересы, — жители быстро поняли, что теперь, за своими стенами, они могут сопротивляться не только нападениям внешних врагов, но и нападениям внутренних врагов, т. е. феодальных владельцев. Тогда новая свободная жизнь начала развиваться внутри этих укреплений. Родился средневековый город.[192]

Ни один период истории не служит лучшим подтверждением созидательных сил народа, чем десятый и одиннадцатый век, когда укрепленные деревни и торговые местечки, представлявшие своего рода «оазисы в феодальном лесу», начали освобождаться от ярма феодалов и медленно вырабатывать будущую организацию города. К несчастью, исторические сведения об этом периоде отличаются особенной скудностью; нам известны его результаты, но очень мало дошло до нас о том, какими средствами эти результаты были достигнуты. Под защиту своих стен, городские веча — иные совершенно независимо, другие же под руководством главных дворянских или купеческих семей — завоевали и утвердили за собой право выбора военного защитника города (*defensor municipii*) и верховного судьи, или, по крайней мере, право выбирать между теми, кто изъявлял желание занять это место. В Италии, молодые коммуны постоянно изгоняли своих защитников (*defensores* или *domini*), причём общинам приходилось даже сражаться с теми, которые не соглашались добровольно уйти. То же самое происходило и на востоке. В Богемии как бедные так и богатые *Bohemicægentismagnietparvinobileset ignobiles*) одинаково принимали участие в выборах;[193] а веча русских городов регулярно сами избирали своих князей — всегда из одной и той же семьи, Рюриковичей, — вступали с ними в договоры (ряды) и выгоняли князя, если он вызывал неудовольствие.[194] В то же самое время, в большинстве городов Западной и Южной Европы было стремление назначать в качестве защитника (*defensor*), епископа, которого избирал сам город; причём епископы так часто стояли первыми в защите городских привилегий (иммунитетов) и вольностей, что многие из них, после смерти, были признаны святыми или специальными покровителями различных городов. Св. Утельред в Винчестере, св. Ульрик в Аугсбурге, св. Вольфганг в Ратисбоне, св. Хериберк в Кёльне, св. Адальберт в Праге, и т. д. и множество аббатов и монахов стали святыми своих городов, за то, что защищали народные права.[195] И при помощи этих новых защитников, светских и духовных, граждане завоевали для своего веча полные права на независимую юрисдикцию и администрацию.[196]

Весь процесс освобождения подвигался понемногу, благодаря непрерывному ряду незаметных актов преданности общему делу, совершаемых людьми, вышедшими из среды народных масс — неизвестными героями, самые имена которых не сохранились в истории. Поразительное движение, известное под названием «Божьего мира» (*treuga Dei*), при помощи которого народные массы стремились положить предел бесконечным родовым войнам из-за кровавой мести, продолжавшимся в среде знатных фамилий, зародилось в юных вольных городах, причём епископы и граждане пытались распространить на дворянство тот мир который, они установили у себя внутри своих городских стен.[197] Уже в этом периоде торговые города Италии, и в особенности Амальфи (который имел выборных консулов с 844 года и часто менял своих дожей в десятом веке[198]), выработали обычное морское и торговое право, которое позднее стало образцом для всей Европы; Равенна выработала в ту же пору свою ремесленную организацию, а Милан, который первую свою революцию произвёл в 980 году, стал крупным торговым центром, причём его ремёсла пользовались полной независимостью уже с одиннадцатого века.[199] То же можно сказать относительно Брюгге и Гента, а также нескольких французских городов, в которых *Mahl* или *fozum* (вече) стало совершенно независимым учреждением.[200] И уже в течение этого периода началась работа артистического украшения городов произведениями архитектуры, которым мы удивляемся поныне, и которые громко свидетельствуют об интеллектуальном движении, совершившемся в ту пору. «Почти по всему миру были тогда возобновлены

храмы», — писал в своей хронике Рауль Глабер, и некоторые из самых чудных памятников средневековой архитектуры относятся к этому периоду: удивительная древняя церковь Бремена была построена в девятом веке; собор святого Марка в Венеции был закончен постройкой в 1071 году, а прекрасный собор в Пизе — в 1063 году. В сущности, умственное движение, которое описывалось под именем Возрождения двенадцатого века[201] и Рационализма двенадцатого века,[202] и было предшественником реформации, берёт своё начало в этом периоде, когда большинство городов представляло ещё простые кучки небольших деревенских общин, обнесённых одною общею стеною.

Но ещё один элемент, кроме деревенской общины, требовался, чтобы придать этим зарождавшимся центрам свободы и просвещения единство мысли и действия и ту могучую инициативу, которые создали их силу в двенадцатом и тринадцатом веке. При возраставшем разнообразии в занятиях, ремёслах и искусствах и увеличении торговли с далёкими странами, требовалась новая форма единения, которой ещё не давала деревенская община, и этот необходимый новый элемент был найден в гильдиях. Много томов было написано об этих союзах, которые, под именем гильдий, братств, дружеств, минне, артелей в России, еснафов в Сербии и Турции, амкари в Грузии и т. д., получили такое развитие в средние века и сыграли такую важную роль в деле освобождения городов. Но историкам пришлось проработать более шестидесяти лет над этим вопросом, прежде чем была понята универсальность этого учреждения и его истинный характер. Только теперь, когда напечатаны, были и изучены сотни гильдейских статуты и определена их связь с римской *collegia* и ещё более древними союзами в Греции и Индии,[203] мы можем с полною уверенностью утверждать, что эти братства являлись лишь дальнейшим развитием тех же самых принципов, воздействие которых мы видели уже в родовом строе и в деревенской общине.

Ничто не может лучше обрисовать эти средневековые братства, чем те временные гильдии, которые возникали на торговых кораблях. Когда ганзейский корабль, вышедший в море, пройдёт, бывало, первые полдня по выходе из порта, капитан (*Schiffer*) обыкновенно собирал на палубе весь экипаж и пассажиров и обращался к ним, по свидетельству одного современника, со следующей речью:

«Так как мы теперь находимся в воле Бога и волн», — говорил он, — «то все мы должны быть теперь равны друг другу. И так как мы окружены бурями, высокими волнами, морскими разбойниками и другими опасностями, то мы должны поддерживать строгий порядок, дабы довести наше путешествие до благополучного конца. Поэтому мы должны помолиться о попутном ветре и добром успехе и, согласно морскому закону, избрать тех, которые займут судейские места (*Schöffen—stellen*)». Вслед затем экипаж выбирал фогта и четырёх *scabini*, которые и становились судьями. В конце плавания фогт и *scabini* слагали с себя обязанности и обращались к экипажу со следующей речью: — «Всё, что случилось на корабле, мы должны простить друг другу и считать, как бы мёртвым (*totdund ab sein lassen*). Мы судили по справедливости и в интересах правосудия. Поэтому просим вас всех, во имя честного правосудия, забыть всякую злобу, какую можете питать друг на друга и поклясться на хлебе и соли, что не будете вспоминать о прошлом с враждой. Но, если кто-нибудь считает себя обиженным, то пусть он обратится к ландфогту (судье на суше) и до заката солнца просит у него правосудия». По высадке на берег все взысканные в пути штрафы (*fred*) передавались

портовому фогту для раздачи бедным.[204]

Этот простой рассказ, быть может, лучше всего характеризует дух средневековых гильдий. Подобные организации возникали повсюду, где только появлялась группа людей, объединённых каким-нибудь общим делом: рыбаков, охотников, странствующих купцов, строителей, оседлых ремесленников и т. д. Как мы видели, на корабле имела уже морская власть в руках капитана; но ради успеха общего предприятия, все собравшиеся на корабле, богатые и бедные, хозяева и экипаж, капитан и матросы, соглашались быть равными в своих личных отношениях, — соглашались быть просто людьми, обязанными помогать один другому, — и обязывались разрешать все могущие возникнуть между ними несогласия при помощи судей, избранных всеми ими. Точно также, когда некоторое количество ремесленников — каменщиков, плотников, каменотёсов и т. п. — собиралось вместе, для постройки, скажем, собора, то, хотя все они являлись гражданами города, имевшего свою политическую организацию, и хотя каждый из них, кроме того, принадлежал к своему цеху, тем не менее, сойдясь на общем предприятии — на деле, которое они знали лучше других, они соединялись ещё в организацию, скреплённую более тесными, хотя и временными узами: они основывали гильдию, артель, для постройки собора.[205] Мы видим то же самое и в настоящее время, в кабийском соф[206]: у кабийцев есть своя деревенская община, но она оказывается недостаточной для удовлетворения всех политических, коммерческих и личных потребностей объединения, вследствие чего устанавливается другое, более тесное, братство, в форме соф'a.

Что же касается до братского характера средневековых гильдий, то для выяснения его можно воспользоваться любым гильдейским статутом. Если взять, например, skraa какой-нибудь древней датской гильдии, мы прочтём в ней, во-первых, что в гильдии должны господствовать общие братские чувства; затем идут правила относительно само юрисдикции в гильдии, в случае ссоры между двумя гильдейскими братьями, или же между братом и посторонним; и, наконец, перечисляются общественные обязанности братьев. Если у брата сгорит дом, если он потеряет своё судно, или пострадает во время богомолья, то все братья должны прийти на помощь ему. Если брат опасно заболит, то два брата должны пребывать у его постели, пока не минует опасность, а если он умрёт, то братья должны похоронить его — немаловажная обязанность в те времена частых эпидемий — и проводить его до церкви и до могилы. После смерти брата, если оказывалось необходимым, они обязаны были позаботиться о его детях; очень часто вдова становилась сестрою в гильдии.[207]

Вышеуказанные две главные черты встречаются в каждом из братств, основанных для какой бы то ни было цели. Во всех случаях члены именно так относились друг к другу и называли друг друга братьями и сестрами;[208] в гильдии все были равны. Гильдии сообща владели некоторою собственностью (скотом, землёй, зданиями, церквями или «общими сбережениями»). Все братья клялись позабыть все прежние родовые столкновения из-за кровавой мести; и, не налагая друг на друга невыполнимого обязательства никогда больше не ссориться, они вступали в соглашение, чтобы ссора никогда не переходила в семейную вражду, со всеми последствиями родовой мести, и чтобы за разрешением ссор братья не обращались ни к какому иному суду, кроме гильдейского суда самих братьев. В случае же, если брат вовлекался в ссору с посторонним для гильдии лицом, то братья были обязаны

поддерживать брата, во что бы то ни стало; был ли он справедливо или несправедливо обвинён в нанесении обиды, братья должны были оказать ему поддержку и стараться довести дело до миролюбивого решения. Если только насилие, совершённое братом, не было тайным — в последнем случае он был бы вне закона — братство стояло за него.[209] Если родственники обиженного человека хотели немедленно мстить обидчику новым нападением, то братство снабжало его лошадью для побега, или же лодкой, парой вёсел, ножом и сталью для высекания огня; если он оставался в городе, его повсюду сопровождали для охраны двенадцать братьев; а тем временем, братство всячески старалось устроить примирение (composition). Когда дело доходило до суда, братья шли в суд, чтобы клятвенно подтвердить правдивость показаний обвиняемого; если же суд находил его виновным, они не давали ему впасть в полное разорение или попасть в рабство, вследствие невозможности уплатить присужденную виру: они все участвовали в уплате виры, совершенно так же, как это делал в древности весь род. Только в том случае, если брат обманывал доверие своих собратьев по гильдии или даже других лиц, он изгонялся из братства «с именем негодного» (tha scal han maeles af brodrescap met nidings nafh).[210]

Таковы были руководящие идеи этих братств, которые постепенно распространялись на всю средневековую жизнь. Действительно, нам известны гильдии, возникавшие среди людей всех возможных профессий: гильдии рабов,[211] гильдии свободных граждан и гильдии смешанные, состоявшие из рабов и свободных граждан; гильдии, организованные для специальных целей — охоты, рыбной ловли или данной торговой экспедиции, распадавшиеся, когда специальная цель была достигнута, и гильдии, существовавшие в течение столетий, в данном ремесле или отрасли торговли. И по мере того, как жизнь выдвигала всё большее и большее разнообразие целей, соответственно росло и разнообразие гильдий. Вследствие этого, не только торговцы, ремесленники, охотники и крестьяне объединялись в гильдии, но мы находим гильдии священников, живописцев, учителей в народных школах и в университетах, гильдии для сценической постановки «Страстей Господних», для постройки церкви, для развития «мистерии» данной школы искусства или ремесла, гильдии для специальных развлечений — даже гильдии нищих, палачей и проституток, причём все эти гильдии были организованы по тому же двойному принципу собственной юрисдикции и взаимной поддержки.[212] Что же касается до России, то мы имеем положительные свидетельства, указывающие, что самое дело созидания России было настолько же делом рыболовных, охотничьих и промышленных артелей, сколько и результатом почкования деревенских общин. Вплоть до настоящего дня Россия покрыта артелями.[213]

Уже из вышеприведённых замечаний видно, насколько ошибочен был взгляд ранних исследователей гильдий, когда они считали сущностью этого учреждения годовое празднество, обыкновенно устраиваемое гильдией. В действительности, общая трапеза всегда бывала в самый день, или на другой день после того, когда происходило избрание старшин, обсуждение нужных изменений в уставах и очень часто обсуждение тех ссор, которые возникали между братьями;[214] наконец в этот день иногда возобновляли присягу на верность гильдии. Общая трапеза, подобно пиру на древнем родовом мирском сходе, — mahi или malum, — или бурятской «аба», или приходскому празднику и пиру по окончании жатвы, служила просто для утверждения братства. Она символизировала те времена, когда всё было в общем владении рода. В этот день, по крайней мере, всё принадлежало всем; все

садились за один и тот же стол, всем подавалась одна и та же пища. Даже в гораздо более поздний период обитатели богадельни одной из Лондонских гильдий садились в этот день за общий стол, рядом с богатым альдерменом. Что же касается до различия, которое некоторые исследователи пытались установить между старыми саксонскими «гильдиями миролюбия» (frith guild) и так называемыми «общительными» или «религиозными» гильдиями, то относительно этого можно сказать, что все они были гильдиями миролюбия в вышеуказанном смысле,[215] и все они были религиозны в том смысле, в каком деревенская община или город, поставлены под покровительство специального святого, являются социальными и религиозными. Если институция гильдий получила такое обширное распространение в Азии, Африке и Европе, если она просуществовала тысячелетия, снова и снова возникая всякий раз, когда сходные условия вызывали её к жизни, то это объясняется тем, что гильдия представляла собою нечто гораздо большее, чем простая ассоциация для совместной еды, или для хождения в церковь в известный день, или для устройства похорон на общий счёт. Она отвечала глубоко-вкоренной потребности человеческой природы; и она совмещала в себе все те атрибуты, которые впоследствии государство присвоило своей бюрократии и полиции и ещё многое другое. Гильдия была ассоциацией для взаимной поддержки, «делом и советом», во всех обстоятельствах и во всех случайностях жизни; и она была организацией для утверждения правосудия, с тем, однако, отличием в данном отношении от государства, что в дело суда она вводила человеческий, братский элемент, вместо элемента формального, являющегося существенной характерной чертой государственного вмешательства. Даже, когда он появлялся пред гильдейским судом, гильдейский брат был судим людьми, которые знали его хорошо, стояли с ним рядом при совместной работе, сидели не раз за общей трапезой и вместе исполняли всякие братские обязанности: он отвечал пред людьми равными ему и действительными братьями, а не пред теоретиками закона, или защитниками чьих-то иных интересов.[216]

Очевидно, что учреждение, так прекрасно приспособленное для удовлетворения нужд единения, не лишая притом индивидуума его инициативы, должно было расширяться, расти и укрепляться. Затруднение было только в том, чтобы найти такую форму, которая позволяла бы союзам гильдий федерироваться между собою, не входя в столкновение с союзами деревенских общин, и объединяла бы те и другие в одно гармоническое целое. И когда подобная форма комбинации была найдена — в свободном городе, — и ряд благоприятных обстоятельств дал городам возможность заявить и утвердить свою независимость, они выполнили это с таким единством мысли, которое может вызвать удивление, даже в наш век железных дорог, телеграфов и прессы. Сотни хартий, которыми города утвердили акт своего объединения, дошли до нас, и во всех этих хартиях утверждаются одни и те же руководящие идеи, — несмотря на бесконечное разнообразие потребностей, зависевших от большей или меньшей полноты освобождения. Везде город организовывался, как двойная федерация — небольших деревенских общин и гильдий.

«Все принадлежащие к содружеству города» — так говорится, например, в хартии, выданной в 1188 году гражданам города Эр (Aire) Филиппом, графом Фландрским, — «обещались и подтвердили клятвой, что они будут помогать друг другу, как братья, во всём полезном и честном; что если один обидит другого, словом или делом, то обиженный не будет мстить, ни сам, ни его сородичи... он принесёт жалобу, и обидчик заплатит должное возмездие за обиду, согласно решению, произнесённому двенадцатью выборными судьями,

действующими в качестве посредников. И если обидчик или обиженный, после третьего предостережения, не подчинится решению посредников, он будет исключён из содружества, как порочный человек и клятвопреступник».[217]

«Каждый из членов общины будет верен своим соприсягавшим и будет подавать им помощь и совет, согласно тому, что ему подсказает справедливость», так говорится в Амьенской и Аббевильской хартиях. — «Все будут помогать друг другу, каждый по мере своих сил, в границах общины, и не допустят, чтобы один брал что-либо у другого общинника или один заставлял другого платить какие-нибудь поборы (contributions)» читаем мы в хартиях Суассона, Компьена, Санлиса и многих других городов того же типа.[218]

«Коммуна» — писал Жильбер де-Ножан — «есть присяга во взаимной помощи (mutui adjutori conjuratio)»... «Новое и отвратительное слово. Благодаря ей, крепостные (capite sensi) освобождаются от всякой крепостной зависимости; благодаря ей, они освобождаются от платы тех поборов, которые, обыкновенно, всегда платились крепостными».[219]

Та же самая освободительная волна прокатилась в двенадцатом веке по всей Европе, захватывая как богатые, так и самые бедные города. И если мы можем сказать, что, вообще говоря, первыми освободились итальянские города (многие ещё в одиннадцатом, а некоторые и в девятом веке), то мы всё-таки не можем указать центра, из которого распространилось бы это движение. Очень часто маленький посад, где-нибудь в центральной Европе, становился во главе движения своей области, и большие города принимали его хартию за образец для себя. Так, напр., хартия маленького городка Лорриса (Lorris) была принята 83-ю городами в юго-восточной Франции, а хартия Бомона (Beaumont) послужила образцом более чем для пятисот городов и городков в Бельгии и во Франции. Города сплошь да рядом отправляли специальных депутатов в соседний город, чтобы получить копию с его хартии, и на основании её выработывали собственную конституцию. Впрочем, города не довольствовались простым списыванием хартий друг у друга: они составляли свои хартии, в соответствии с уступками, которые им удалось вырвать у своих феодальных владельцев; и в результате, как заметил один историк, хартии средневековых коммун отличаются таким же разнообразием, как и готическая архитектура их церквей и соборов. Та же руководящая идея во всех, — так как собор символизировал союз прихода и гильдии в вольном городе — и то же бесконечно богатое разнообразие в деталях.

Самым существенным пунктом для освобождавшегося города была собственная юрисдикция, которая влекла за собой и собственную администрацию. Но город не был просто «автономной частью государства» — подобные двусмысленные слова ещё не были изобретены в то время, — он составлял государство само по себе. Он имел право объявлять войну и заключать мир, право заключать федерации и вступать в союзы со своими соседями. Он был самодержавным в своих собственных делах и не вмешивался в чужие. Верховная политическая власть могла находиться всецело в руках демократического веча (форума), как это было, например, в Пскове, где вече посылало и принимало посланников, заключало договоры, призывало и изгоняло князей, или вовсе обходилось без них целые десятки лет; или же высшая политическая власть была передана в руки нескольких знатных купеческих или даже дворянских семей, или же она была захвачена ими, как это бывало в сотнях городов Италии и Средней Европы. Но принцип всегда оставался тот же; город являлся

государством, и — что, пожалуй, ещё более замечательно, — когда власть в городе бывала узурпирована торговой аристократией или даже дворянством, внутренняя жизнь города и демократизм его повседневных отношений терпели от этого мало ущерба: они мало зависели от того, что можно назвать политической формой государства.

Секрет этого кажущегося противоречия заключается в том, что средневековый город не был централизованным государством. В течение первых столетий своего существования, город едва ли можно было назвать государством, поскольку дело шло об его внутреннем строе, так как средние века вообще так же чужды были нашей современной централизации функций, как и нашей территориальной централизации: каждая группа имела тогда свою долю верховной власти.

Обыкновенно город был разделён на четыре квартала или же на пять, шесть или семь «концов» (секторов), расходившихся от центра. При этом, каждый квартал или конец, в общем, представлял известный род торговли и ремесла, преобладавший в нём, хотя в то же время в каждом квартале или конце, могли жить люди, занимавшие различные общественные положения и предававшиеся различным занятиям — дворянство, купцы, ремесленники и даже полукрепостные. Каждый конец, или квартал, представлял, однако, совершенно независимую единицу. В Венеции каждый остров представлял независимую политическую общину, которая имела свою организацию ремесла и торговли, свою торговлю солью (покупаемую для своих граждан), свою собственную юрисдикцию и администрацию и свой собственный форум; поэтому избрание всею Венецией того или другого дожа ничего не изменяло во внутренней независимости каждой из этих единичных общин.[220] В Кёльне, жители разделялись на *Geburschaften* и *Heimschaften* (*viciniae*), т. е., соседские гильдии, образование которых относится к франконскому периоду, и каждая из этих гильдий имела своего судью (*Burrichter*) и обычных двенадцать выборных заседателей (*Schöffen*) своего фогта и своего *greve*, или начальника гильдейской милиции.[221] История древнего Лондона, до завоевания, — говорит Грин — является историей «известного числа маленьких групп, рассеянных на пространстве, окружённом городскими стенами, причём каждая группа сама по себе развивалась, со своими учреждениями, гильдиями, юрисдикцией, церквями и т. д. и только мало-помалу эти группы объединялись в муниципальный союз».[222] А когда мы обращаемся к летописям русских городов, Новгорода и Пскова, которые отличаются, и те и другие, обилием чисто местных подробностей, мы узнаём, что и «концы» в свою очередь состояли из независимых «улиц», из которых каждая, хотя и была преимущественно населена рабочими известного ремесла, тем не менее имела среди своих жителей также и купцов и землевладельцев, и составляла отдельную общину. Улица несла общую ответственность за всех своих членов в случае преступления, она обладала собственной юрисдикцией и администрацией, в лице «уличанских старост», имела собственную печать, (символ государственной власти), и в случае нужды собиралось уличанское вече; у неё была, наконец, своя собственная милиция, выбранные ею священники, и она имела свою собственную коллективную жизнь и свои коллективные предприятия.[223]

Таким образом, средневековый город являлся двойною федерацией; всех домохозяев, объединённых в небольшие территориальные союзы — улицу, приход, конец, — отдельных личностей, объединённых общею клятвою в гильдии, сообразно их профессиям. Первая

федерация была плодом деревенско-общинного происхождения города; вторая же была плодом последующего роста, вызванного новыми условиями.

Главную задачу средневекового города было обеспечение свободы, самоуправления и мира, главной же основой городской жизни, как мы сейчас увидим, когда будем говорить о ремесленных гильдиях, являлся труд. Но «производство» не поглощало всего внимания средневекового экономиста. Своим практическим умом он понимал, что надо гарантировать «потребление», чтобы производство было возможно, а потому обеспечение «всеобщей потребности в пище и помещении, для бедных и для богатых» (*gemeine notduzft nud gemach armer und richer*)[224] было основным началом для каждого города. Скупать пищевые продукты и другие предметы первой необходимости (уголь, дрова и т. п.), прежде чем они попадут на рынок, или скупать их при особенно благоприятных условиях, недоступных для других, — словом, *greetercio*, — совершенно воспрещалось. Всё должно было идти сперва на рынок и там быть предоставлено для покупки всеми, вплоть до того времени, когда звон колокола возвестит о закрытии рынка. Только тогда мог мелочный торговец покупать оставшиеся продукты, но и в этом случае, его прибыль должна была быть «честной прибылью».[225] Кроме того, если хлебник, по закрытии рынка, покупал зерно оптом, то каждый гражданин имел право потребовать для себя известное количество этого зерна (около половины полумеры) по оптовой цене, если он заявил подобное требование до окончательного заключения торга; но равным образом, и каждый хлебопекарь мог предъявить подобное же требование, если горожанин покупал рож для перепродажи. Чтобы смолотить зерно, достаточно было привезти его на городскую мельницу, где оно бывало смолото в свой черёд, по определённой цене; хлеб же можно было печь в *four banal*, т. е. в общинной печи.[226] Одним словом, если город терпел нужду, то от неё терпели, более или менее, всё, но помимо подобных несчастий, пока существовали свободные города, в их стенах никто не мог умереть от голода, как это, к несчастью, чересчур часто случается в наше время.

Впрочем, все эти правила относятся уже к позднейшим периодам жизни городов; так как в начале своей жизни вольные города обыкновенно сами закупали все пищевые продукты для потребления горожан. Документы, недавно опубликованные Чарльзом Гроссом, содержат совершенно определённые данные на этот счёт и подтверждают его вывод, что прибывавшие в город грузы пищевых продуктов «покупались особыми городскими чиновниками, от имени города, и затем распределялись между горожанами — купцами, причём никому не позволялось покупать товары, выгруженные в порту, покуда муниципальные власти не откажутся купить их. Таков — прибавляет Гросс, — был, по-видимому, общераспространённый приём в Англии, в Ирландии, в Уэльсе и в Шотландии».[227] Даже в шестнадцатом столетии мы видим, что в Лондоне производилась общинная покупка зерна, «для удобства и выгоды во всяких видах Города и Палаты Лондона и всех Граждан и Жителей его, насколько это от нас зависит», — как писал мэр в 1565 году.[228] В Венеции, вся торговля зерновым хлебом, как теперь хорошо известно, находилась в руках города; а «кварталы», по получении зернового хлеба из управления, которое заведовало ввозом, должны были разослать по домам всех граждан квартала количество, приходившееся на долю каждого.[229] Во Франции, город Амьен закупал соль и распределял её между всеми гражданами по покупной цене;[230] и даже в настоящее время мы встречаем во многих французских городах *halles*, которые раньше были

муниципальными депо для ссыпки зерна и соли.[231] В России, это также было обычным явлением в Новгороде и Пскове.

Надо сказать, что весь вопрос об общинных покупках для потребления граждан, и о способах, какими совершались эти закупки, до сих пор не получил ещё должного внимания со стороны историков; но там и сям встречаются очень поучительные факты, проливающие новый свет на этот вопрос. Так, среди документов Гросса имеется устав города Килькенни, относящийся к 1367 году, и из этого документа мы узнаём, как устанавливались цены на товары. «Купцы и матросы», — говорит Гросс, — «должны были под присягою показать покупную цену своих товаров и издержки, сделанные на перевозку. Тогда мэр города и два добросовестных назначали цену (named the price), по которой товары должны были продаваться». То же правило соблюдалось и в Торсо для товаров, приходивших «с моря или с суши». Этот способ «назначения цены» так хорошо согласуется именно с теми представлениями о торговле, которые преобладали в средние века, что он должен был быть во всеобщем ходу. Установление цены третьим лицом было очень древним обычаем; и для всякого рода обмена в пределах города, несомненно, прибегали также очень часто к определению цен, не продавцом или покупателем, а третьим лицом, — «добросовестным». Но этот порядок вещей отодвигает нас к ещё более раннему периоду истории торговли, а именно, к тому времени, когда вся торговля главными продуктами велась целым городом, и купцы были лишь комиссионерами, доверенными от города для продажи товаров, которые город вывозил. Так, Ватерфордский устав, тоже опубликованный Гроссом, говорит, что «все товары, какого бы то ни было рода... должны быть покупаемы мэром и судебными приставами (balives), которые назначены общинными покупателями (для города) в данное время, должны быть распределены между всеми свободными гражданами города (за исключением только собственного добра свободных граждан и жителей)». Этот устав едва ли можно истолковывать иначе, как допустивши, что вся внешняя торговля города производилась его доверенными агентами. Кроме того, у нас имеется прямое свидетельство, что именно так было поставлено дело в Новгороде и Пскове. Господин Великий Новгород и Господин Великий Псков сами посылали свои купеческие товары в дальние страны.

Нам известно также, что почти во всех средневековых городах Средней и Западной Европы каждая ремесленная гильдия обыкновенно покупала сообща все сырые продукты для своих братьев, и продавала продукты их работы чрез посредство выборных; и едва ли допустимо, чтобы внешняя торговля не велась тем же порядком, — тем более, что как хорошо известно историкам, вплоть до тринадцатого века, не только все купцы данного города считались в чужой стране ответственными, как корпорация, за долги, сделанные кем-либо из них, но также и весь город был ответственным за долги, сделанные каждым из его граждан — купцов. Только в двенадцатом и тринадцатом веке Рейнские города вошли в специальные договоры, которыми уничтожалась эта круговая порука.[232] И, наконец, мы имеем замечательный Ипсвический документ, напечатанный Гроссом, из которого видно, что торговая гильдия этого города состояла из всех тех, кто числился свободными гражданами города и изъявил согласие платить свой взнос (свою «hanse») в гильдию, причём вся община обсуждала сообща, как лучше поддерживать торговую гильдию и какие дать ей привилегии. Торговая гильдия (the Merchant guibl) Ипсвича является, таким образом, скорее корпорациею доверенных города, чем обыкновенною частною гильдиею.

Одним словом, чем более мы знакомимся с средневековым городом, тем более мы убеждаемся, что он не был простою политической организацией для охраны известных политических свобод. Он представлял попытку организации — в более широком размере, чем это было сделано в деревенской общине, — тесного союза для целей взаимной помощи и поддержки, для потребления и производства, и для общительной жизни вообще, — не налагая для этого на людей оковы государства, но предоставляя наоборот полную свободу для проявления созидательного гения каждой отдельной группы людей, в области искусства, ремесел, науки, торговли и политического строя. Насколько эта попытка была успешна, мы лучше всего увидим, рассмотрев в следующей главе организацию труда в средневековом городе и отношения городов к окружавшему их крестьянскому населению.

Глава VI. Взаимная помощь в средневековом городе (Продолжение)

- Сходства и различия между средневековыми государствами.
- Ремесленные гильдии: атрибуты государства в каждой из них.
- Отношение города к крестьянам; попытки освободить их.
- Феодалы-владельцы.
- Результаты, достигнутые средневековым городом: в области искусств, в области образования.
- Причины упадка.

Средневековые города не были организованы по какому-нибудь заранее намеченному плану, в силу воли какого-нибудь постороннего населению законодателя. Каждый из этих городов был плодом естественного роста в полном смысле этого слова: он был постоянно видоизменяющимся результатом борьбы между различными силами, снова и снова приспособлявшимся друг к другу, соответственно живой силе каждой из них, а также согласно случайностям борьбы и поддержке, которую они находили в окружающей их среде. Вследствие этого, не найдётся двух городов, которых внутренний строй, и исторические судьбы были бы тождественны; и каждый из них, взятый в отдельности, меняет свою физиономию из века в век. Но тем не менее, если окинуть широким взглядом все города Европы, то местные и национальные различия отходят вдаль, и мы поражаемся существующим между всеми ими удивительным сходством, хотя каждый из них развивался сам по себе, независимо от других и в иных условиях. Какой-нибудь маленький городок на севере Шотландии, населенный бедными рабочими и рыбаками; или же богатый город Фландрии, с его мировую торговлю, роскошью, любовью к удовольствиям и одушевленную жизнью; итальянский город, разбогатевший от сношений с Востоком и вырабатывающий в своих стенах утончённый художественный вкус и утончённую цивилизацию; и, наконец, бедный, главным образом, занимавшийся земледелием, город в болотно-озёрной области России, — по-видимому, мало имеют общего между собою. А между тем, руководящие черты их организации и дух, которым они проникнуты, поражают своим семейным сходством. Везде мы находим те же самые федерации маленьких общин, или приходов, и гильдий; те же самые «пригороды» вокруг города-матери; то же самое вече; те же внешние эмблемы независимости. Защитник (*defensor*) города, под различными наименованиями и в различных одеяниях, представляет одну и ту же власть, защищая одни и те же интересы; заготовка пищевых запасов, труд, торговля — организованы в тех же самых общих чертах; внутренние и внешние столкновения ведутся из тех же побуждений; мало того, самые лозунги,

выдвинутые во время этих столкновений и даже формулы, употребляемые в городских летописях, уставах, документах, оказываются те же; и архитектурные памятники, будут ли они по стилю готическими, римскими или византийскими, выражают те же самые стремления и те же идеалы; они задуманы были и строились тем же путём. Многие несходства оказываются просто различиями в возрасте двух городов, а те несходства между парами городов, которые имели реальный характер, повторяются в различных частях Европы. Единство руководящей идеи и одинаковые причины зарождения сглаживают различия, являющиеся результатом климата, географического положения, богатства, языка и религии. Вот почему мы можем говорить о средневековом городе вообще, как о вполне определенной фазе цивилизации: и хотя в высшей степени желательны исследования, указывающие на местные и индивидуальные особенности городов, мы все же не можем указать главные черты развития, которые были общи всем им.[233]

Нет никакого сомнения, что защита, которая обыкновенно и повсеместно оказывалась торжищу, ещё со времён ранней варварской эпохи, играла важную, хотя и не исключительную роль в деле освобождения средневековых городов. Варвары раннего периода не знали торговли внутри своих деревенских общин; они торговали лишь с чужестранцами, в известных определённых местах и в известные, заранее определенные дни. И чтобы чужестранец мог являться на место обмена, не рискуя быть убитым в какой-нибудь войне, ведущейся двумя родами из-за кровавой мести, торжище всегда ставилось под особое покровительство всех родов. Оно было также неприкосновенно, как и место религиозного поклонения, под сенью которого оно обыкновенно устраивалось. У кабиллов рынок до сих пор *анпау*, подобно тропинке, по которой женщины носят воду из колодцев; ни на рынок, ни на тропинку нельзя появляться вооружённым, даже во время междуплеменных войн. В средневековые времена рынок обыкновенно пользовался точно такою же защитой.[234] Родовая месть никогда не должна была преследоваться на площади, где собирался народ для торговых целей, а, равным образом, в известном радиусе вокруг этой площади; и если в разношёрстной толпе продавцов и покупателей возникала какая-нибудь ссора, её следовало предоставить на разбор тем, под покровительством которых находился рынок, т. е. суду общины, или же судье епископа, феодального владельца, или короля. Чужеземец, являвшийся с торговыми целями, был гостем, и даже носил это имя. Даже феодальный барон, который, не задумываясь, грабил купцов на большой дороге, относился с уважением к *Weichbild*, т. е. к шесту, который стоял на рыночной площади и на верхушке которого находился либо королевский герб, либо перчатка, либо образ местного святого, или просто крест, смотря по тому находился ли рынок под покровительством короля, местной церкви или веча.[235]

Легко понять, каким образом собственная юрисдикция города могла развиваться из специальной юрисдикции рынка, когда таковая была уступлена, добровольно или нет, самому городу. И подобное происхождение городских вольностей, которое можно проследить в очень многих случаях, неизбежно наложило свой отпечаток на их дальнейшее развитие. Оно дало преобладание торговой части общины. Горожане, владевшие в данное время домом в городе и бывшие совладельцами городских земель, очень часто организовывали тогда торговую гильдию, которая и держала в своих руках торговлю города; и хотя, вначале, каждый гражданин, бедный или богатый, мог вступить в торговую гильдию, и даже самая торговля велась по-видимому в интересах всего города, его

доверенными, тем не менее торговая гильдия постепенно превратилась в своего рода привилегированную корпорацию. Она ревниво не допускала в свои ряды пришлое население, которое вскоре начало стекаться в свободные города, и все выгоды, получавшиеся от торговли, она удерживала в пользу немногих «семей» («les familles», «старожилы»), которые были гражданами во время провозглашения городом своей независимости. Таким образом, очевидно грозила опасность возникновения торговой олигархии. Но уже в десятом веке, а ещё более того в одиннадцатом и двенадцатом столетиях, главные ремёсла также организовались в гильдии, которые и могли, в большинстве случаев, ограничить олигархические тенденции купцов.

Ремесленная гильдия, в те времена, обыкновенно сама продавала произведённые её членами товары и сообща покупала для них сырые материалы, причём её членами одновременно состояли, как купцы, так и ремесленники. Вследствие этого, преобладание, полученное старыми ремесленными гильдиями, с самого начала вольной жизни городов, дало ремесленному труду то высокое положение, которое он занимал впоследствии в городе.[236] Действительно, в средневековом городе ремесленный труд не являлся признаком низшего общественного положения; напротив, он носил следы того высокого уважения, с каким к нему относились раньше в деревенской общине. Ручной труд рассматривался в средневековых «мистериях» (артелях, гильдиях), как благочестивый долг по отношению к согражданам, как общественная функция (Amt), столь же почётная, как и всякая другая. Идея «справедливости» по отношению к общине и «правды» по отношению к производителю и к потребителю, которая показалась бы такой странной в наше время, тогда проникала весь процесс производства и обмена. Работа кожевника, медника, сапожника должна быть «правдивая», добросовестная, писали тогда. Дерево, кожа, или нитки, употребляемые ремесленниками, должны быть «честными»; хлеб должен быть выпечен «по совести» и т. д. Перенесите этот язык в нашу современную жизнь, и он покажется аффектированным, неестественным; но он был совершенно естественным и лишённым всякой аффектации в то время, так как средневековый ремесленник производил не на неизвестного ему покупателя, он не выбрасывал своих товаров на неведомый ему рынок: он, прежде всего, производил для своей собственной гильдии; для братства людей, в котором все знали друг друга, в котором были знакомы с техникой ремесла и, назначая цену продукту, каждый мог оценить искусство, вложенное в производство данного предмета и затраченный на него труд. Кроме того, не отдельный производитель предлагал общине товары для покупки, — их предлагала гильдия, а община, в свою очередь, предлагала братству объединённых общин те товары, которые вывозились ею и за качество которых она отвечала перед ними. При такой организации, для каждого ремесла являлось делом самолюбия не предлагать товаров низкого качества, а технические недостатки или подделки затрагивали всю общину, так как, по словам одного устава, «они разрушают общественное доверие».[237] Производство, таким образом, являлось общественной обязанностью и было постановлено под контроль всей amitas, всего содружества, вследствие чего ручной труд, покуда существовали вольные города, не мог опуститься до того низменного положения, до которого он дошёл теперь.

Различие между мастером и учеником, или между мастером и подмастерьем (compaune, Geselle) существовало уже с самых времён основания средневековых вольных городов; но вначале это различие было лишь различие в возрасте и степени искусства, а не во власти и

богатстве. Пробыв семь лет учеником и доказав своё знание и способности в данном ремесле специально выполненною работою, ученик сам становился мастером. И только гораздо позднее, в шестнадцатом веке, когда королевская власть уже разрушала городскую и ремесленную организацию, сделалось возможным стать мастером просто по наследству или в силу богатства. Но это была уже пора всеобщего упадка средневековой промышленности и искусства.

В ранний, цветущий период средневековых городов, в них не было много места для наёмного труда, и для индивидуальных наёмщиков. Работа ткачей, оружейников, кузнецов, хлебопёков и т. д. производилась для гильдии и для города: а когда в строительных ремёслах нанимались ремесленники со стороны, они работали, как временные корпорации (как это и в настоящее время наблюдается в русских артелях), труд которых оплачивался всей артели целиком. Работа на отдельного хозяина стала распространяться позднее; но и в этих случаях работник оплачивался лучше, чем он оплачивается, даже в Англии, теперь, и гораздо лучше, чем он оплачивался обыкновенно во всей Европе в первой половине девятнадцатого столетия. Торольд Роджерс в достаточной степени ознакомил английских читателей с этим фактом; но то же самое следует сказать и о континентальной Европе, как это доказывается исследованиями Фальке и Шёнберга, а также многими случайными указаниями. Даже в пятнадцатом столетии каменщик, плотник или кузнец получал в Амьене подённую плату в размере четырёх sols, соответствовавших 48-ми фунтам хлеба или 1/8 части маленького быка (bouvard). В Саксонии, плата Geselle в строительном ремесле была такова, что, выражаясь словами Фальке, рабочий мог купить на свой шестидневный заработок три овцы и пару сапог.[238] Приношения рабочих (Geselle) в различных соборах также являются свидетельством их сравнительной зажиточности, не говоря уже о роскошных приношениях некоторых ремесленных гильдий и об их расходах на празднества и пышные процессии.[239] Действительно, чем более мы изучаем средневековые города, тем более мы убеждаемся, что никогда труд не оплачивался так хорошо и не пользовался общим уважением, как в то время, когда жизнь вольных городов стояла на своей высшей точке развития.

Мало того. Не только многие стремления наших современных радикалов были уже осуществлены в средние века, но даже многое из того, что теперь считается утопическим, принималось тогда, как нечто вполне натуральное. Над нами смеются, когда мы говорим, что работа должна быть приятна; но по словам средневекового Куттенбергского устава, «каждый должен находить удовольствие в своей работе и никто не должен, проводя время в безделии (mit nichts thun), присваивать для себя то, что произведено прилежанием и работой других, ибо законы должны быть щитом для ограждения прилежания и труда».[240] И среди всех современных разговоров о восьмичасовом рабочем дне, не мешало бы вспомнить об уставе Фердинанда 1-го, относящемся к императорским каменноугольным копьям; согласно этому уставу рабочий день рудокопа полагался в восемь часов, «как это ведётся исстари (wie vor Alters herkommen), а работа после полудня субботы была совершенно запрещена. Более продолжительный рабочий день был очень редок, говорит Янссен, тогда как более краткий случался довольно часто. По словам Роджерса, в Англии, в пятнадцатом веке, «рабочие работали лишь 48 часов в неделю».[241] Субботний полупраздник, который мы считаем современной победою, был в сущности древним средневековым учреждением; это был банный день для значительной части членов общины,

а послеобеденное время по средам было банным временем для Geselle.[242] И хотя в то время ещё не существовало школьных завтраков — вероятно потому, что детей не посылали в школу голодными, — выдача денег на баню детям, если этот расход был затруднителен для их родителей, представляло обычное явление в разных городах. Что же касается рабочих конгрессов, то и они также были обычным явлением в средние века. В некоторых частях Германии ремесленники одного и того же ремесла, но принадлежавшие к различным общинам, обыкновенно собирались ежегодно для обсуждения вопросов, относящихся к их ремеслу, для определения сроков ученичества, условий путешествия по своей стране, считавшегося тогда обязательным для всякого рабочего, заработной платы и т. д. В 1572 году города, принадлежавшие к Ганзейскому союзу, формально признали за ремесленниками право собираться периодически на конгрессы, и принимать всякого рода резолюции, поскольку последние не будут противоречить городским уставам, определявшим качество товаров. Известно, что такие рабочие конгрессы, отчасти международные (как и сама Ганза), были созваны хлебопёками, литейщиками, кожевниками, кузнецами, шпажниками и бочарами.[243]

Организация гильдии требовала, конечно, тщательного надзора над ремесленниками со стороны гильдии и для этой цели всегда назначались специальные присяжные. Замечательно, однако, то обстоятельство, что пока города жили свободной жизнью, не слышно было жалоб на этот надзор; между тем, как, когда в дело вмешалось государство, и конфисковало собственность гильдии и разрушило их независимость в пользу собственной бюрократии, жалобы становятся просто бесчисленными.[244] С другой стороны, огромный прогресс в области всех искусств, достигнутый при средневековой гильдейской системе, является наилучшим доказательством того, что система эта не была препятствием для развития личной инициативы.[245] Дело в том, что средневековая гильдия, подобно средневековому приходу, «улице» или «концу» не была корпорацией граждан, поставленных под контроль государственных чиновников; она была союзом всех людей, объединённых данным производством, и в состав её входили: присяжные закупщики сырых продуктов, продавцы произведённых товаров и ремесленники — мастера, подмастерья («Comraunes») и ученики. Для внутренней организации данного производства собрание этих лиц обладало верховными правами, пока оно не затрагивало других гильдий, — в каком случае дело переносилось на рассмотрение гильдии гильдий, — т. е. города. Но, помимо указанных сейчас функций, гильдия представляла ещё и нечто другое. Она имела собственную юрисдикцию, собственную военную силу; имела собственные общие собрания, или вече, собственные традиции борьбы, славы и независимости и собственные сношения с другими гильдиями того же ремесла или занятия в других городах. Одним словом она жила полной органической жизнью, которая происходила оттого, что она обхватывала полностью все жизненные функции. Когда город призывался к оружию, гильдия выступала как отдельный отряд (Schaar), вооруженная принадлежавшим ей оружием, (а в более позднюю эпоху — с собственными пушками, с любовью изукрашенными гильдией), под начальством, ею же избранных, начальников. Одним словом, гильдия была такая же независимая единица федерации, какой была республика Ури или Женевы пятьдесят лет тому назад в Швейцарской конфедерации. Ввиду этого, сравнивать гильдии с современными тред-юнионами, или профессиональными союзами, лишёнными всех атрибутов государственной верховной власти и сведёнными к выполнению двух-трёх второстепенных функций, — столь же неразумно, как сравнивать Флоренцию или Брюгге с какой-нибудь французской

деревенской общиной, влачащей жалкое существование под гнётом наполеоновского кодекса, или же с русским городом, управляющимся по городскому уложению Екатерины II-ой. И те, и другие имеют своего выборного голову, а последний имеет даже и ремесленные цехи; но разница между ними — вся та разница, какая существует между Флоренцией, с одной стороны, и какой-нибудь деревушкой у синие Ключи во Франции или Царевококшайском с другой; или же между Венецианским дожем и современным деревенским мэром, снимающим шапку пред писцом господина субпрефекта.

Средневековые гильдии были в состоянии отстаивать свою независимость; а когда, позднее, особенно в четырнадцатом веке, вследствие некоторых причин, на которые мы сейчас укажем, старая городская жизнь начала претерпевать глубокие изменения, тогда более молодые ремёсла оказались достаточно сильными, чтобы завоевать себе, в свою очередь, должную долю в управлении городскими делами. Массы, организованные в «младшие» гильдии, восстали, чтобы вырвать власть из рук растущей олигархии, и в большинстве случаев они добились успеха, — и тогда они открывали новую эру расцвета вольных городов. Правда, в некоторых городах восстание младших гильдий было потушено в крови, и тогда рабочим беспощадно рубили головы, как это было в 1306 году в Париже и в 1371 году в Кёльне. В таких, случаях городские вольности, после такого поражения, быстро приходили в упадок, и город подпадал под иго центральной власти. Но в большинстве городов было достаточно жизненных сил, чтобы выйти из борьбы обновлёнными и с запасом свежей энергии.[246] Новый период юношеского обновления был тогда их наградой. В города вливалась волна новой жизни, которая и находила себе выражение в великолепных новых архитектурных памятниках, в новом периоде преуспевания, во внезапном прогрессе техники и изобретений и в новом интеллектуальном движении, которое вскоре и повело к эпохе Возрождения и Реформации.

Жизнь средневекового города являлась целым рядом тяжёлых битв, которые пришлось вести горожанам, чтобы добыть себе свободу и удержать её. Правда, во время этой суровой борьбы развилась крепкая и стойкая раса бюргеров; правда, что эта борьба воспитала любовь и обожание родного города, и что великие деяния, совершённые средневековыми общинами, вдохновлялись именно этой любовью. Но жертвы, которые пришлось понести общинам в борьбе за свободу, были, тем не менее, очень тяжелы, и выдержанная общинами борьба внесла глубокие источники раздоров в самую их внутреннюю жизнь. Очень немногие города успели, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, добиться свободы сразу, причём они, в большинстве случаев, так же легко и потеряли её. Громадному же большинству городов пришлось бороться по пятидесяти и по сто лет, а иногда и более, чтобы добиться первого признания своих прав на свободную жизнь, и ещё другую сотню лет, пока им удалось поставить свою свободу на прочном основании: хартии двенадцатого века были только первыми ступенями к свободе.[247] В действительности средневековый город оставался укреплённым оазисом среди страны, погруженной в феодальное подчинение, и ему приходилось силою оружия утвердить своё право на жизнь.

Вследствие причин, вкратце указанных в предыдущей главе, каждая деревенская община постепенно подпадала под иго какого-нибудь светского или духовного властелина. Дом такого властелина мало-помалу обращался в замок, а его собратьями по оружию становились теперь наихудшего сорта авантюристы, всегда готовые грабить крестьян.

Помимо барщины, т. е. трёх дней в неделю, которые крестьяне должны были работать на господина, с них взыскивали теперь всякого рода поборы за всё: за право сеять и жать, за право грустить или веселиться, за право жить, жениться, и умирать. Но хуже всего было то, что их постоянно грабили вооруженные люди, принадлежащие к дружинам соседних феодалов, которые смотрели на крестьян, как на домочадцев их господина, а потому, если у них вспыхивала родовая война из-за кровавой мести с их владельцем — вымещали всё на крестьян, на их скоте и их посевах. А между тем, все луга, все поля, все реки и дороги — всё вокруг города и каждый человек, сидевший на земле, были под властью какого-нибудь феодального владельца.

Ненависть бюргеров к феодальным баронам нашла себе очень меткое выражение в редакции некоторых хартий, которые они заставили своих баронов подписать. Генрих V, например, должен был подписать в хартии, данной городу Шпейеру в 1111 году, что он освобождает бюргеров от «отвратительного и негодного закона о выморочном владении, которым город был доведён до глубочайшей нищеты» — *Von dem scheusslichen und nichtswürdigen Gesetze, welches gemein Budel genannt wird...* (Kallsen, т. 1, 307). В coutume города Байонны имеются такие строки: «народ древнее господ. Народ, численностью своей превосходящий другие сословия, желая мира, создал господ для обуздания и усмирения могущественных», и т. д. (Giry, *Etablissements de Rouen*», т. I, 117, цит. у Luchaire, стр. 24). Хартия, предложенная для подписания королю Роберту, не менее характерна. Его заставили сказать в ней: «Я не буду грабить ни быков, ни других животных. Я не буду захватывать купцов, отнимать у них деньги или налагать на них выкуп. От Благовещения до дня Всех Святых я не буду захватывать на лугах ни лошадей, ни кобыл, ни жеребят. Я не буду сжигать мельниц, и не буду грабить муку... Я не буду оказывать покровительства ворам», и т. д. (Pfister напечатал этот документ, воспроизведённый также у Luchaire). Хартия, «дарованная» Безансонским архиепископом Hugues, в которой он должен был перечислить все бедствия, причинённые его правами на крепостное владение, не менее характерна.[248] Много можно было бы привести таких примеров.

Удержать свою свободу среди такого, окружавшего их, своеволия феодальных баронов, было бы невозможно, а потому вольные города были вынуждены начать войну вне своих стен. Горожане стали посылать своих эмиссаров, чтобы поднимать деревни и руководить их восстанием; они принимали деревни в состав своих корпораций; и, на конец, они начали прямую войну против дворянства. В Италии, где деревни были густо усеяны феодальными замками, война приняла героические размеры и велась обеими сторонами с суровым ожесточением. Флоренции пришлось целые семьдесят семь лет вести кровавые войны, чтобы освободить свой contado от дворян; но когда борьба была победоносно закончена (в 1181 году), всё пришлось начинать сызнова. Дворянство собралось с силами и образовало свои собственные лиги, в противовес лигам городов и, получая свежую поддержку, то от императора, то от папы, затянуло войну ещё на 130 лет. То же самое произошло в Риме, в Ломбардии, — по всей Италии.

Чудеса храбрости, смелости и настойчивости были совершены горожанами во время этих войн. Но луки и боевые топоры городских ремесленников не всегда брали верх над одетыми в латы рыцарями, и многие замки успешно выдержали осаду, несмотря на замысловатые осадные машины и настойчивость осаждавших горожан. Некоторые города, — как напр.,

Флоренция, Болонья и многие другие во Франции, Германии и Богемии, — успели освободить окружающие их деревни, и замечательное благосостояние и спокойствие были им наградой за их усилия. Но даже в этих городах, а тем более в городах менее могучих, или менее импульсивных, купцы и ремесленники, истощённые войной и ложно понимая свои собственные выгоды, заключили с баронами мир, так сказать, продавши им крестьян. Они заставляли барона принять присягу на верность городу; его замок сносился до основания, и он давал согласие выстроить дом и жить в городе, где он становился теперь согражданином (*corn-bourgeois; con-cittadino*); но взамен, он сохранял большинство своих прав над крестьянами, которые, таким образом, получали лишь частичное облегчение от лежавшего на них крепостного бремени. Горожане не поняли, что им следовало дать равные права гражданства крестьянину, на которого им приходилось полагаться в деле снабжения города пищевыми продуктами; и вследствие этого непонимания, между городом и деревней образовалась с тех пор глубокая пропасть. В некоторых случаях, крестьяне только переменяли владельцев, так как город выкупал права барона и продавал их по частям своим собственным гражданам.[249] Крепостная зависимость оставалась, таким образом, и только гораздо позднее, к концу тринадцатого века, революция младших ремесел положила ей конец; но, уничтоживши личную крепостную зависимость, она в то же время отнимала у крестьян землю.[250] Едва ли нужно прибавлять, что города вскоре почувствовали на себе роковые последствия такой близорукой политики: деревня стала врагом города.

Война против замков имела ещё одно вредное последствие. Она втянула города в продолжительные войны между собою — что и дало возможность сложиться у историков теории, бывшей в ходу до недавнего времени, согласно которой города потеряли свою независимость вследствие взаимной зависти и борьбы друг с другом. Особенно поддерживали эту теорию историки-империалисты, но она сильно поколеблена новейшими исследованиями. Несомненно, что в Италии города воевали друг с другом с упорным ожесточением; но нигде, кроме Италии, междоусобия городов не принимали таких размеров; да и в самой Италии городские войны, в особенности в раннем периоде, имели свои специальные причины. Они были (как это уже показали Сисмонди и Феррари) продолжением войны против замков — неизбежным продолжением борьбы свободного муниципального и федеративного принципа против феодализма, империализма и папства. Многие города, освободившиеся только отчасти из-под власти епископа, феодального владельца, или императора, были силою втянуты в борьбу против свободных городов дворянами, императором и церковью, политика которых сводилась к тому, чтобы не давать городам объединиться, и вооружить их друг против друга. Эти особливые условия (отчасти отразившиеся и на Германии) объясняют, почему итальянские города, из которых одни искали поддержки у императора для борьбы с папой, а другие — у церкви для борьбы с императором, вскоре разделились на два лагеря, Гибеллинов и Гвельфов, и почему то же разделение проявилось и внутри каждого города.[251]

Огромный экономический прогресс, достигнутый большинством итальянских городов, как раз в то время, когда эти войны были в самом разгаре,[252] и легкость, с которою заключались союзы между городами, дают ещё более верное понятие о борьбе городов и ещё более подрывают вышеупомянутую теорию. Уже в 1130–1150 годах начали слагаться могущественные городские лиги; и немного лет спустя, когда Фридрих Барбаросса напал на Италию и, поддерживаемый дворянством и несколькими отсталыми городами, пошёл на

Милан, народный энтузиазм с силою пробудился во многих городах под влиянием народных проповедников. Кремона, Пиаченца, Брешиа, Тортон и др. пришли на выручку; знамена гильдий Вероны, Падуи, Виченцы и Тревизы развевались вместе в лагере городов, против знамен императора и дворянства. В следующем году образовалась Ломбардская лига, а лет через шестьдесят мы уже видим, что эта лига усилилась союзами со многими другими городами и представляет прочную организацию, хранящую половину своей военной казны в Генуе, а другую половину — в Венеции.[253] В Тоскане, Флоренция стояла во главе другой могущественной лиги, к которой принадлежали Лукка, Болонья, Пистойя и др. города, и которая играла важную роль в поражении дворянства в средней Италии; более же мелкие лиги были в то время самым обычным явлением. Таким образом, несомненно, что хотя и существовало соперничество между городами, и нетрудно было посеять раздоры между ними, но это соперничество не мешало городам объединяться для общей защиты своей свободы. Только позднее, когда города стали каждый маленьким государством, между ними начались войны, как это всегда бывает, когда государства начинают бороться между собою за верховное преобладание или из-за колоний.

Подобные же лиги сформировались с подобною же целью в Германии. Когда, при наследниках Конрада, страна стала ареною нескончаемых родовых войн из-за кровавой мести между баронами, города Вестфалии образовали лигу против рыцарей, причём одним из пунктов договора было обязательство, никогда не давать займы денег рыцарю, который продолжал бы укрывать краденые товары.[254] В то время, как «рыцари и дворянство жили грабежом и убивали, кого хотели», как говорится в Вормской Жалобе (Wormser Zorn), рейнские города (Майнц, Кёльн, Шпейер, Страсбург и Базель) взяли на себя инициативу образования лиги, для преследования грабителей и поддержания мира, которая вскоре насчитывала шестьдесят вошедших в союз городов. Позднее, лига Швабских городов, разделённых на три «мирных округа» (Аугсбург, Констанц, и Ульм) преследовала ту же цель. И хотя эти лиги были сломлены,[255] они продержались довольно долго, чтобы показать, что в то время, как предполагаемые миротворцы — короли, императоры и церковь — возбуждали раздоры и сами были беспомощны против разбойничавших рыцарей, толчок к восстановлению мира и к объединению исходил из городов. Города, — а не императоры, — были действительными созидателями национального единства.[256]

Подобные же федерации, с однородными целями, организовывались и между деревнями, и теперь, когда Luchaire обратил внимание на это явление, можно надеяться, что мы вскоре узнаем больше подробностей об этих федерациях. Нам известно, что деревни объединялись в небольшие федерации в contado Флоренции; также в подчинённых Новгороду и Пскову областях. Что же касается Франции, то имеется положительное свидетельство о федерации семнадцати крестьянских деревень, просуществовавшей в Ланнэ (Laonnais) в течение почти ста лет (до 1256 г.) и упорно боровшейся за свою независимость. Кроме того, в окрестностях города Laon существовали три крестьянские республики, имевшие присяжные хартии, по образцу хартий Ланнэ и Суассона, — причём, так как их территории были смежными, они поддерживали друг друга в своих освободительных войнах. Вообще, Luchaire полагает, что многие подобные федерации возникли во Франции в двенадцатом и тринадцатом веке, но в большинстве случаев документальные известия о них утеряны. Конечно, незащищенные, как города, стенами, деревенские федерации легко разрушались королями и баронами; но при некоторых благоприятных обстоятельствах, когда они находили поддержку в городских

лигах, или защиту в своих горах, подобные крестьянские республики становились независимыми единицами Швейцарской Конфедерации.[257]

Что же касается до союзов, заключавшихся городами ради разных мирных целей, то они были самым обычным явлением. Сношения, установившиеся в период освобождения, когда города списывали друг у друга хартии, не прерывались впоследствии. Иногда, когда судьи какого-нибудь германского города должны были вынести приговор в совершенно новом для них и сложном деле, и объявляли, что не могут подыскать решения (*des Urtheiles nicht weise zu sein*), они посылали делегатов в другой город с целью подыскать подходящее решение. То же самое случалось и во Франции.[258] Мы знаем также, что Форли и Равенна взаимно натурализовали своих граждан и дали им полные права в обоих городах.

Отдавать спор, возникший между двумя городами, или внутри города, на решение другой общины, которую приглашали действовать в качестве посредника, было также в духе времени.[259] Что же касается до торговых договоров между городами, то они были самым обычным делом.[260] Союзы для регулирования производства и объёма бочек, употреблявшихся в торговле вином, «селёдочные союзы» и т. д. были предшественниками большой торговой федерации Фламандской Ганзы, а позднее — великой Северо-Германской Ганзы. История же этих двух обширных союзов позволила мне наполнить ещё многие страницы примерами федеративного духа, которым были проникнуты люди того времени. Едва ли нужно прибавлять что, благодаря Ганзейским союзам, средневековые города сделали больше для развития международных сношений, мореплавания и морских открытий, чем все государства первых семнадцати веков нашей эры.

Короче говоря, федерации между маленькими земскими единицами, а равно и между людьми, объединёнными общими целями в соответственные гильдии, а также федерации между городами и группами городов — составляли самую сущность жизни и мысли в течение всего этого периода. Первые пять веков второй декады нашей эры (XI-й по XVI-й) могут, таким образом, быть рассматриваемы, как колоссальная попытка обеспечить взаимную помощь и взаимную поддержку в крупных размерах, при помощи принципов федерации и ассоциации, проводимых чрез все проявления человеческой жизни и во всевозможных степенях. Эта попытка в значительной мере увенчалась успехом. Она объединяла людей, раньше того разъединённых, она обеспечила им значительную свободу и удесятерила их силы. В ту пору, когда множество всяких влияний воспитывали в людях партикуляризм, и было такое обилие причин для раздоров, отрадно видеть и отметить, что у городов, рассеянных по обширному континенту, оказалось так много общего и что они с такою готовностью объединялись для преследования столь многих общих целей. Правда, что в конце концов, они не устояли пред мощными врагами. Не проявивши достаточно широкого понимания принципа взаимной помощи, они сами наделали роковых ошибок. Но погибли они не от вражды друг к другу, и их ошибки не были следствием недостаточного развития среди них федеративного духа.

Результаты нового направления, принятого человеческою жизнью в средневековом городе, были колоссальны. В начале одиннадцатого века города Европы представляли ещё маленькие кучи жалких хижин, ютившихся вокруг низеньких, неуклюжих церквей, строители которых едва умели вывести арку; ремёсла, сводившиеся, главным образом, к

ткачеству и ковке, были в зачаточном состоянии; наука находила себе убежище лишь в немногих монастырях. Но триста пятьдесят лет позже самый вид Европы совершенно изменился. Страна была усеяна богатыми городами, и эти города были окружены широко раскинувшимися, толстыми стенами и, которые были украшены вычурными башнями и воротами, представлявшими, каждая из них, произведения искусства. Соборы, задуманные в грандиозном стиле и покрытые бесчисленными декоративными украшениями, поднимали к облакам свои высокие колокольни, причём в их архитектуре проявлялась такая чистота формы и такая смелость воображения, каких мы тщетно стремимся достигнуть в настоящее время. Ремесла и искусства поднялись до такого совершенства, что даже теперь мы едва ли можем похвалиться тем, что мы во многом превзошли их, если только изобретательный талант работника и высокую законченность его работы ставить выше быстроты фабрикации. Суда свободных городов бороздили во всех направлениях северное и южное Средиземное море; ещё одно усилие и они пересекут океан. На обширных пространствах благосостояние заступило место прежней нищеты; выросло и распространилось образование. Выработался научный метод исследований, и положено было основание механики и физических наук; мало того, — подготовлены были все те механические изобретения, которыми так гордится девятнадцатый век! Таковы были волшебные перемены совершавшиеся в Европе, менее чем в четыреста лет. И те потери, которые понесла Европа, когда пали её свободные города, можно оценить лишь тогда, когда мы сравниваем семнадцатый век с четырнадцатым, или даже тринадцатым. Благосостояние, которым отличались Шотландия, Германия, равнины Италии, — исчезло. Дороги пришли в упадок, города опустели, свободный труд превратился в рабство, искусства заглохли, даже торговля пришла в упадок.[261]

Если бы после средневековых городов не осталось никаких письменных памятников, по которым можно было бы судить о блеске их жизни, если бы после них остались одни только памятники их архитектурного искусства, которые мы находим рассеянными по всей Европе, от Шотландии до Италии и от Героны в Испании до Бреславля на славянской территории, то и тогда мы могли бы сказать, что эпоха независимых городов была временем величайшего расцвета человеческого ума в течение всей христианской эры, вплоть до конца восемнадцатого века. Глядя, например, на средневековую картину, изображающую Нюрнберг, с его десятками башен и высоких колоколен, носящих на себе, каждая из них, печать свободного творческого искусства, мы едва можем себе представить, чтобы всего за триста лет до этого, Нюрнберг был только кучею жалких хижин. И наше удивление растёт, по мере того, как мы вглядываемся в детали архитектуры и украшений каждой из бесчисленных церквей, колоколен, городских ворот и ратушей, рассеянных по всей Европе, доходя на восток до Богемии и до мёртвых теперь городов Польской Галиции. Не только Италия, — эта мать искусства, — но вся Европа переполнена подобными памятниками. Чрезвычайно знаменателен, впрочем, уже тот факт, что из всех искусств архитектура — искусство по преимуществу общественное, — достигла в эту эпоху наивысшего развития. И, действительно, такое развитие архитектуры было возможно только, как результат высокообразованной общественности в тогдашней жизни.

Средневековая архитектура достигла такого величия не только потому, что она являлась естественным развитием художественного ремесла; не только потому, что каждое здание и каждое архитектурное украшение были задуманы людьми, знавшими по опыту своих

собственных рук, какие артистические эффекты могут дать камень, железо, бронза, или даже просто бревна и известка с галькою; не только потому, что каждый памятник был результатом коллективного опыта, накопленного в каждом художестве или ремесле,[262] — средневековая архитектура была велика потому, что она являлась выражением великой идеи. Подобно греческому искусству, она возникла из представления о братстве и единстве, воспитываемых городом. Она обладала смелостью, которая могла быть приобретена лишь смелою борьбою и победами; она дышала энергиею, потому что энергией была проникнута вся жизнь города. Собор или городская ратуша символизировали организм, в котором каждый каменщик и каменотёс являлись строителями, и средневековое здание представляет собою не замысел отдельной личности, над выполнением которого трудились тысячи рабов, исполняя урочную работу по чужой идее; весь город принимал участие в его постройке. Высокая колокольня была часть величавого здания, в котором билась жизнь города, она не была посажена на не имеющую смысла платформу, как парижское сооружение Эйфеля; она не была фальшивою каменною постройкою, возведённою с целью скрыть безобразие основной железной структуры, как это сделано было на Тоуэрском мосту, в Лондоне. Подобно афинскому Акрополю, собор средневекового города имел целью прославление величия победоносного города; он символизировал союз ремесел; он был выражением чувства каждого гражданина, который гордился своим городом, так как он был его собственное создание. Случалось, что совершив успешно свою вторую революцию младших ремесел, город начинал строить новый собор, с целью выразить новое, глубже идущее и более широкое единение, проявившееся в его жизни.

Наличные средства, с которыми города начинали эти великие постройки, бывали, большею частью, несоразмерно малы. Кёльнский собор, например, был начат при ежегодной издержке всего в 500 марок; дар в 100 марок был записан как крупное приношение;[263] даже когда работа подходила к концу, ежегодный расход едва доходил до 5.000 марок и никогда не превышал 14.000. Собор в Базеле был построен на такие же незначительные средства. Но зато каждая корпорация жертвовала для их общего памятника свою долю камня, работы и декоративного гения. Каждая гильдия выражала в этом памятнике свои политически взгляды, рассказывая в камне или бронзе историю города, прославляя принципы «Свободы, Равенства и Братства», [264] восхваляя союзников города и посылая в вечный огонь его врагов. И каждая гильдия выказывала свою любовь к общему памятнику, богато украшая его цветными окнами, живописью, «церковными вратами, достойными быть вратами рая», — по выражению Микель Анджело, — или же каменными украшениями на каждом малейшем уголке постройки.[265] Маленькие города и даже самые маленькие приходы [266] соперничали в этого рода работах с большими городами, и соборы в Laon или в Saint-Ouen едва ли уступают Реймскому собору, Бременской ратуше или Бреславльской вечевой колокольне. «Ни одна работа не должна быть начата коммуной, если она не была задумана в соответствии с великим сердцем коммуны, слагающемся из сердец всех её граждан, объединённых одной общей волей», — таковы были слова городского Совета во Флоренции; и этот дух проявляется во всех общинных работах, имеющих общепольное назначение, как, например, в каналах, террасах, виноградниках и фруктовых садах вокруг Флоренции, или в оросительных каналах, пробегавших по равнинам Ломбардии, в порту и водопроводе Генуи и, в сущности, во всех общественных постройках, предпринимавшихся почти в каждом городе.[267]

Все искусства сделали подобные же успехи в средневековых городах, и наши теперешние приобретения в этой области в большинстве случаев являются лишь продолжением того, что выросло в то время. Благосостояние фламандских городов основывалось на выделке тонких шерстяных тканей. Флоренция в начале четырнадцатого века, до эпидемии «черной смерти» (чумы) выдывала от 70.000 до 100.000 кусков шерстяных изделий, оценивавшихся в 1.200.000 золотых флоринов.[268] Чеканка драгоценных металлов, искусство отливки, художественнаяковка железа — были созданием средневековых гильдий (mysteries), которые достигли в соответствующих областях всего, чего можно было достигнуть путём ручного труда, не прибегая к помощи могучего механического двигателя ручного труда — и изобретательности, так как, говоря словами Уэвелля, «Пергамент и бумага, печатание и гравировка, усовершенствованное стекло и сталь, порох, часы, телескоп, морской компас, реформированный календарь, десятичная система, алгебра, тригонометрия; химия, контрапункт (открытие, равнявшееся новому созданию в музыке), — всё это достояние мы унаследовали от той эпохи, которую так презрительно именуют периодом застоя». (History of Inductive Sciences, I, 252).

Правда, как заметил Уэвелль, ни одно из этих открытий не вносило какого-нибудь нового принципа; но средневековая наука сделала нечто большее, чем действительное открытие новых принципов. Она подготовила открытие всех тех новых принципов, которые известны нам в настоящее время в области механических наук: она приучила исследователя наблюдать факты и делать из них выводы. То была индуктивная наука, хотя она ещё не вполне уяснила себе значение и силу индукции; и она положила основание как механики, так и физики. Франсис Бэкон, Галилей и Коперник были прямыми потомками Роджера Бэкона и Майкеля Скотта, как паровая машина была прямым продуктом исследований об атмосферном давлении, произведённых в итальянских университетах, и того математического и технического образования, которым отличался Нюрнберг.

Но нужно ли в самом деле, ещё распространяться и доказывать прогресс наук и искусств в средневековом городе? Не достаточно ли просто указать на соборы в области искусства, и на итальянский язык и поэму Данте в области мысли, чтобы сразу дать меру того, что создал средневековый город, в течение четырёх веков своего существования?

Нет никакого сомнения — средневековые города оказали громадную услугу европейской цивилизации. Они помешали Европе дойти до теократических и деспотических государств, которые создались в древности в Азии; они дали ей разнообразие жизненных проявлений, уверенность в себе, силу инициативы и ту огромную интеллектуальную и моральную энергию, которой она ныне обладает и которая является лучшей порукой в том, что эта цивилизация сможет отразить всякое новое нашествие с Востока.

Но почему же эти центры цивилизации, попытавшиеся ответить на такие глубокие потребности человеческой природы и отличавшиеся такой полнотой жизни, не могли существовать ещё долее? Почему же их охватила старческая дряблость в шестнадцатом веке? И почему, после того, как они отразили столько внешних нападений и сумели черпать новую энергию даже из своих внутренних раздоров, эти города, в конце концов, пали жертвой внешних нападений и внутренних усобиц?

Различные причины вызвали это падение, причём некоторые из них имели свой корень в отдалённом прошлом, тогда как другие были результатом ошибок, совершённых самими городами. В конце пятнадцатого века в Европе начали возникать могущественные государства, складывавшиеся по древнеримскому образцу. В каждой стране и в каждой области который-нибудь из феодальных владельцев, более хитрый, чем другие, более склонный к скопидомству, а часто и менее совестливый, чем его соседи, успевал приобрести в личное владение более богатые вотчины, с большим количеством крестьян в них, а также собрать вокруг себя большое количество рыцарей и дружинников, и скопить больше денег в своих сундуках. Такой барон, король, или князь обыкновенно выбирал для своего местожительства деревни с выгодным географическим положением и ещё не освоившиеся с порядками свободной городской жизни — Париж, Мадрид, Москва стояли в таких условиях — и при помощи крепостного труда он создавал здесь королевский укреплённый город, в который он привлекал, щедрою раздачею деревень «в кормление», военных сподвижников, а так же и купцов, пользовавшихся покровительством, которое он оказывал торговле. Таким образом, создавалось, в зачаточном состоянии, будущее государство, которое и начинало понемногу поглощать другие такие же центры. Законники, воспитанные на изучении римского права, охотно стекались в такие города; упрямая и честолюбивая раса людей, выделившихся из горожан и одинаково ненавидевших как высокомерие феодалов, так и проявление того, что они называли беззаконием крестьянства. Уже самые формы деревенской общины, неизвестные их кодексам, самые принципы федерализма были ненавистны им, как наследие «варварства». Их идеал был цезаризм, поддерживаемый фикцией народного одобрения и силою оружия, и они усердно работали для тех, на кого они полагались для осуществления этого идеала.[269]

Христианская церковь, раньше восставшая против римского права, а теперь обратившаяся в его союзницу, работала в том же направлении. Так как попытка образовать теократическую империю в Европе, под главенством папы, не увенчалась успехом, то более интеллигентные, и честолюбивые епископы начали оказывать теперь поддержку тем, кого они считали способными восстановить могущество царей Израиля и константинопольских императоров. Церковь облекла возвышавшихся правителей своей святостью; она короновала их, как представителей Бога на земле; она отдала им на службу учёность и государственные таланты своих служителей; она принесла им свои благословения и свои проклятия, свои богатства и те симпатии, которые она сохранила среди бедняков. Крестьяне, которых города не смогли или отказались освободить, видя что горожане не в силах положить конец бесконечным войнам между рыцарями — за которые крестьянам приходилось так дорого расплачиваться, — теперь возлагали свои надежды на короля, на императора, на великого князя; и помогая им сокрушить могущество феодальных владений, они вместе с тем, помогали им в установлении централизованного государства. Наконец, нашествия монголов и турок, священная война против мавров в Испании, а равным образом и те страшные войны, которые вскоре начались среди каждого народа между вырвавшимися центрами верховной власти: Иль-де-Франсом и Бургундией, Шотландией и Англией, Англией и Францией, Литвой и Польшей, Москвой и Тверью, и т. д., вели, в конце концов, к тому же. Возникли могущественные государства, и городам пришлось теперь вступить в борьбу, не только со слабосвязанными между собою федерациями феодальных баронов или князей, но и с могучеорганизованными центрами, имевшими в своём распоряжении целые армии крепостных.

Но хуже всего было то, что возраставшие центры единой державы находили себе поддержку в тех уособиях, которые возникали внутри самых городов. В основу средневекового города, несомненно, была положена великая идея; но она была понята недостаточно широко. Взаимная помощь и поддержка не могут быть ограничены пределами небольшой ассоциации; они должны распространяться на всё окружающее, иначе окружающее поглотит ассоциацию и в этом отношении средневековый гражданин с самого начала совершил громадную ошибку. Вместо того, чтобы смотреть на крестьян и ремесленников, собиравшихся под защиту его стен, как на помощников, которые смогут внести свою долю в дело созидания города, — что они сделали в действительности, — «фамилии» старых горожан поспешили резко отделить себя от новых пришельцев. Первым предоставлялись все благодеяния общинной торговли и пользования общинными землями, а вторым не оставляли ничего, кроме права свободно проявлять искусство своих рук. Город, таким образом, разделился на «граждан», или «общинников» и на «обывателей», или «жителей».[270] Торговля, носившая ранее общинный характер, стала теперь привилегией купеческих и ремесленных фамилий, и следующая ступень — переход к личной торговле, или к привилегиям капиталистических угнетательских компаний — трестов — стала неизбежной.

То же самое разделение возникло и между городом, в собственном смысле этого слова, и окружающими его деревнями. Средневековые Коммуны пытались было освободить крестьян, но их войны против феодалов вскоре превратились, как уже сказано выше, скорее в войны за освобождение самого города от власти феодалов, чем в войны за освобождение крестьян. Городская община оставила за феодалом его права над крестьянами, при условии, чтобы он более не причинял вреда городу и стал согражданином. Но дворянство, «воспринятое» городом и перенесшее свою резиденцию во внутрь городской ограды, внесло старые свои фамильные войны и в пределы города. Оно не мирилось с мыслью, что дворяне должны подчиняться суду простых ремесленников и купцов, и оно продолжало вести на городских улицах свои старые родовые войны из-за кровавой мести. В каждом городе теперь были свои Колонны и Орсини, свои Оверштольцы и Визы. Извлекая большие доходы из имений, которые они успели удержать за собой, феодальные владельцы окружили себя многочисленными клиентами и феодализировали нравы и обычаи самого города. Когда же стало возникать недовольство среди ремесленных классов города, против старых гильдий и фамилий, феодалы стали предлагать обеим партиям свои мечи и своих многочисленных прислужников, чтобы решать возникавшие столкновения путем войны, вместо того чтобы дать недовольству вылиться теми путями, которые до тех пор оно всегда находило, не прибегая к оружию.

Величайшею и самую роковую ошибкою большинства городов было также обоснование их богатства на торговле и промышленности рядом с пренебрежительным отношением к земледелию. Таким образом, они повторили ошибку, уже однажды совершенную городами античной Греции, и вследствие этого впали в те же преступления.[271] Но отчуждение городов от земли, по необходимости, вовлекло их в политику, враждебную земледельческим классам, которая стала особенно очевидной в Англии, во времена Эдуарда III,[272] во Франции, во времена жакерии (больших крестьянских восстаний), в Богемии — в гуситских войнах, и во время крестьянской войны в Германии. С другой стороны, торговая политика вовлекла также городские народоправства в отдалённые предприятия и развила страсть к

обогащению колониями. Возникли колонии, основанные итальянскими республиками на юго-востоке, немецкими — на востоке и славянскими (Новгородом и Псковом) — на дальнем северо-востоке. Тогда понадобилось держать армии наёмников для колониальных войн, затем этих наёмников употребили и для угнетения самих же горожан. Ради той же цели стали заключать займы в таких размерах, что они скоро оказали глубоко деморализующее влияние на граждан. Попасты во власть становилось очень выгодно, и внутренние усобицы разрастались всё в больших размерах при каждом выборах, во время которых главную роль играла колониальная политика в интересах немногих фамилий. Разделение между богатыми и бедными, между «лучшими» и «худшими» людьми, все расширялось, и в шестнадцатом веке королевская власть нашла в каждом городе готовых союзников и помощников среди бедняков, когда посулила им смирить богатых.

Есть, однако, ещё одна причина упадка коммунальных учреждений, более важная и глубже лежащая, чем все остальные. История средневековых городов представляет один из наиболее поразительных примеров могущественного влияния идей и основных начал на судьбы человечества, а равным образом и того, что при коренном изменении в руководящих идеях общества получаются совершенно новые, часто противоположные, результаты. Самодоверие и федерализм, верховная власть каждой отдельной группы, и построение политического тела от простого к сложному — таковы были руководящие идеи одиннадцатого века. Но с того времени понятия подверглись совершенному изменению. Ученые легисты, изучавшие римское право, и церковные прелаты, тесно объединившиеся со времени Иннокентия III-го, успели парализовать идею — античную греческую идею, — которая преобладала в эпоху освобождения городов и легла в основание этих республик. В течение двух или трёх столетий они стали учить с амвона, с университетской кафедры и в судах, что спасение людей лежит в сильно централизованном государстве, подчинённом полубожеской власти одного, или немногих; [273] что один человек может и должен быть спасителем общества, и что во имя общественного спасения он может совершать любое насилие: жечь людей на кострах, убивать их медленной смертью в неопикуемых пытках, повергать целые области в самую отчаянную нищету. При этом они не скупались на наглядные уроки в крупных размерах, и с неслыханной жестокостью давали эти уроки везде, куда лишь могли проникнуть меч короля или костёр церкви. Вследствие этих учений и соответственных примеров, постоянно повторяемых и насильственно внедряемых в общественное сознание, самые умы людей начали принимать новый склад. Граждане начали находить, что никакая власть не может быть чрезмерной, никакое постепенное убийство — чересчур жестоким, если дело идёт об «общественной безопасности». И при этом новом направлении умов, при этой новой вере в силу единого правителя, древнефедеральное начало теряло свою силу, а вместе с ним вымер и созидательный гений масс. Римская идея победила, и при таких обстоятельствах централизованные военные государства нашли себе в городах готовую добычу.

Флоренция пятнадцатого века представляет типичный образец подобной перемены. Раньше, народная революция бывала началом нового, дальнейшего прогресса. Теперь же, когда доведённый до отчаяния народ восстал, он уже более не обладал созидательным творчеством, и народное движение не дало никакой свежей идеи. Вместо прежних четырёхсот представителей в общинном совете, введена была тысяча представителей; вместо прежних восьмидесяти членов синьории (*signoria*), в неё вошло сто членов. Но эта

революция в числах не привела ни к чему. Народное недовольство всё возрастало, и последовал ряд новых возмущений. Тогда обратились за спасением к «тирану»; он прибег к избиению восставших, но распадение общинного организма продолжалось. И когда, после нового возмущения, флорентийский народ обратился за советом к своему любимцу — Иерониму Савонароле — то монах ответил: «О, народ мой, ты знаешь, что я не могу входить в государственные дела... Очисти свою душу, и если при таком расположении ума ты реформируешь город, тогда, народ Флоренции, ты должен начать реформу во всей Италии!» Маски, надевавшиеся во время гуляний на масленице, и соблазнительные книги были сожжены; был проведён закон о поддержании бедных и другой, направленный против ростовщиков, — но демократия Флоренции оставалась тем же, чем была. Старый творческий дух исчез. Вследствие излишнего доверия к правительству, флорентийцы перестали доверять самим себе; они оказались неспособными обновить свою жизнь. Государству оставалось лишь войти и раздавить их последние вольности.

И всё же поток взаимной помощи и поддержки не заглох в массах и продолжал струиться даже после этого поражения вольных городов. Он поднялся снова с могучей силой, в ответ на коммунистические призывы первых пропагандистов Реформации, и он продолжал существовать даже после того, как массы, потерпевши неудачу в своей попытке устроить жизнь так, как они надеялись устроить её, вдохновенную реформированную религию, подпали под власть единодержавия. Он струится даже теперь и ищет путей для нового выражения, которое уже не будет ни государством, ни средневековым городом, ни деревенской общиной варваров, ни родовым строем дикарей, но, отправляясь от всех этих форм, будет совершеннее всех их по глубине и по широте своих человеческих начал.

Глава VII. Взаимная помощь в современном обществе

- Народные возмущения в начале государственного периода. Институты взаимной помощи в настоящее время.
- Деревенская община: её борьба против государства, стремящегося её уничтожить. • Обычаи, сохранившиеся со времени периода деревенской общины и сохранившиеся в деревнях по настоящее время.
- Швейцария, Франция, Германия, Россия.

Склонность людей ко взаимной помощи имеет такое отдалённое происхождение, и она так глубоко переплетена со всею прошлою эволюциею человеческого рода, что люди сохранили её вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности истории. Эта склонность развилась, главным образом, в периоды мира и благосостояния; но даже тогда, когда на людей обрушивались величайшие бедствия, — когда целые страны бывали опустошены войнами, и целые населения их вымирали от нищеты, или стонали под ярмом тирании, — та же склонность, та же потребность продолжала существовать в деревнях и среди беднейших классов городского населения; она всё-таки скрепляла их и, в конце концов, она оказывала воздействие даже на то правящее, войнолюбивое и разоряющее меньшинство, которое относилось к этой потребности как к сантиментальному вздору. И всякий раз, когда человечеству приходилось выработать новую социальную организацию, приспособленную к новому фазису его развития, созидательный гений человека всегда черпал вдохновение и элементы для нового выступления на пути прогресса всё из той же самой, вечно живой, склонности ко взаимной помощи. Все новые экономические и социальные учреждения, поскольку они являлись созданием народных масс, все новые этические системы и новые религии, — все они происходят из того же самого источника; так что этический прогресс человеческого рода, если рассматривать его с широкой точки зрения, представляется постепенным распространением начал взаимной помощи, от первобытного рода к агломератам людей, всё более и более обширным, пока, наконец, эти начала не охватят всё человечество, без различия вер, и языков рас.

Пройдя период родового быта и следовавший за ним период деревенской общины, европейцы выработали в средние века новую форму организации, которая имела за себя большое преимущество: она допускала большой простор для личной инициативы, и в то же время в значительной мере отвечала потребности человека во взаимной поддержке. В средневековых городах была вызвана к жизни федерация деревенских общин, покрытая

сеть гильдий и братств, и при помощи этой новой двойной формы союза были достигнуты огромные результаты в общем благосостоянии, в промышленности, в искусстве, науке и торговле. Мы рассмотрели эти результаты довольно подробно в двух предыдущих главах, и также сделали попытку объяснить, почему, к концу пятнадцатого века, средневековые республики, — окружённые владениями враждебных феодалов, неспособные освободить крестьян от крепостного ига и постепенно развращённые идеями римского цезаризма, — неизбежно должны были сделаться добычей растущих военных государств.

Однако, прежде чем подчиниться, на следующие триста лет, всепоглощающей власти государства, народные массы сделали грандиозную попытку перестройки общества, сохраняя притом прежнюю основу взаимной помощи и поддержки. Теперь хорошо уже известно, что великое движение Реформации вовсе не было одним только возмущением против злоупотреблений католической церкви. Движение это выставило также и свой постройительный идеал, и этим идеалом была, — жизнь в свободных братских общинах. Писания и речи проповедников раннего периода Реформации, находившие наибольший отклик в народе, были пропитаны идеями экономического и социального братства людей. Известные «двенадцать пунктов» немецких крестьян и подобные им символы веры, распространённые среди германских и швейцарских крестьян и ремесленников, требовали не только установления права каждого — толковать Библию, согласно своему собственному разумению, но заключали в себе также требование возврата общинных земель деревенским общинам и уничтожения феодальных повинностей; причём эти требования всегда ссылались на «истинную» христианскую веру, т. е. веру человеческого братства. В то же самое время десятки тысяч людей вступали в Моравии в коммунистические братства, жертвуя в пользу братств всё своё имущество и создавая многочисленные и цветущие поселения, основанные на началах коммунизма.[274] Только массовые избиения, во время которых погибли десятки тысяч людей, могли приостановить это широко распространившееся народное движение, и только при помощи меча, огня и колесования юные государства обеспечили за собой первую и решительную победу над народными массами.[275]

В течение следующих трех столетий, государства, как на континенте, так и на Британских островах, систематически уничтожали все учреждения, в которых до того находило себе выражение стремление людей ко взаимной поддержке. Деревенские общины были лишены права мирских сходов, собственного суда и независимой администрации; принадлежавшие им земли были конфискованы. У гильдий были отняты их имущества и вольности, они были подчинены контролю государственных чиновников и отданы на произвол их прихотей и взяточничества. Города были лишены своих верховных прав, и самые источники их внутренней жизни: вече, выборный суд и выборная администрация, верховные права прихода и гильдии — все это было уничтожено. Государственный чиновник захватил в свои руки каждое звено того, что раньше составляло органическое целое. Благодаря этой роковой политике и порожденным ею войнам, целые страны, прежде населенные и богатые, были опустошены; богатые и людные города превратились в незначительные местечки; даже самые дороги, соединявшие города между собою, стали непроходимыми. Промышленность, искусство, знание — пришли в упадок. Политическое образование, наука и право были подчинены идее государственной централизации. В университетах и в церковных кафедрах стали учить, что учреждения, в которых люди привыкли воплощать до

тех пор свою потребность во взаимной помощи, не могут быть терпимы в надлежаще организованном государстве; что государство и церковь одни могут представлять узы единения между его подданными; что федерализм и «партикуляризм» были врагами прогресса, — и что государство — единственный пристойный инициатор дальнейшего развития. В конце восемнадцатого века короли на континенте Европы, парламент в Англии и даже революционный конвент во Франции, хотя и находились в войне друг с другом, сходились в утверждении, что в пределах государства не должно быть никаких отдельных союзов между гражданами, кроме тех, которые установлены государством и подчинены ему; что для рабочих, осмеливавшихся вступать в «коалиции», единственное подходящее наказание — каторга и смерть. — «Не потерпим государства в государстве!» Только государство и государственная церковь должны заботиться об общих интересах; подданные же должны оставаться малосвязанными между собою кучками людей, не объединенных никакими особенными узами, и обязанных обращаться к государству, всякий раз, когда они имеют какую-нибудь общую потребность. Вплоть до половины девятнадцатого века эта теория и соответственная ей практика господствовали в Европе.

Даже на торговые и промышленные общества глядели с подозрением. Что же касается рабочих, то еще на нашей памяти их союзы считались незаконными, даже в Англии; такой же точки зрения придерживались не далее, как двадцать лет тому назад, в конце XIX-го века, на континенте. Вся система нашего государственного образования вплоть до настоящего времени, даже в Англии, была такова, что значительная часть общества смотрела, как на революционную меру, если народ получал такие права, какими в средние века, пятьсот лет тому назад, пользовался всякий — свободный и крепостной, — на деревенском мирском сходе, в своей гильдии, в своём приходе и в городе.

Поглощение всех общественных отправлений государством неизбежно благоприятствовало развитию необузданного, узкого индивидуализма. По мере того, как обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, очевидно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу. В гильдии, — а в средние века все принадлежали к какой-нибудь гильдии или братству, — два «брата» обязаны были поочередно ухаживать за больным братом; теперь же достаточно дать своему соседу адрес ближайшего госпиталя для бедных. В варварском обществе присутствовать при драке двух людей, возникшей из-за личной ссоры, и при этом не позаботиться, чтобы драка не имела рокового исхода, значило, навлечь на себя обвинение в убийстве; но, согласно теперешней теории всеохраняющего государства, присутствующему при драке нет нужды вмешиваться, — на то имеется полиция. И в то время, как у дикарей, — например у готтентотов, — считалось бы неприличным приняться за еду, не прокричавши троекратно приглашения желающему присоединиться к трапезе, у нас почтенный гражданин ограничивается уплатою налога для бедных, предоставляя голодающим распорядиться, как им угодно. В результате, везде — в законе, в науке, в религии — торжествует теперь теория, гласящая, что люди могут и должны добиваться собственного счастья, не обращая никакого внимания на чужие нужды. Это стало религиею нашего времени, и люди, сомневающиеся в ней, считаются опасными утопистами. Наука громко провозглашает, что борьба каждого против всех составляет руководящее начало природы вообще, и человеческих обществ в частности. Именно этой борьбе биология приписывает прогрессивную эволюцию животного мира. История рассуждает таким же образом, а политикоэкономы, в своём наивном невежестве,

рассматривают прогресс современной промышленности и механики, как «поразительные» результаты влияния того же начала. Самая религия церквей является религией индивидуализма, слегка смягчаемого более или менее милосердными отношениями к своим ближним — преимущественно по воскресеньям. «Практические» люди и теоретики, люди науки и религиозные проповедники, законоведы, и политические деятели, все согласны в одном, а именно, что индивидуализм, в его наиболее грубых проявлениях, можно, конечно, смягчать благотворительностью, но что он является единственным надёжным основанием для поддержания общества и его дальнейшего прогресса.

Казалось бы, поэтому, делом безнадёжным — разыскивать институции и практические проявления начала взаимной помощи в современном обществе. Что могло уцелеть от них? И всё же, как только мы начинаем присматриваться, как живут миллионы человеческих существ, и изучаем их повседневные отношения, нас поражает, прежде всего, огромная роль, которую играют в человеческой жизни, даже в настоящее время, начала взаимной помощи и взаимной поддержки. Хотя вот уже триста или четыреста лет совершается, и в теории и в самой жизни, разрушение учреждений и обычаев взаимной помощи, — тем не менее сотни, миллионы людей продолжают жить при помощи этих учреждений и обычаев; они благоговейно поддерживают их там, где их удалось сохранить, и пытаются воссоздать их там, где они уничтожены. Мы переживаем, каждый из нас, в наших взаимных отношениях, моменты возмущения против модного, индивидуалистского символа веры наших дней, и поступки, при совершении которых люди руководятся своею склонностью к взаимной помощи, составляют такую огромную часть нашего повседневного обихода, что если бы возможно было внезапно положить им конец, то этим немедленно был бы прекращён весь дальнейший нравственный прогресс человечества. Человеческое общество, в таком случае, не могло бы даже продержаться дольше чем жизнь одного поколения. Факты этого порядка, в большинстве случаев оставленные без внимания социологами, но, тем не менее, имеющие первостепенное значение для жизни и дальнейшего подъёма человечества, мы и рассмотрим теперь, начиная с существующих установлений взаимной поддержки, и переходя затем к таким актам взаимной помощи, которые исходят из личных или общественных симпатий.

Окидывая широким взглядом современное устройство европейского общества, мы прежде всего поражаемся тем фактом, что, несмотря на все усилия покончить с деревенской общиной, эта форма единения людей продолжает существовать в обширных размерах, как видно будет из последующего, и что в настоящее время делаются многочисленные попытки, либо восстановить её в том или ином виде, либо найти что-нибудь в замену её. Ходячие теории буржуазных экономистов утверждают, что община умерла в Западной Европе естественной смертью, так как общинное владение землею было найдено несовместимым с современными требованиями возделывания земли. Но истина заключается в том, что нигде деревенская община не исчезла по доброй воле; напротив, везде правящим классам потребовалось несколько столетий настойчивых и не всегда успешных усилий, с целью искоренить общину и конфисковать общинные земли.

Во Франции, уничтожение независимости деревенских общин и грабёж принадлежащих им земель начались уже в шестнадцатом веке. Впрочем, только в следующем столетии, когда крестьянская масса была доведена, поборами и войнами, до порабощения и нищеты, так

ярко описанных всеми историками, грабёж общинных земель мог совершаться безнаказанно, и тогда он достиг скандальных размеров. «Каждый брал у них, сколько мог... изобретались воображаемые долги, с целью захватить их земли», — так выражается эдикт, обнародованный Людовиком XIV-м в 1667 году.[276] Конечно, государство не нашло иного средства для извлечения этих зол, как ещё большее подчинение общин своей власти и дальнейшее ограбление их — на этот раз самим государством. В сущности, уже два года спустя все денежные доходы общин были конфискованы королём. Что же касается до захвата общинных земель, то он становился всё шире и шире, и в следующем столетии дворянство и духовенство уже оказались владельцами огромных участков земли — они владели половиною всей годной для обработки площади, согласно некоторым оценкам, причём большинство этих земель оставалось невозделанным.[277] Но крестьяне всё ещё сохранили свои общинные учреждения, и вплоть до 1787 года деревенские мирские сходы, состоявшие из всех домохозяев, собирались, обыкновенно под тенью колокольни или дерева, для распределения наделов, или для передела оставшихся в их владении полей, раскладки налогов и избрания общинной администрации, точно так же, как это и до сих пор делает русский «мир». Это вполне доказано теперь исследованиями Бабо.[278]

Французское правительство нашло, однако, общинные мирские сходы «чересчур шумными», чересчур непослушными, и в 1789 году они были заменены выборными советами, состоявшими из старшины и от трёх до шести синдиков, которые избирались из более состоятельных крестьян. Через два года «революционное» Учредительное Собрание (*Assemblée Constituante*), сходявшееся в этом отношении вполне со старым строем, вполне подтвердило вышеуказанный закон (14 декабря 1789 года), и деревенская буржуазия занялась теперь в свою очередь грабежом общинных земель, который и продолжался в течение всего революционного периода. Только 16 августа 1792 года, Законодательное Собрание (*Assemblée Legislative*) под давлением крестьянских восстаний и поднятого настроения после взятия народом королевского дворца, решило возвратить общинам отнятые у них земли; но в то же время оно постановляло, чтобы эти возвращенные земли были разделены между одними более зажиточными крестьянами. Мера эта, конечно, вызвала новые восстания, и она была отменена в следующем же году, когда, после изгнания жирондистов, Конвент постановил, 11 июня 1793 г., чтобы все общинные земли, отнятые помещиками и пр. у крестьян, начиная с 1669 года, были возвращены общинам, которые могли — если решали это большинством двух третей голосов, — разделить общинные земли в таком случае поровну между всеми обывателями, как богачами, так и бедняками между «активными» и «пассивными» гражданами.[279]

Тем не менее законы о разделе общинных земель настолько шли вразрез с представлениями крестьян, что последние не выполняли их, и повсюду, где крестьяне вернулись во владение, хотя бы частью ограбленных у них мирских земель, они владели ими сообща, оставляя их неделёнными. Но вскоре наступили долгие годы войн и реакция, и общинные земли были просто конфискованы государством (в 1794 году) для обеспечения государственных займов; часть их была назначена на продажу и в конце концов разграблена; затем они снова были возвращены общинам и снова конфискованы (в 1813 году). И только в 1816 году остатки этих земель, составлявшие около 6.000.000 десятин наименее производительной земли, были возвращены деревенским общинам.[280] Но и это еще не было концом общинных заключений. Каждый новый режим видел в общинных землях удобный источник для

вознаграждения своих сторонников, и три закона (первый в 1837 году, а последний при Наполеоне III) были проведены, с целью побудить деревенские общины произвести раздел общинных земель. Три раза эти законы приходилось отменять, вследствие оппозиции, которую они встречали в деревнях, но всякий раз правительству удавалось отхватить что-нибудь от общинных владений: так, Наполеон III, под предлогом покровительства усовершенствованным методом агрикультуры, отдал крупные общинные владения некоторым из своих фаворитов.

Что же касается до автономии деревенских общин, то что могло оставаться от неё после стольких ударов? Правительство смотрело на старшину и синдиков, как на своих даровых чиновников, выполняющих известные функции государственного механизма. Даже теперь, при третьей республике деревня лишена всякой самостоятельности, и малейшее действие в пределах деревенской общины не может быть совершено без вмешательства и санкции чуть ли не всего сложного государственного механизма, включая префектов и министров. Трудно поверить, а между тем в действительности оно так: если, например, крестьянин намеревается уплатить денежным взносом свою долю труда по починке общинной дороги (вместо того, чтобы самому набить требуемое количество камня), то не менее двенадцати государственных чиновников различного ранга должны дать согласие на это, причем это требует пятьдесят два бумажных документа, которыми эти чиновники должны обменяться, прежде чем крестьянину, наконец, будет разрешено внести денежную уплату в общинный совет. Все остальное носит тот же характер. То же самое, если буря повалит дерево на дороге.[281]

То, что случилось во Франции, происходило повсюду в Западной и Средней Европе. Даже главные годы этого колоссального грабежа крестьянских земель везде совпадают. Для Англии единственное различие заключается в том, что грабеж совершался путем отдельных актов, а не путем общего закона, — словом, дело происходило с меньшею поспешностью чем во Франции, но зато с большей основательностью. Захват общинных земель лендлордами также начался в пятнадцатом столетии, после подавления крестьянского восстания в 1380 году, как видно из «Historia» Россуса и статута Генриха VII-го, в которых об этих захватах говорится под заголовком: «Гнусности и злодеяния, вредящие общему благу».[282] Позднее, при Генрихе VIII-м, было начато, как известно, специальное расследование (Great Inquest) с целью прекратить захват общинных земель, но расследование это закончилось санкционированием расхищения, в тех размерах, в каких оно уже произошло.[283]

Расхищение общинных земель продолжалось, и крестьян продолжали сгонять с земли. Но только с середины XVIII-го столетия, в Англии, как и везде в других странах, установилась систематическая политика уничтожения общинного владения, так, что следует удивляться не тому, что общинное владение исчезло, а тому что, оно могло сохраниться, даже в Англии, и «преобладало еще на памяти дедов нашего поколения».[284] Истинной целью «актов об ограждении» (Enclosure Acts), как показано было Seebohm, было устранение общинного владения,[285] и оно было настолько хорошо устранено, когда парламент провел между 1760-м и 1844-м годом почти 4000 актов об ограждении, что от него остались теперь только слабые следы. Лорды забрали себе земли деревенских общин, и каждый отдельный случай захвата был санкционирован парламентом.[286]

В Германии, в Австрии и в Бельгии деревенская община была тоже разрушена государством. Примеры того, чтобы общинники сами разделяли между собой общинные земли, были редки,[287] между тем как государства везде понуждали их к подобному разделу или просто благоприятствовали захвату их земель частными лицами. Последний удар общинному владению в Средней Европе также был нанесен в середине восемнадцатого века. В Австрии правительству пришлось пустить в ход грубую силу в 1768 году, чтобы заставить общины совершить раздел земель, — причем, два года спустя, для этой цели была назначена специальная комиссия. В Пруссии, Фридрих II, в некоторых из своих указов (в 1752, 1763, 1765 и 1769 гг.), рекомендовал судебным камерам (Justizcollgien) производить раздел насильственным путем. В Силезии, с той же целью, была опубликована, в 1771 году, специальная резолюция. То же происходило и в Бельгии, но так как общины оказывали неповиновение, то, в 1847 году, был издан закон, дававший правительству право покупать общинные луга, с целью распродажи их по частям, и производить принудительную продажу общинной земли, если на нее находился покупатель.[288]

Короче говоря, разговоры об естественной смерти деревенских общин в силу экономических законов представляют такую же безобразную шутку, как если бы мы говорили об естественной смерти солдат, убитых на поле битвы. Фактическая сторона дела такова: деревенские общины прожили более тысячи лет, и в тех случаях, когда крестьяне не были разорены войнами и поборами, они постепенно улучшали методы культуры; но так как ценность земли возрастала, вследствие роста промышленности, и дворянство при государственной организации приобрело такую власть, какой оно никогда не имело при феодальной системе, — оно завладело лучшей частью общинных земель и приложило все усилия, чтобы разрушить общинные установления.

Установления деревенской общины так хорошо соответствуют, однако, нуждам и понятиям тех, кто сам обрабатывает землю, что, несмотря на все, Европа вплоть до настоящего времени покрыта еще живущими пережитками деревенских общин, а деревенская жизнь изобилует по сию пору привычками и обычаями, происхождение которых относится к общинному периоду. Даже в Англии, несмотря на все драконовские меры, предпринятые для уничтожения старого порядка вещей, он существовал вплоть до начала XIX столетия. Гомме — один из немногих английских ученых, обративших внимание на этот предмет, указывает в своей работе, что в Шотландии сохранились многие следы общинного владения землей, причем runrig tenancy, т. е. фермерское владение делянками во многих полях (права общинника, перешедшие к фермеру) сохранялось в Форфаршайре до 1813 года; а в некоторых деревнях Инвернеса вплоть до 1801 г. было в обычае распахивать землю для целой общины, не делая межей и распределяя ее уже после вспашки. В Килмори раздел и передел полей были в полной силе «вплоть до последних двадцати пяти лет», говорит Гомме, и крофтерская комиссия восьмидесятых годов нашла этот обычай еще сохранившимся на некоторых островах.[289] В Ирландии эта же система преобладала вплоть до эпохи великого голода; что же касается до Англии, то труды Маршалля, остававшиеся незамеченными, пока на них не обратили внимания Нассэ и Мэн, не оставляют ни малейшего сомнения в том, что система деревенской общины пользовалась широким распространением почти во всех областях Англии, еще в начале XIX-го столетия.[290] Не более двадцати лет тому назад сэр Генри Мэн был «чрезвычайно поражен количеством случаев аномальных владельческих прав, которые необходимым образом предполагают

первоначальное существование коллективного владения и совместной обработки земли», — причем эти случаи обратили на себя его внимание после сравнительно непродолжительного изучения.[291] А так как общинное владение сохранилось в Англии до такого недавнего времени, то несомненно, что в английских деревнях можно было бы найти большое количество обычаев и навыков взаимной помощи, если бы только английские писатели обратили внимание на деревенскую жизнь.[292]

Что же касается до континентальной части Европы, то множество общинных установлений, до сих пор сохранивших жизненную силу, встречается в разных частях Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Скандинавских стран и Испании, — не говоря уже о Восточной Европе: деревенская жизнь в этих странах проникнута общинными обычаями и привычками, и европейская литература почти ежегодно обогащается серьезными трудами, посвященными этому вопросу и сродным с ним. Поэтому, мне придется при выборе примеров ограничиться лишь несколькими, самыми типичными.

Один из таких примеров дает нам Швейцария. Здесь только имеется пять республик — Ури, Швиц, Аппенцель, Гларус и Унтервальден — которые владеют значительной частью своих земель нераздельно, и управляются каждая народным сходом всей республики (кантона); но и во всех других кантонах деревенские общины также пользуются широким самоуправлением, и обширные части федеральной территории до сих пор остаются в общинном землевладении.[293] Две трети всех альпийских лугов и две трети всех лесов Швейцарии до сих пор остаются общинной собственностью; и значительное количество полей, садов, виноградников, торфяников, каменоломен и т. д. до сих пор находятся в общинном владении. В Ваадском кантоне, где все домохозяева имеют право принимать участие при обсуждении общинных дел, в избираемых ими общинных советах, с совещательным голосом, общинный дух проявляется с особенною живостью. К концу зимы, в некоторых деревнях вся мужская молодежь отправляется на несколько дней в леса, для рубки деревьев и спуска их вниз по крутым склонам гор (подобно катанью с гор на салазках), причем строевой лес и лес для отопления распределяется между всеми домохозяевами, или же продается в их пользу. Эти экскурсии являются настоящими праздниками мужественного труда. На берегах Женевского озера, часть работы, необходимой для поддержания в порядке террас виноградников, до сих пор выполняется сообща, а весной, когда термометр угрожает упасть ниже нуля перед восходом солнца, и мороз мог бы погубить лозы виноградников, ночной сторож будит всех домохозяев, которые зажигают костры из соломы и навоза, и охраняют, таким образом, виноградники от мороза, окутывая их облаками дыма. Почти во всех кантонах деревенские общины владеют так называемыми *Bürger Nutzen*, т. е. они сообща содержат известное количество коров, для снабжения каждой семьи маслом; или же они держат сообща поля, или виноградники, продукты которых разделяются между общинниками; или же, наконец, они отдают свою землю в наем, причем доход поступает в пользу всей общины.[294]

Вообще можно принять за правило, что везде, где общины удержали за собой настолько широкую сферу функций, чтобы быть живыми частями национального организма, и где они не были доведены до совершенной нищеты, они не перестают внимательно относиться к своим землям. Вследствие этого общинные имущества Швейцарии представляют поражающий контраст, по сравнению с жалким положением «общинных» земель в Англии.

Общинные леса в Ваадском кантоне и в Валэ (Valais) содержатся в превосходном порядке, соответственно указаниям современного лесоводства. В других местах, «полоски» общинных полей, меняющие владельцев при системе переделов, оказываются очень хорошо унавожены, так как нет недостатка ни в скоте, ни в лугах. Высокие альпийские луга вообще содержатся хорошо, а деревенские дороги превосходны. И когда мы восхищаемся швейцарским chalet, горною дорогою, крестьянским скотом, террасами виноградников, или школьными домами в Швейцарии, мы должны помнить, что лес для постройки châlet весьма часто получен был из общинных лесов, а камень из общинных каменоломен; что коровы пасутся на общинных лугах, а дороги и школьные дома результат общинной работы.[295] Конечно, в Швейцарии, как и везде, община потеряла многие из своих прав и отпавлений, а «корпорация», составленная из небольшого числа старинных семей, заступила место прежней деревенской общины, к которой принадлежали все. Но то, что сохранилось, удержало, по мнению серьезных исследователей, полную жизненность.[296]

Едва ли нужно говорить, что в швейцарских деревнях до сих пор сохраняется много обычаев и навыков взаимной помощи. Вечерние собрания для шелушения грецких орехов, которые происходят поочередно у каждого домохозяина; вечерние посиделки для шитья приданого у девушки, выходящей замуж; приглашения на «помочь» при постройке домов и собирании жатвы, а равным образом для всевозможных работ, могущих потребоваться для каждого из общинников; обычай обмениваться детьми из одного кантона в другой, с целью научить их двум языкам, французскому и немецкому, и т. д. — все это совершенно обычные явления.[297]

Любопытно, что и различные современные потребности удовлетворяются тем же путем. Так, например, в Гларусе большинство альпийских лугов было продано в эпоху бедствий; но общины продолжают до сих пор покупать полевые земли, и после того как, новокупленные участки оставались во владении отдельных общинников в течение десяти, двадцати или тридцати лет, они возвращаются в состав общинных земель, которые переделываются, сообразно нуждам всех общинников. Имеется также большое количество мелких ассоциаций, занимающихся производством необходимых пищевых продуктов — хлеба, сыра, вина — путем работы сообща, хотя бы это производство и не достигало крупных размеров; и, наконец, широким распространением пользуется в Швейцарии агрикультурная кооперация. Обычное явление представляют ассоциации, от десяти до тридцати крестьян, сообща покупающих луга и поля и сообща обрабатывающих их; а молочные ассоциации, для продаж молока, масла и сыра, организованы по всей стране. В сущности, Швейцария была родиною этой формы кооперации. Кроме того здесь представляется обширное поле для изучения всякого рода мелких и крупных обществ, основанных для удовлетворении всевозможных современных потребностей. Так, например, в некоторых частях Швейцарии, почти в каждой деревне, можно найти целый ряд обществ: для защиты от пожаров, для водоснабжения, для катанья на лодках, для поддержания набережных на озере и т. д.; кроме того, вся страна покрыта обществами лучников, стрелков, топографов, исследователей тропинок и других подобных организаций, зародившихся из потребностей современного милитаризма.

Швейцария, однако, вовсе не является исключением в Европе, так как подобные же институции и обычаи можно наблюдать в деревнях Франции, Италии, Германии, Дании и т.

д. Так, на предыдущих страницах говорилось о том, что было сделано правителями Франции, с целью уничтожения деревенской общины и захвата её земель; но несмотря на все усилия правительства, одна десятая часть всей территории, пригодной для культуры, т. е., около 5.800.000 десятин, занимающих половину всех естественных лугов и почти пятую часть всех лесов страны, остаются в общинном владении. Эти леса снабжают общинников топливом, а строевой лес рубится в большинстве случаев путем общинной работы, со всею желательною в этих случаях правильностью; скот общинников свободно пасется на общинных пастбищах, а остатки общинных полей делятся и переделываются в некоторых частях Франции — а именно в Арденнах — обычным путем.[298]

Эти добавочные источники, помогающие более бедным крестьянам переживать годы плохих урожаев, не продавая принадлежащих им клочков земли и не запутываясь в неоплатных долгах, несомненно имеют значение, как для земледельческих рабочих, так и для почти 3.000.000 мелких крестьян-собственников. Сомнительно даже, чтобы мелкая крестьянская собственность могла удержаться без помощи этих добавочных источников. Но этическая важность общинной собственности, как бы ни были малы её размеры, далеко превосходит её экономическое значение. Она помогает сохранению в деревенской жизни ядра обычаев и навыков взаимной помощи, несомненно действующих как противовес узкому индивидуализму и жадности, которые так легко развиваются в среде мелких земельных собственников, и облегчающих развитие современных форм кооперации и общительности. Взаимная помощь, во всех обстоятельствах деревенской жизни, входит в рутину деревенского обихода. Везде мы встречаем под различными именами, «charroi», т. е. «помочь», оказываемую соседями при уборке жатвы, при сборе винограда, при постройке дома и т. п.; везде мы находим те же вечерние собрания, как и в Швейцарии. Везде общинники объединяются для всевозможных работ, невыполнимых в одиночку. Об этих обычаях упоминали почти все, писавшие о французской деревенской жизни. Но, может быть, лучше всего будет привести здесь несколько отрывков из писем, полученных мною от одного приятеля, которого я просил сообщить мне свои наблюдения по данному вопросу. Сообщения эти принадлежат пожилому человеку, бывшему в течение многих лет мэром в своей родной коммуне на юге Франции (в департаменте Ariège); сообщаемые им факты известны ему по долголетнему личному наблюдению, и они имеют то преимущество, что исходят из одной местности и не подобраны по частям из наблюдений, сделанных в отдаленных друг от друга местах. Некоторые из них могут показаться мелкими, но в общем они рисуют целый мирок деревенской жизни.

«В некоторых общинах, соседних с нашей», — пишет мой приятель, — «сохраняется в полной силе старый обычай l'emprunt. Когда на ферме требуется много рук для быстрого выполнения какой-нибудь работы — выкопать картофель, или выкосить луга, созывается соседская молодежь; собираются парни и девушки, весело и бесплатно выполняют работу, а вечером, после веселого ужина, молодежь устраивает танцы.»

«В тех же деревнях, когда девушка выходит замуж, соседские девушки собираются у неё, шить ей приданое. В некоторых деревнях женщины до сих пор довольно усердно прядут. Когда наступает время размотки пряжи в какой-нибудь семье, работа эта производится в один вечер при помощи приглашенных соседей. Во многих общинах Арьежа, и в других юго-западных местностях, шелушение кукурузы также выполняется при помощи всех соседей.

Их угощают каштанами и вином, и молодежь танцует по окончании работы. Тот же обычай практикуется при выделке орехового масла и для трепания конопли. В общине Л. тот же обычай соблюдается при возке хлеба. Эти дни тяжелой работы становятся праздниками, так как хозяин считает своею честью угостить добровольцев хорошим обедом. Платы не полагается никакой: все помогают друг другу.»[299]

«В общине С. площадь общинных выгонов каждый год увеличивается, так что в настоящее время почти вся земля общины поступила в общее пользование. Пастухи выбираются всеми владельцами скота, включая и женщин. Быки — общинные.»

«В общине М. маленькие стада овец, в 40–50 голов, принадлежащие общинникам, собираются в одно стадо, и затем делятся на три или на четыре стада, прежде чем гнать их на горные луга. Каждый владелец остается в течение одной недели при стаде, в качестве пастуха.

«В деревне С. несколько домохозяев купили сообща молотилку; все семьи сообща поставляют тех, человек пятнадцать или двадцать, которые нужны при машине. Три других молотилки, купленные домохозяевами той же деревни, отдаются ими на прокат: но работа при этом выполняется посторонними помощниками, приглашаемыми обычным путем.»

«В нашей общине Р. нужно было возвести стену вокруг кладбища. Половина суммы, требовавшейся для покупки извести и для платы опытным рабочим, была дана окружным советом, а другая половина была собрана по подписке. Что же касается работы по доставке песка и воды, замешивания извести, и подручных для каменщиков, то все это было выполнено добровольцами (точно также делается в кабийской djemtâa). Деревенские дороги чинятся тоже добровольным трудом общинников. Другие общины, таким образом, устроили у себя фонтаны. Пресс для выжимки виноградного сока — и другие, более мелкие, приспособления часто бывают общинной собственностью».

Два жителя из той же местности, опрошенные моим приятелем, добавляют следующее:

«В О. несколько лет тому назад не было мельницы. Община выстроила мельницу, наложив налог на общинников. Что же касается до мельника, то во избежание с его стороны всякого рода обманов и пристрастия, решено было платить ему по 2 франка с каждого едока, а хлеб обмолачивать бесплатно».

«В Сен Ж. очень мало крестьян страхуются на случай пожара. Когда же случается пожар — как это было недавно — все дают что-нибудь пострадавшей семье: котёл, простыню, стул и т. п., и, таким образом, скромное хозяйство возобновляется. Все соседи помогают погоревшему отстроить дом, а семья временно помещается бесплатно у соседей».

Подобные обычаи взаимной помощи — а их можно было бы привести без числа, — несомненно объясняют нам, почему французские крестьяне с такой легкостью объединяются для поочередного пользования плугом и запряжкой, или же виноградным прессом, или молотилкой, когда последние принадлежат в деревне кому-нибудь одному, а равным образом и для выполнения сообща всякого рода деревенских работ. Поддержка оросительных канав, расчистка лесов, осушка болот, посадка деревьев и т. д. с

незапамятных времен делались миром. То же продолжается и поныне. Так, например, очень недавно, La Vigne, в деп. Лозер, дикие обнаженные холмы были превращены в богатые сады, путем общинного труда. «Люди носили землю на своих плечах, устроили террасы и засадили их каштановыми и персиковыми деревьями; они распланировали огороды и провели воду, каналом, из-за пяти верст». Теперь, там, оказывается, вырыт новый водопровод длиной в 16 верст.[300]

Тем же самым общинным духом объясняется замечательный успех, которым в последнее время пользуются земледельческие синдикаты, т. е. ассоциации крестьян и фермеров. Только в 1884 году во Франции были допущены ассоциации, состоящие более чем из 19 лиц, и едва ли нужно прибавлять, что когда решено было сделать этот «опасный опыт» — так говорилось о нем в палате депутатов — чиновничество приняло против ассоциации все «предосторожности», какие только может изобрести бюрократия. Но несмотря на это, Франция покрывается земледельческими синдикатами. Вначале они образовывались лишь для закупки удобрений и семян, так как фальсификация в этих двух областях достигла колоссальных размеров.[301] Но постепенно они распространили свои действия в различных направлениях, включая продажу земледельческих продуктов и постоянные улучшения земельных участков. В южной Франции опустошения, произведенные филлоксерой, вызвали образование большого количества ассоциаций владельцев виноградников. Десять, двадцать, иногда тридцать таких владельцев образовывали синдикат, покупали паровую машину для накачивания воды и делали необходимые приготовления, чтобы по очереди затопить свои виноградники.[302] Постоянно образуются новые ассоциации, для защиты от наводнений, для орошения и поддержания существующих уже оросительных канав, причем требование закона о единогласном желании всех крестьян данного соседства не является препятствием. В других местностях мы находим сырные или молочные ассоциации, причем некоторые из них делят сыр и масло на равные части, независимо от удойности каждой коровы. В Арьеже существует ассоциация восьми отдельных общин для совместной культуры их земель, которые они соединили в одну; в том же самом департаменте, из 337-ми общин в 172-х организованы синдикаты для бесплатной медицинской помощи; в связи с синдикатами возникают общества потребителей и т. д.[303] «Истинная революция совершается в наших деревнях, — говорит Alfred Baudrillart, при посредстве этих ассоциаций, которые принимают в каждой области Франции свой особый характер».

Почти то же самое можно сказать и о Германии. Везде, где крестьяне смогли остановить разграбление своих общинных земель, они держат их в общинном владении, которое широко преобладает в Вюртемберге Бадене, Гогенцоллерне и Гессенской провинции, Штаркенберге.[304] Общинные леса вообще содержатся в превосходном состоянии и в тысячах общин как строевой лес, так и лес на отопление ежегодно делится между всеми жителями; даже древний обычай Lesholztag до сих пор пользуется широким распространением: по звону колокола на деревенской колокольне все жители деревни отправляются в лес, чтобы унести из него столько топлива, сколько сможет каждый.[305] В Вестфалии имеются общины, в которых вся земля обрабатывается, как одно общее имение, согласно с требованиями современной агрономии. Что же касается древних общинных обычаев и навыков, то они до сих пор в силе в большей части Германии. Приглашение на «помочи», являющиеся действительными праздниками труда, вполне обычное явление в Вестфалии, Рессене и Нассау. В областях, изобилующих строевым лесом, лес на постройку

нового дома берется обыкновенно из общинного леса, и все соседи помогают в постройке. Даже в предместьях большого города Франкфурта, существует среди садовников обычай, в случае болезни одного из них приходиться по воскресеньям обрабатывать сад больного товарища.[306]

В Германии, как и во Франции, как только правители народа отменили законы, направленные против крестьянских ассоциаций — что случилось в 1884–1888 годах — этого рода союзы начали развиваться с поразительной быстротой, несмотря на всякого рода препятствия со стороны закона, далеко им неблагоприятствовавшего.[307] «Фактически», — говорит Бухенбергер, — «вследствие этих ассоциаций, в тысячах деревенских общин, в которых раньше ничего не знали ни о химических удобрениях, ни о рациональном кормлении скота, теперь и то и другое применяется в небывалых размерах» (т. II, стр. 507) При помощи этих ассоциаций покупаются всякого рода сберегающие труд орудия и земледельческие машины, а равным образом вводятся различные приспособления для улучшения качества продуктов. Образуются также союзы для продажи земледельческих продуктов и для постоянного улучшения земельных участков.[308]

С точки зрения социальной экономики, все эти крестьянские усилия, конечно, не представляют большого значения. Они не могут существенно — а тем менее прочно — облегчить ту нищету, на которую обречены земледельческие классы всей Европы. Но с этической точки зрения, которая занимает нас в данное время, их значение не может быть переоценено. Они доказывают, что даже при системе господствующего теперь необузданного индивидуализма, земледельческие массы благоговейно хранят полученное ими наследие взаимной помощи, и как только государства ослабляют железные законы, при помощи которых они разорвали все узы между людьми, эти узы тотчас возобновляются, несмотря на многочисленные политические, экономические и социальные затруднения, причем возобновляются в таких формах, которые наилучше соответствуют современным требованиям производства. Они указывают также на направления, в которых следует искать дальнейшего прогресса, и на формы, в которые они стремятся вылиться.

Легко можно было бы увеличить количество таких примеров, беря их из Италии, Испании, и особенно Дании и т. д., и можно было бы указать на некоторые весьма интересные черты, свойственные каждой из этих стран.[309] Следовало бы также упомянуть о славянском населении Австрии и Балканского полуострова, среди которого до сих пор существует «сложная семья» или «неделенное хозяйство».[310] Но я спешу перейти к России, где то же стремление ко взаимной помощи облекается в некоторые новые и неожиданные формы. Кроме того, рассматривая деревенскую общину в России, мы имеем то преимущество, что обладаем огромным количеством материала, собранного во время колоссальной подворной переписи, предпринятой некоторыми земствами и охватывающей население почти в 20.000.000 крестьян в различных частях России.[311]

Из огромного количества данных, собранных русскими переписями, можно извлечь два важных вывода. В средней России, где одна треть крестьянского населения, если не более, была доведена до совершенного разорения (тяжелыми налогами, крохотными наделами плохой земли, высокою арендную платою и чрезвычайно суровым взысканием податей после полных неурожаев), видно было в продолжение первых двадцати пяти лет после

освобождения крестьян от крепостной зависимости, решительное стремление к установлению личной земельной собственности в пределах деревенских общин. Многие обедневшие «безлошадные» крестьяне бросали свои наделы, и их земля часто переходила в собственность тех более богатых крестьян, которые, занимаясь торговлей, имели добавочные источники дохода, или же попадала в руки посторонних купцов, покупавших землю главным образом для того, чтобы сдавать ее впоследствии крестьянам же, по непомерно высоким арендным ценам. Должно также заметить, что вследствие недосмотра в Положении 1861 года, представилась широкая возможность скупать крестьянские земли по очень дешевой цене,[312] а государственные чиновники в свою очередь употребляли свое могущественное влияние в пользу частного владения и относились отрицательно к владению общинному. Однако, начиная с восьмидесятых годов, наблюдается также и сильная оппозиция в средней России против личного владения, и средние крестьяне, занимающие срединное положение между богачами и бедными, употребляют энергические усилия для поддержания общины. Что же касается до плодородных южных степей, являющихся в настоящее время наиболее населенными и богатыми частями Европейской России, то они были главным образом заселены в течение девятнадцатого века, при системе личного владения, или захвата, признанного в этой форме государством. Но с тех пор, как в южной России были введены, при помощи машин, улучшенные методы земледелия, крестьяне-собственники постепенно начали сами переходить от личного владения к общинному, и теперь в этой житнице России можно найти довольно значительное количество добровольно сформировавшихся деревенских общин, очень недавнего происхождения.[313]

Крым и часть материка, лежащая к северу от него (Таврическая губерния), для которых у нас имеются подробные данные, лучше всего могут послужить для пояснения этого движения. После присоединения к России, в 1783 году, эта местность начала заселяться выходцами из Великороссии, Малороссии и Белороссии — казаками, свободными людьми и бежавшими крепостными, — которые, по одиночке или небольшими группами, стекались сюда со всех углов России. Сначала они принялись за скотоводство, а позднее, когда они начали распаивать землю, каждый распаивал столько, сколько мог. Но когда, вследствие продолжавшегося наплыва переселенцев и введения усовершенствованных плугов, возрос спрос на землю, между поселившимися здесь поднялись ожесточенные споры. Споры тянулись по целым годам, пока, наконец, эти люди, ранее не связанные никакими взаимными узами, пришли постепенно к мысли, что необходимо положить конец раздорам, введя общинное землевладение. Тогда они начали составлять приговоры, согласно которым, земля, которую они до того владели лично, переходила в общинное владение; и вслед затем они начали делить и переделывать эту землю, согласно установившимся в деревенских общинах обычаям. Это движение постепенно приняло обширные размеры, и на сравнительно небольшой территории таврические статистики нашли 161 деревню, в которых общинное владение было введено самими крестьянами-собственниками, вместо частной собственности, главным образом, в течение 1855–1885 годов. Поселенцы, таким образом, свободно выработали самые разнообразные типы деревенской общины.[314] Особенный интерес этому переходу от личного землевладения к общему придает еще то, что он совершился не только среди великороссов, привыкших к общинной жизни, но и среди малороссов, давно забывших об общине под польским владычеством, а также среди греков и болгар, и даже среди немцев, которые давно уже успели выработать в своих цветущих

полупромышленных колониях на Волге собственный тип деревенской общины.[315] Татары-мусульмане в Таврической губернии, очевидно, продолжали владеть землёю по мусульманскому обычному праву, допускающему лишь ограниченное личное землевладение; но даже среди них, в некоторых немногих случаях, привилась европейская деревенская община. Что же касается до других национальностей, населяющих Таврическую губернию, то частное владение было уничтожено в шести эстонских деревнях, в двух греческих, в двух болгарских, в одной чешской и в одной немецкой.

Вышеуказанное движение характерно для всей области плодородных степей юга. Но отдельные аналогичные примеры можно встретить также и в Малороссии. Так, в некотором количестве деревень, Черниговской губернии, крестьяне раньше были частными земельными собственниками; они имели отдельные законные документы на свои участки и распоряжалась землёю самовольно, отдавая её в аренду, или продавая. Но в пятидесятых годах девятнадцатого века, между ними началось движение в пользу общинного владения, причем главным доводом служило возрастание числа обедневших семейств. Инициатива этой реформы была взята одной деревней, а за ней последовали другие, и последний случай, упоминаемый В. В., относился к 1882 году. Конечно, происходили стычки между бедными крестьянами, требовавшими перехода к общинному владению, и богачами, обыкновенно предпочитающими частную собственность, и иногда борьба продолжалась целые годы. В некоторых местностях единогласное решение всей общины, требуемое законом для перехода к новой форме землевладения, не могло быть достигнуто, и деревня тогда делилась на две части, одна оставалась при частном владении землёю, а другая переходила к общинному; иногда они позднее сливались в одну общину, а иногда так и оставалась каждая при своей форме землевладения.

Что же касается до центральной России, то во многих деревнях, население которых склонялось к частному владению, начиная с 1880 года, возникло массовое движение в пользу восстановления деревенской общины. Даже крестьяне-собственники, годами жившие при личном землевладении, массою возвращаются к общинным институциям. Так, например, имеется значительное количество бывших дворовых, получивших лишь четвертной надел, но зато без выкупа и на правах частной собственности. В 1890 году, между ними началось широкое движение (в Курской, Рязанской, Тамбовской и др. губерниях), целью которого было сведение воедино их участков на основе общинного владения. Точно также «вольные хлебопашцы», которые были освобождены от крепостной зависимости по закону 1803 года, и которые купили свои наделы — каждая семья порознь, — теперь почти все перешли к добровольно введённой ими общинной системе. Все эти движения относятся к очень недавнему времени, причём в них принимают участие и крестьяне других национальностей, помимо русской. Так, например, болгары Тираспольского уезда, которые владели землёю в течение шестидесяти лет на правах частной собственности, ввели у себя общинное владение в 1876–1882 годах. Немецкие меннониты, Бердянского уезда, боролись в 1890 году за введение общинного владения, а мелкие крестьяне-собственники (Klienwirthschaftliche), среди немецких баптистов, агитировали в своих деревнях за проведение подобной же меры. В заключение, приведу ещё один пример: в Самарской губернии русское правительство устроило, ради опыта, в сороковых годах прошлого столетия, 103 деревни на правах частного землевладения. Каждый домохозяин получил превосходный надел в 40 десятин. В 1890 году, в 72-х

деревнях из этих 103-х, крестьяне выразили желание перейти к общинному владению. Все эти факты заимствую из превосходного труда г. В. В., который в свою очередь лишь классифицировал факты, отмеченные земскими статистиками во время вышеупомянутых подворных описей.

Такое движение в пользу общинного владения идёт совершенно вразрез с современными экономическими теориями, согласно которым интенсивная обработка земли несовместима с деревенской общиной. Но, выражаясь мягко об этих теориях, можно сказать лишь одно, — что они никогда не проходили чрез горнило фактического испытания: они целиком принадлежат к области политической метафизики. Факты же, имеющиеся пред нашими глазами, указывают, напротив, что везде, где русские крестьяне, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, оказывались менее в когтях нищеты, и везде, где они находили сведущих и обладающих инициативой людей среди своих соседей, деревенская община, именно, способствовала введению различных усовершенствований в области земледелия и, вообще, в деревенской жизни. Здесь, как и повсюду, взаимная помощь скорее и лучше ведёт к прогрессу, чем война каждого против всех, как это можно видеть из нижеследующих фактов. Мы видели уже (приложение XVI-e), как современные английские крестьяне, там, где уцелела община, обращали паровое поле в поля для бобовых растений и корнеплодных. То же начинается и в России.

При Николае I-м многие государственные чиновники и помещики заставляли крестьян вводить общественные запашки на небольших участках принадлежавшей деревне земли, с целью пополнения общинных хлебных магазинов. Подобные запашки, связанные в умах крестьян с наихудшими воспоминаниями о крепостном праве, были прекращены ими, тотчас же после падения крепостного строя; но теперь крестьяне начинают кое-где заводить их по собственному почину. В одном уезде (Острогожском, Курской губ.) достаточно было инициативы одного лица, чтобы ввести подобные запашки в четырёх пятых всех деревень уезда. То же самое наблюдается и в некоторых других местностях. В назначенный день общинники собираются на работу: богатые с плугами или телегами, а более бедные приносят на общественную работу лишь собственные руки, причём не делается никаких попыток высчитывать, сколько кто сработал. Впоследствии сбор с общественной запашки идёт на ссуды беднейшим общинникам, — большею частью, безвозвратно или же употребляется на поддержку сирот и вдов, или на ремонт деревенской церкви или школы, или, наконец, для уплаты какого-нибудь мирского долга.[316]

Как и можно ожидать от людей, живущих при системе деревенской общины, все работы, входящие, так сказать, в рутину деревенской жизни, (починка дорог и мостов, устройство плотин и гатей, осушение болот, оросительные каналы и колодцы, рубка леса, посадка деревьев и т. д.) производятся целыми общинами, точно также земля сплошь да рядом арендуется сообща, а луга косятся всем миром, — причём на работу выходят старые и малые, мужчины и женщины, как это превосходно описал Л. Н. Толстой.[317] Подобного рода работы ежедневно происходят повсеместно в России; но при этом, деревенская община вовсе не чуждается современных земледельческих улучшений, когда ей по силам провести соответственные издержки, когда знание, бывшее до сих пор привилегией богатых, проникает, наконец, в деревенские избы.

Мы уже указали выше, что усовершенствованные плуги быстро распространяются в южной России; но при этом оказывается, что во многих случаях, именно деревенские общины содействовали этому распространению. Бывало и так, когда плуг был куплен общиной, что, после пробы его на участке общинной земли, крестьяне указывали на необходимые изменения тем, у кого был куплен плуг; или же сами оказывали помощь, для устройства кустарной выделки дешёвых плугов. В Московском уезде, где недавно, в течение пяти лет, было куплено крестьянами 1565 плугов, толчок был дан теми общинами, которые сообща арендовали землю, и сделано это было для специальной цели улучшения своего земледелия.

На северо-востоке России, в Вятской губернии, небольшие товарищества крестьян, путешествовавших со своими веялками (выделяемые кустарями в одном из уездов, изобилующих железом), распространили употребление этих веялок у себя и даже на соседние губернии. Широкое распространение молотилок в Самарской, Саратовской и Херсонской губерниях является результатом деятельности крестьянских товариществ, которые могут купить даже дорогую машину, тогда как отдельному крестьянину такая покупка не под силу. И в то время как почти во всех экономических трактатах заявляется, что деревенская община обречена на исчезновение, как только трёхпольная система будет заменена плодопеременной, мы видим, что в России многие деревенские общины берут на себя инициативу введения именно этой плодопеременной системы, так же как они сделали в Англии. Но прежде, чем перейти к ней, крестьяне обыкновенно отводят часть общинных полей для производства опыта искусственного травосеяния, причём семена покупаются миром.[318] Если опыт оказывается успешным, крестьяне не затрудняются сделать новый передел полей, чтобы перейти на четырехпольное, пятипольное или даже на шестипольное хозяйство.

Эта система практикуется теперь в сотнях деревень Московской, Тверской, Смоленской, Вятской и Псковской губерний.[319] А там, где возможно для этой цели уделить некоторое количество земли, общины отводят участки для разведения фруктовых насаждений. Наконец, внезапное распространение, наблюдаемое в последнее время в России, небольших школьных ферм, садов, огородов и тутовых насаждений для шелководства — начало которым было положено при деревенских школах под наблюдением школьных учителей, а иногда и добровольцев — также является результатом той поддержки, которую подобные начинания встретили в деревенских общинах.

Кроме того, общины довольно часто предпринимают постоянные улучшения, как осушение и орошение. Так, например, в трёх уездах Московской губернии, в значительной степени носящих промышленный характер, в течение последних десяти лет (1880-1890), были выполнены в широких размерах работы по осушению не менее чем в 180-200 различных деревнях, причём работали заступом сами общинники. На другом конце России, в сухих степях Новоузенского уезда, было воздвигнуто общинами больше 1000 плотин для прудов и копаней, и вырыто было несколько сотен глубоких колодцев; в то же время, в одной богатой немецкой колонии, на юго-востоке России, общинники — мужчины и женщины — работали пять недель подряд над возведением плотины, в три версты длиною, для оросительных целей. Да и как могли бы бороться с сущим климатом изолированные люди? И чего могли бы они достичь личными усилиями в ту пору, когда южная Россия страдала от размножения

сурков, и всем землевладельцам, богатым и бедным, общинникам и индивидуалистам, пришлось прилагать работу собственных рук, чтобы предотвратить бедствие? Полиция, в таких случаях, не поможет, и единственным средством является объединение.

Сказавши так много о взаимной помощи и о поддержке, практикуемых земледельцами «цивилизованных» стран, я вижу, что мог бы ещё наполнить довольно объёмистый том примерами, взятыми из жизни сотен, миллионов людей, живущих, более или менее, под начальством или покровительством, более или менее цивилизованных государств, но всё-таки ещё стоящих в стороне от современной цивилизации и современных знаний. Я мог бы описать, например, внутреннюю жизнь турецкой деревни, с её сетью удивительных обычаев и навыков взаимной помощи. Пересматривая книжки моих выписок касательно крестьянской жизни на Кавказе, я нахожу самые трогательные факты взаимной поддержки. Те же самые обычаи я нахожу в моих заметках об арабской djemtâa, афганской rigga, о деревнях Персии, Индии и Явы, о неделённой семье китайцев, о кочевьях полуномадов Средней Азии и о номадах далекого Севера. Просматривая заметки, взятые отчасти наудачу из обширнейшей литературы об Африке, я нахожу, что они переполнены подобными же фактами: здесь также созываются «помочи» для уборки посевов, дома также строятся при помощи всех жителей деревни — иногда, чтобы исправить разрушение, причинённое набегом «цивилизованных» разбойников; целые племена в некоторых случаях помогают друг другу в несчастьи, или же покровительствуют путешественникам, и т. д., и т. д. Когда же я обращаюсь к таким трудам, как сводка африканского обычного права, сделанная Post'ом, то я начинаю понимать, почему, несмотря на всю тиранию, на все притеснения, грабежи и набеги, несмотря на междуродовые войны, на королей-людоедов, на шарлатанов-колдунов и жрецов, на охотников за рабами и т. п., население этих стран всё-таки не разбежалось по лесам; почему оно сохранило известную степень цивилизации, почему эти «дикари» всё-таки остались людьми, не опустились до уровня бродячих семей, подобно вымирающим орангутангам. Дело в том, что охотники за рабами, грабители запасов слоновой кости, воинствующие короли, матабельские и мадагаскарские «герои» исчезают, оставляя после себя лишь следы, отмеченные кровью и огнём; но ядро институций, обычаев и навыков взаимной помощи, выращенное родом, а в последствии деревенскою общиною, остается, и оно держит людей объединенными в обществах открытых для прогресса цивилизации и готовых принять её при наступлении того дня, когда они вместо пуль и водки, начнут получать настоящую цивилизацию.

То же самое можно сказать и о нашем цивилизованном мире. Естественные и вызванные человеком бедствия проходят. Целые населения периодически доводятся до нищеты и голода; самые жизненные стремления безжалостно подавляются у миллионов людей, доведённых до городского пауперизма; мысль и чувства миллионов человеческих существ отравляются учениями, измышленными в интересах немногих. Несомненно, все эти явления составляют часть нашего существования. Но ядро институций, обычаев и навыков взаимной помощи продолжает существовать среди этих миллионов людей, оно объединяет их; и люди предпочитают держаться за эти свои обычаи, верования и традиции, чем принять учение о войне каждого против всех, предлагаемое им от имени науки, но в действительности ничего общего с наукой не имеющее.

Глава VIII. Взаимная помощь в современном обществе (Продолжение)

- Рост рабочих союзов после разрушения гильдий государством.
- Их борьба.
- Взаимная помощь при стачках.
- Кооперация.
- Свободные ассоциации для различных целей.
- Самопожертвование.
- Бесчисленные общества для объединённых действий со всевозможными целями.
- Взаимная помощь среди беднейшего населения городов.
- Личная помощь.

Рассматривая повседневную жизнь деревенского населения Европы, мы видели, что, несмотря на все старания современных государств разрушить деревенскую общину, — жизнь крестьян переполнена навыками и обычаями взаимной помощи и взаимной поддержки; мы нашли, что широко распространенные и имеющие до сих пор серьёзное значение остатки общинного владения землёй сохранились поныне, и что как только были сняты, в недавнее время, законодательные препятствия, мешавшие возникновению деревенских ассоциаций, среди крестьянства везде быстро возникла целая сеть свободных союзов для всевозможных экономических целей; причём это молодое движение, несомненно, проявляет тенденцию восстановить известного рода единение, подобное тому, которое существовало в прежней деревенской общине. Таковы были заключения, к которым мы пришли в предыдущей главе; а потому теперь мы займёмся рассмотрением тех институций взаимной поддержки, которые можно найти в настоящее время среди промышленного населения.

В течение последних трёх столетий условия для выработки таких институций были так же неблагоприятны в городах, как и в деревнях. Известно, в самом деле, что когда средневековые города были подчинены, в шестнадцатом веке, господству возраставших тогда военных государств, все учреждения, объединявшие ремесленников, мастеров и купцов в гильдиях и в городских общинах, были насильственным образом разрушены. Самоуправление и собственная юрисдикция, как гильдии, так и города, были уничтожены; присяга на верность между братьями по гильдии стала рассматриваться как проявление измены по отношению к государству; имущество гильдий было конфисковано, тем же путём, как и земли деревенских общин; внутренняя и техническая организации каждой

области труда попали в руки государства. Законы, делаясь постепенно всё суровее, всячески старались помешать ремесленникам объединяться каким бы то ни было образом. В продолжение некоторого времени государство терпело ещё слабое подобие прежних гильдий; разрешено было, например, существование торговых гильдий, под условием, что они будут щедро субсидировать королей; терпели также существование некоторых ремесленных гильдий, которыми государство пользовалось, как органами администрации. Некоторые из гильдий последнего рода даже до сих пор ещё влачат своё ненужное существование. Но то, что раньше было жизненной силой средневековой жизни и промышленности, давно уже исчезло под сокрушающею тяжестью централизованного государства.

В Великобритании, которая может быть взята, как наилучший пример промышленной политики современных государств, мы видим, что уже в пятнадцатом веке парламент начал дело разрушения гильдий; но решительные меры против них были приняты лишь в следующем столетии. Генрих VIII не только разрушил организацию гильдий, но также конфисковал их имущества; с большей бесцеремонностью — говорит Toulmin Smith, — чем он проявил при конфискации монастырских имуществ.[320] Эдуард VI закончил его дело,[321] и уже во второй половине шестнадцатого столетия мы находим, что парламент взял на себя разрешать все недоразумения между ремесленниками и торговцами, которые раньше разрешались в каждом городе отдельно. Парламент и король не только присвоили себе право законодательства во всех подобных пререканиях, но, имея в виду сопряжённые с заграничным вывозом интересы короны, они вскоре начали определять нужное, по их мнению, количество учеников в каждом ремесле и детальнейшим образом регулировать самую технику каждого производства — вес материй, число ниток в ярде ткани, и т. п. Должно, однако, сказать, что эти старания не увенчались успехом, так как всякого рода споры и технические затруднения, в течение ряда столетий разрешавшиеся соглашением между тесно зависящими друг от друга гильдиями и между вступавшими в союз городами, лежат совершенно вне сферы деятельности бюрократического государства. Постоянное вмешательство государственных чиновников парализовало ремесла и довело большинство из них до полного упадка; а потому экономисты восемнадцатого века, восставая против государственного регулирования производств, выражали вполне справедливое и распространённое тогда недовольство. Уничтожение французскою революциею этого рода вмешательства бюрократии в промышленность приветствовалось, как акт освобождения; и вскоре другие страны последовали примеру Франции.

Государство не могло похвалиться лучшим успехом и в деле регулирования заработной платы. В средневековых городах, когда, в пятнадцатом веке, начало всё резче обозначаться разделение между мастерами и их подмастерьями или подёнщиками, подмастерья выставили свои союзы (Gesellenverbände), принимавшие иногда интернациональный характер, против союзов мастеров и купцов. Теперь государство взяло на себя улаживать их споры, и по статуту Елисаветы, 1563 года, на мировых судей была возложена обязанность устанавливать размер заработной платы, так, чтобы она обеспечивала «благоприличное» существование подёнщикам и ученикам. Мировые судьи, однако, оказались совершенно беспомощными в деле примирения противоположных интересов хозяев и рабочих, и никак не могли принудить мастеров подчиняться судебским решениям. Закон о заработной плате постепенно обратился, таким образом, в мёртвую букву и был отменён в конце

восемнадцатого века. Но в то время как государство принуждено было отказаться от функции регулирования заработной платы, оно, тем не менее, продолжало сурово запрещать всякого рода союзы между подёнщиками и мастерами с целью увеличения заработной платы или удержания последней на известном уровне. В течение всего восемнадцатого века государство издавало законы, направленные против рабочих союзов, и в 1799 году оно окончательно запретило всякого рода комбинации рабочих под угрозой самых суровых наказаний. Фактически, британский парламент лишь следовал в этом случае примеру Французского революционного Конвента, который тоже издал в 1793 году драконовский закон против рабочих коалиций; коалиции между известным числом граждан рассматривались революционным собранием, как покушения против верховной власти государства, о котором предполагалось, что оно в равной мере охраняет всех своих подданных. Дело разрушения средневековых союзов было, таким образом, закончено. Теперь, и в городе, и в деревне государство царствовало над малосвязанными между собою агрегатами отдельных личностей и готово было самыми суровыми мерами предотвращать всякую попытку восстановления каких бы то ни было особых союзов между ними. Таковы были те условия, при которых стремлению к взаимной помощи приходилось пролагать себе путь в девятнадцатом веке.

Нужно ли говорить, однако, что все указанные сейчас меры всё-таки не в силах были уничтожить это стремление? В продолжение восемнадцатого века, рабочие союзы постоянно восстанавливались.[322] Не были они приостановлены и теми жестокими преследованиями, которые явились результатом законов 1797-го и 1799-го г. Рабочие пользовались каждым недосмотром в законе и в установленном им надзоре, каждым промедлением со стороны мастеров, обязанных доносить об образовании союзов, чтобы спланироваться между собой. Под покровом дружеских сообществ взаимной помощи (friendly societies), похоронных клубов, или же тайных братств, союзы распространялись повсеместно: в ткацкой промышленности, среди рабочих ножевого ремесла в Шеффилде, среди рудокопов, и при этом формировались также энергичные федеральные организации, чтобы поддерживать местные союзы во время стачек и преследований.[323]

Отмена закона против коалиций или комбинаций (Combination Laws), в 1825 году, дала новый толчок движению. Во всех производствах немедленно были организованы союзы и национальные федерации,[324] а когда Роберт Оуэн начал организацию своего «Великого Консолидированного Национального Союза» профессиональных союзов, то в несколько месяцев ему удалось собрать до полумиллиона членов. Правда, этот период относительной свободы продолжался недолго. Преследования снова начались в тридцатых годах, а в промежуток между 1832 и 1844 годом последовали известные свирепые судебные приговоры против рабочих организаций со ссылкой на каторгу в Австралию. Оуэновский «Великий Национальный Союз» был распущен, и по всей стране, как частные предприниматели, так ровно и правительство в своих мастерских, начали принуждать рабочих порывать всякие связи с союзами и подписывать «документ», то есть отречение, составленное в этом смысле. Юнионистов (членов рабочих союзов) преследовали массами, и их подводили под действие закона «О хозяевах и их слугах», в силу которого довольно было простого заявления хозяина фабрики о якобы дурном поведении его рабочих,[325] чтобы массами арестовывать и их осуждать.

Стачки подавлялись самым деспотическим путём, и поразительные по своей суровости приговоры выносились за простое объявление о стачке, или за участие в качестве делегата стачечников, — не говоря уже о подавлениях военным путём малейших беспорядков во время стачек, или об осуждениях, следовавших за частыми проявлениями разного рода насилий со стороны рабочих. Практика взаимной помощи, при подобных обстоятельствах, являлась далеко не лёгким делом. И всё-таки, несмотря на все препятствия, о размерах которых наше поколение не имеет даже должного представления, уже с 1841 года началось возрождение рабочих союзов, и дело объединения рабочих неустанно продолжалось с тех пор, вплоть до настоящего времени, пока, наконец, после долгой борьбы, длившейся более ста лет, не было завоевано право вступать в союзы. В настоящее время, как известно, почти четверть всех рабочих, имеющих постоянную работу, т. е. около 1.500.000 человек принадлежат к рабочим союзам (тред-юнионам).[326]

Что же касается других европейских государств, то достаточно сказать, что вплоть до очень недавнего времени всякого рода союзы преследовались в них, как заговоры; но, не смотря на это, они существуют везде, хотя им часто приходится принимать форму тайных обществ, в то же время распространение и сила рабочих организаций, в особенности «рыцарей труда» в Соединённых Штатах и рабочих союзов Бельгии ярко проявились в стачках девяностых годов девятнадцатого века.

Необходимо, однако, помнить, что самый факт принадлежности к рабочему союзу помимо возможных преследований требует значительных пожертвований деньгами, временем и неоплаченной работой, и влечёт за собой постоянный риск потерять работу за одну лишь принадлежность к рабочему союзу.[327] Кроме того, юнионисту постоянно приходится помнить о возможности стачки, а стачка — когда исчерпан весь ограниченный кредит у хлебника и закладчика, а платы из стачечного фонда не хватает на пропитание семьи, — ведёт за собою голодание детей. Для людей, живущих в близком общении с рабочими, затянувшаяся стачка представляет одно из самых раздирающих сердце зрелищ; легко можно поэтому вообразить, что значила стачка лет сорок тому назад в Англии, и что она значит ещё до сих пор в неособенно богатых частях континентальной Европы. Постоянно, даже в настоящее время, стачка заканчивается полным разорением и вынужденною эмиграциею чуть не целого населения данной местности, причём расстреливание стачечников по малейшему поводу, или даже и без всякого повода, до сих пор представляет самое обычное явление на континенте.[328]

И тем не менее, каждый год, в Европе и Америке бывают тысячи стачек и массовых увольнений с работы, — причем особенно суровостью и продолжительностью отличаются так называемые стачки «по симпатии», вызываемые желанием поддержать выброшенных с работы товарищей; или отстаивать права рабочих союзов. И в то время как реакционная часть прессы склонна объяснять стачки «устрашением», люди, живущие среди стачечников, с восхищением говорят о практикуемой между ними взаимной помощи и поддержке. Многие, вероятно, слышали о колоссальной работе, выполнявшейся рабочими-добровольцами для организации помощи и раздачи пищи во время последней большой стачки лондонских токовых рабочих; или о рудокопах, которые, пробывши сами без работы в течение многих недель, тотчас же начали делать взносы в размере четырёх шиллингов в неделю, в стачечный фонд, как только опять стали на работу; или о вдове рудокопа, которая, во время

Йоркширских рабочих волнений 1894 года, внесла все сбережения своего покойного мужа в стачечный фонд; о том, как во время стачки последний кусок хлеба всегда делился между соседями, о редстокских рудокопах, обладающих обширными огородами, которые пригласили 400 бристольских сотоварищей брать с этих огородов капусту, картофель и т. д. Все газетные корреспонденты, во время крупной стачки рудокопов в Йоркшире в 1894 году, знали массу подобных фактов, хотя далеко не все эти корреспонденты осмеливались писать о подобных неподходящих «пустяках» на страницах своих респектабельных газет.[329]

Профессиональный рабочий союз не составляет, однако, единственной формы, в которой выливается потребность рабочего во взаимной поддержке. Помимо рабочих союзов, имеются ещё политические ассоциации, деятельность которых многими рабочими рассматривается, как более ведущая к общему благосостоянию, чем профессиональные союзы, которые теперь ограничиваются, большею частью, одними узкими целями. Конечно, простую принадлежность к политической корпорации нельзя ещё рассматривать как проявление стремления ко взаимной помощи. Политика, как известно, представляет именно такую область, где чисто эгоистические элементы общества вступают в самые запутанные сочетания с альтруистическими стремлениями. Но всякий опытный политический деятель знает, что все великие политические движения поднимались из-за широких и часто отдалённых целей, причём самыми могучими из этих движений были именно те, которые вызывали наиболее бескорыстный энтузиазм. Все великие исторические движения носили этот характер, а для нашего поколения примером этого рода движений служит социализм. «Дело оплаченных агитаторов» — таков обычный припев тех, кто вовсе не знаком с этим движением. Но в действительности, говоря лишь о фактах лично мне известных, — если бы я в течение последних тридцати пяти лет вёл дневник и заносил бы в него все известные мне примеры преданности и самопожертвования, на которые мне приходилось наталкиваться в социалистическом движении, — у читателя такого дневника слово «героизм» не сходило бы с уст. Но люди, о которых мне приходилось бы говорить в дневнике, вовсе не были героями: это были средние люди, — только вдохновлённые великой идеей. Каждая социалистическая газета, — а их в одной Европе насчитываются многие сотни, — представляет ту же самую историю долгих лет самопожертвования, без малейшей надежды на какую-либо материальную выгоду, а в громадном большинстве случаев даже без удовлетворения личного честолюбия, если таковое имеется. Я знал семьи, которые жили, не зная, будет ли у них завтра кусок хлеба, — мужа бойкотировали кругом в маленьком городке, за участие в газете, а жена поддерживала семью швейной работой, — и подобное положение продолжалось не месяцы, а годы, пока, наконец, изнемогшая семья не уходила, без слова упрека, говоря новым товарищам: «Продолжайте; мы больше не в силах держаться!» Я видал людей, умиравших от чахотки и знавших это, которые, тем не менее, бегали в слякоти, под снегом, чтобы устраивать митинги, и сами говорили на митингах за несколько недель до смерти, и, наконец, уходили в госпиталь, со словами: «Ну, друзья, моя песенка спета: доктора решили, что мне осталось жить всего несколько недель. Скажите товарищам, что я буду, счастлив если кто зайдет проведать». Мне известны факты, которые сочли бы с моей стороны «идеализацией», если бы я рассказал о них в настоящей книге; и даже самые имена этих людей, едва известные за пределом тесного кружка друзей, вскоре будут забыты, когда и друзья их также отойдут в вечность. В сущности, я не знаю чему больше удивляться: безграничной ли преданности этих немногих, или общей сумме более мелких проявлений преданности со стороны масс, затронутых движением. Продажа

каждого десятка номеров рабочей газеты, каждый митинг, каждая сотня голосов, поданная за социалистов на выборах, являются результатом такой массы энергии и таких жертв, о которых люди, стоящие вне движения, не имеют даже ни малейшего представления. А так, как теперь действуют социалисты, действовала в прошлом каждая народная и прогрессивная партия, политическая и религиозная. Весь прогресс, совершённый нами в прошлом, является результатом работы подобных людей и подобной же преданности.

Кооперацию, в особенности в Великобритании, часто описывают как «индивидуализм на акциях» и несомненно, что в настоящем своём виде она, действительно, содействует развитию кооперативного эгоизма, не только по отношению к обществу вообще, но и в среде самих кооператоров. Между тем, достоверно известно что, вначале, этому движению был присущ характер взаимной помощи. Даже в настоящее время наиболее пламенные сторонники этого движения проникнуты убеждением, что кооперация ведёт человечество к высшей, гармонической стадии экономических отношений и, побывавши в некоторых местностях севера Англии, где кооперация особенно развита, нельзя не придти к заключению, что значительное количество участников этого движения держится именно такого мнения. Большинство из них потеряло бы всякий интерес к кооперативному движению, если бы у них исчезла упомянутая сейчас уверенность. Нужно также сказать, что за последние годы среди кооператоров начали проявляться более широкие идеалы общего благосостояния и солидарности производителей. Нельзя отрицать проявляющуюся теперь среди них тенденцию, направленную к улучшению отношений между собственниками кооперативных производств и их рабочими.

Значение кооперации в Англии, Голландии и Дании хорошо известно, а в Германии, в особенности на Рейне, уже в настоящее время кооперативные общества являются крупным фактором промышленной жизни.[330] Но, быть может, Россия представляет наилучшее поле для изучения кооперации в бесконечно разнообразных формах. В России кооперация, т. е. артель, выросла естественным образом; она унаследована от средних веков, и в то время, как формально образовавшемуся кооперативному обществу пришлось бы бороться с кучей законных затруднений и с подозрительностью бюрократии, неоформленный вид кооперации — артель — представляет самую сущность русской крестьянской жизни. История «созидания России» и колонизация Сибири представляются в действительности историей охотничьих и промышленных артелей, вслед за которыми потянулись деревенские общины. Теперь мы находим артель повсюду: в каждой группе крестьян, отправляющихся из одной и той же деревни на заработки на фабрику, во всех строительных ремёслах, среди рыбаков и охотников, среди арестантов на пути в Сибирь и обратно, среди железнодорожных носильщиков, биржевых артельщиков, таможенных рабочих, в многих из кустарных производств (дающих занятие 7.000.000 людей) и т. д. Словом, сверху донизу, во всём рабочем мире мы находим артели: постоянные и временные, для производства и потребления во всевозможных видах. Вплоть до настоящего времени рыболовные участки на реках, впадающих в Каспийское море, арендуются громадными артелями; река Урал принадлежит всему казачьему уральскому войску, которое делит и переделывает свои рыболовные участки — едва ли не самые богатые в мире — между казачьими деревнями, без всякого вмешательства со стороны властей. На Урале, на Волге и на всех озерах северной России рыбная ловля всегда производится артелями. Но помимо этих постоянных организаций имеется также бесчисленное множество временных артелей, составляющихся

для всевозможных специальных целей. Когда 10–20 человек крестьян из одной местности отправляются в большой город на заработки, в качестве ли ткачей, плотников, каменщиков, судовщиков и т. д., они всегда составляют артель. Они сообща нанимают помещение и стряпку (очень часто жена одного из них занимается стряпней), выбирают старосту и питаются сообща, причем каждый платит артели за помещение и пищу. Партия арестантов на пути в Сибирь всегда поступает таким же образом, и выбранный ею староста является официально признанным посредником между арестантами и начальником военного конвоя, сопровождающего партию. В каторжных тюрьмах арестанты имеют такую же организацию. Железнодорожные носильщики, посыльные на бирже, таможенные артельщики и городские посыльные, связанные круговой порукой, пользуются такою репутациею, что купцы доверяют члену артели посыльных любую сумму денег. В строительном деле образуются артели, насчитывающие иногда десяток, а иногда и до двухсот, членов, причем крупные подрядчики по постройке домов и железных дорог всегда предпочитают иметь дело с артелью, чем с отдельно нанятыми рабочими. Недавние попытки военного министерства иметь дело непосредственно с производительными артелями, образовавшимися ради специальных производств среди кустарей, и давать им заказы на сапоги и всякого рода медные и железные изделия для обмундировки солдат, судя по отчетам, дали вполне удовлетворительные результаты, а отдача одного казенного завода (Боткинское) в аренду артели рабочих сопровождалась одно время положительным успехом.

Мы можем, таким образом, видеть в России, как древние средневековые институты, избежавшие вмешательства государства (в их неоформленных проявлениях), целиком дожили вплоть до настоящего времени и приняли самые разнообразные формы, в соответствии с требованиями современной промышленности и торговли. Что же касается до Балканского полуострова, Турецкой империи и Кавказа, то старые гильдии удержались здесь в полной силе. Сербские «еснафы» сохранили вполне средневековый характер: в их состав входят как мастера, так и подённые рабочие, они регулируют промыслы и являются институтами взаимной поддержки, как в области труда, так и на случай болезни;^[331] в то же время, грузинские «амкари» Кавказа и в особенности Тифлиса, помимо выполнения вышеуказанных функций, оказывают значительное влияние на городскую жизнь.^[332]

В связи с кооперацией мне, может быть, следовало бы также упомянуть о дружеских обществах взаимной поддержки (*friendly societies*), о союзах «чужаков» (*odd-fellovs*), о деревенских и городских клубах для оплаты медицинской помощи, о клубах для похорон, или для приобретения одежды, о маленьких клубах, часто устраиваемых среди фабричных девушек, вносящих еженедельно по несколько пенсов и затем разыгрывающих между собою сумму в двадцать шиллингов (10 руб.), которая дает возможность сделать какую-нибудь более или менее существенную покупку, и о многих других обществах подобного рода. Во всех таких обществах и клубах можно наблюдать немалый запас общительности и веселости, даже в тех случаях, когда за «кредитом и дебетом» каждого члена тщательно наблюдают. Но помимо этих учреждений, имеется столько ассоциаций, основанных на готовности жертвовать, если понадобится, временем, здоровьем и жизнью, что мы можем из их деятельности почерпнуть примеры наилучших форм взаимной поддержки.

На первом месте следует упомянуть здесь об обществе спасения на водах в Англии и о подобных же учреждениях на континенте. Английское общество имеет свыше 300

спасательных лодок на побережьях Англии, и оно имело бы их вдвое больше, если бы не бедность рыбаков, которые сами не могут покупать их. Экипаж этих лодок всегда составляется из добровольцев, готовность которых жертвовать жизнью для спасения совершенно неизвестных им людей подвергается каждый год суровому испытанию, и каждую зиму несколько храбрейших из них действительно погибают в волнах. И если вы спросите этих людей, — что заставляет их рисковать жизнью, иногда даже при таких условиях, когда нет, по-видимому, никаких шансов на успех, они, вероятно, ответят вам рассказом вроде следующего: «Над Ла-Маншем пронеслась страшная, снежная буря; она бушевала на плоских песчаных берегах в Кенте, где расположена была крохотная деревушка, и на пески возле деревушки море выбросило маленькое одномачтовое судно, нагруженное апельсинами. В таких мелких водах держат только плоскодонную спасательную лодку упрощенного типа, и пуститься на ней в такую бурю значило идти на верную гибель, — и однако люди решились и пошли. Целые часы боролись они против бурана; два раза лодка опрокинулась. Один из её гребцов утонул, остальные были выброшены на берег. Одного из последних, — интеллигентного таможенного стражника, — нашли на следующее утро, сильно ушибленного, полузамерзшего в снегу. Я спросил его, как они решились на такую отчаянную попытку? — «Я и сам не знаю», — отвечал он: — «Вон там, в море, гибли люди, вся деревня стояла на берегу, и все говорили, что пуститься в море было бы безумием, что мы никогда не справимся с прибоем. Мы видели, что их было на судне пять или шесть человек, уцепившихся за мачту и подававших отчаянные сигналы. Все чувствовали, что надо что-нибудь предпринять, но что могли мы сделать? Прошел час, другой, а мы все стояли на берегу; всем очень тяжело было на душе. Потом вдруг нам послышалось, что сквозь завывания бури донеслись их вопли... С ними был мальчик... Мы больше не могли вынести напряжения; все сразу сказали: «Надо выходить!» Женщины говорили то же; они смотрели бы на нас, как на трусов, если бы мы остались, — хотя на следующий день они же называли нас дураками за нашу попытку. Как один человек, мы все бросились к спасательной лодке и отправились. Лодку опрокинуло, но нам удалось снова поставить ее... Хуже всего было, когда несчастный N тонул, уцепившись за веревку от лодки, и мы никак не могли ему помочь. Затем нас захлестнуло огромной волной, лодку опять опрокинуло, и нас выбросило всех на берег. Люди с тонувшего судна были спасены лодкою из Донгенэса, а нашу лодку перехватили за много миль к западу. Меня нашли на утро в снегу».

То же чувство двигало и рудокопов долины Ронды, когда они спасали своих товарищей из шахты, подвергнувшейся наводнению. Им пришлось пробиваться чрез каменноугольный пласт, толщиной в 96 футов, чтобы добраться до заживо погребенных товарищей. Но когда уже оставалось пробить всего девять футов, их охватил рудничный газ. Лампы погасли, и рудокопам пришлось отступить. Работать при таких условиях — значило подвергаться риску каждую секунду быть взорванным и окончательно погубить тех. Но постукивания погребенных людей все еще слышались; эти люди были живы и зывали о помощи, и несколько рудокопов добровольно вызвались спасти товарищей, рискуя жизнью. Когда они спускались в шахту, жены сопровождали их безмолвными слезами — но ни одна не произнесла слова, чтобы остановить их. Такова сущность человеческой психологии. Пока люди не опьянены до безумия битвой, они «не могут слышать» призывов о помощи, не отвечая на них. Сначала скажется чье-либо личное геройство, а вслед за героем все чувствуют, что они должны последовать его примеру. Софизмы ума не могут противостоять

чувству взаимной помощи, ибо чувство это воспитывалось в продолжение многих тысяч лет человеческой общественной жизни и сотен тысяч лет дочеловеческой жизни в сообществах животных.

Однако нас спросят, может быть: «Но как же могли потонуть недавно люди в Серпентайне, в лондонском Гайд-Парке, в присутствии толпы зрителей, из которых никто не бросился им на помощь?» Или же: «Как мог быть оставлен без помощи ребенок, упавший в воду в Риджентс-Парке, тоже в присутствии многолюдной праздничной толпы, и был спасен лишь благодаря присутствию духа одной молодой девушки, прислуги соседнего дома, пославшей за ним в воду ньюфаундлендского водолаза?» На эти вопросы ответ простой. Человек является результатом не только унаследованных им инстинктов, но и воспитания. У рудокопов и моряков, благодаря их общим занятиям и ежедневному соприкосновению друг с другом, создается чувство солидарности, а окружающие их опасности воспитывают храбрость и смелую находчивость. В городах же, напротив, отсутствие общих интересов воспитывает безучастность, а храбрость и «находчивость, редко находящие применения, исчезают, или принимают иное направление. Кроме того, традиции геройских подвигов в шахтах и на море живут в деревушках рудокопов и рыбаков, окруженные поэтическим ореолом. Но какие же традиции могут быть у пестрой лондонской толпы? Всякую традицию, являющуюся у нее общим достоянием, пришлось создавать литературою, или словом; но литературы, соответствующей деревенскому эпосу, почти не существует. Духовенство же, в своих проповедях, так старается доказать греховность человеческой природы и сверхъестественное происхождение всего хорошего в человеке, что оно в большинстве случаев проходит молчанием те факты, которых нельзя выставить в качестве примеров вдохновения, или благодати, ниспосланных свыше. Что же касается до «светских» писателей, то их внимание, главным образом, направлено лишь на один вид героизма, а именно — героизма, выдвигающего идею государства. Поэтому они впадают в восхищение пред римским героем, или пред солдатом в битве, и проходят мимо героизма рыбака, почти не обращая на него никакого внимания. Поэт и живописец бывают, правда, поражены красотой человеческого сердца, но лишь в редких случаях знакомы они с жизнью беднейших классов; и если они могут еще воспевать или изображать в условной обстановке римского, или военного героя, они оказываются беспомощными, когда пытаются изобразить героя, действующего в той скромной обстановке народной жизни, которая им чужда. Немудрено, поэтому, если большинство подобных попыток неизменно отличается напыщенностью и риторичностью.[333]

Бесчисленное количество обществ, клубов и союзов для развлечений, для научных работ и исследований, для образовательных целей и т. п., распространившихся за последнее время в таком количестве, что потребовались бы многие годы для простой их регистрации, представляют другое проявление той же вечно действующей силы, призывающей людей к объединению и взаимной поддержке. Некоторые из этих обществ подобно обществам молодых выводков птиц различных видов, собирающихся осенью, преследуют единственную цель — совместное наслаждение жизнью. Чуть ли не каждая деревня в Англии, Швейцарии, Германии и т. д. имеет свои общества для игры в крикет, футбол (ножной мяч) теннис или кегли, или же голубиные, музыкальные и певческие клубы. Затем есть общества, отличающиеся особенной многочисленностью членов, как, например, общество велосипедистов, которое в последнее время развилось в необычайно широких размерах.

Хотя у членов этого союза нет ничего общего, кроме их любви к езде на велосипеде, тем не менее, среди них успело образоваться своего рода франкмасонство в целях взаимной помощи, особенно в захолустных местностях, еще свободных от наплыва велосипедистов; на Союзный Клуб Велосипедистов в какой-нибудь деревушке члены союза смотрят; до известной степени, как на собственный дом и в лагере велосипедистов, собираемом каждый год в Англии, нередко устанавливаются дружеские крепкие отношения. Kegelbrüder, т. е. кегельные общества в Германии, представляют такую же ассоциацию: точно также и гимнастические общества (насчитывающие до 300.000 членов в Германии), неоформленные содружества гребцов на французских реках, яхт-клубы и т. п. Подобные ассоциации, конечно, не изменяют экономической структуры общества, но они, в особенности в небольших городах, помогают сглаживанию социальных различий; а так как все такие общества стремятся объединяться в крупные национальные и международные федерации, то уже этим они помогают росту личных дружественных отношений между всякого рода людьми, рассеянными в различных частях земного шара.

Альпийские клубы, Jagdschutzverein в Германии, имеющие свыше 100.000 членов, — охотников, образованных лесничих, зоологов и просто любителей природы, — а равным образом, Интернациональное Орнитологическое Общество, членами которого состоят зоологи, животноводы и простые крестьяне в Германии, имеют тот же самый характер. Они успели, в течение немногих лет, не только выполнить огромную общепользную работу, которая под силу лишь крупным обществам (составление географических карт, устройство спасательных станций в горах и проведение горных дорог; изучение жизни животных, вредных насекомых, переселений птиц и т. п.), но также они создали новые связи между людьми. Два альпиниста различных национальностей, встретившись в спасательной хижине, устроенной клубом на вершине Кавказских гор, или же профессор и крестьянин-орнитолог, прожившие под одною крышею, не будут уже чувствовать себя совершенно чуждыми друг другу людьми. А «общество дяди Тоби» в Ньюкастле, убедившее свыше 300.000 мальчиков и девочек никогда не разрушать птичьих гнезд и быть добрыми ко всем животным, несомненно сделало гораздо больше для развития гуманитарных чувств и вкуса к изучению естественных наук, чем масса всякого рода моралистов и большинство наших школ.

Даже в настоящем кратком очерке мы не можем пройти молчанием тысячи научных, литературных, художественных и образовательных обществ. Конечно, надо сказать, что до настоящего времени научные корпорации, находясь под контролем государства и часто получая от него субсидии, обыкновенно вращались в очень тесном кругу, и что на ученые общества карьеристы часто смотрят, как на средство проникнуть в ряды оплачиваемых государством ученых, тогда как трудность стать членом некоторых привилегированных обществ, несомненно, ведет только к возбуждению мелочной зависти. Но, при всем том, несомненно, что подобные общества сглаживают до известной степени классовые различия, создающиеся по рождению или по принадлежности к тому или другому сословию, а также к той или другой политической партии или вероисповеданию. В маленьких же глухих городах научные, географические или музыкальные общества, особенно те, которые вызывают деятельность более или менее обширного круга любителей, становятся маленькими центрами, своего рода звеном, связующим маленький городок с обширным миром, а также — местом, где люди, занимающие самые различные положения в общественной жизни,

встречаются на равной ноге. Для того, чтобы оценить значение подобных центров, надо познакомиться с ними, например, в Сибири.

Наконец, одно из самых важных проявлений того же духа представляют бесчисленные общества, имеющие целью распространение образования, и которые только теперь начинают разрушать монополию церкви и государства в этой отрасли жизни. О них можно смело сказать, что в самом непродолжительном времени эти общества приобретут руководящее значение в области народного образования. «Фребелевским союзам» мы уже обязаны системой детских садов, а целому ряду оформленных обществ мы обязаны высокою степенью, какой достигло женское образование. [334] Что же касается до различных педагогических обществ в Германии, то, как известно, им принадлежит огромная доля влияния в выработке современных методов обучения в народных школах. Подобные ассоциации также являются наилучшею поддержкою для учителей. Каким несчастным чувствовал бы себя без их помощи деревенский учитель, изнемогающий под бременем плохо оплачиваемого труда. [335]

Все эти ассоциации, общества, братства, союзы, институты и т. д., которые можно насчитывать десятками тысяч в одной Европе, причем каждый из них представляет собою огромную массу добровольной, бескорыстной, бесплатной или очень скудно оплачиваемой работы — разве все они не являются проявлениями, в бесконечно разнообразных формах, всей той же вечно живущей в человечестве потребности взаимной помощи и поддержки? В течение почти трех столетий людям препятствовали протянуть руки друг к другу даже ради литературных, художественных и образовательных целей. Общества могли образоваться лишь с ведома и под покровительством государства или церкви, или же должны были существовать в качестве тайных сообществ, подобных франкмасонам; но теперь, когда это сопротивление государства надломлено, они возникают повсеместно, охватывая самые разносторонние ветви человеческой деятельности. Они начинают приобретать международный характер, и, несомненно, способствуют — в такой степени, какую мы еще не вполне оценили, — ломке международных преград, воздвигнутых государствами. Несмотря на зависть, воспитываемую коммерческим соревнованием между нациями, несмотря на ненависть, вызываемую привидениями разлагающегося прошлого, сознание международной солидарности растет, как среди отдельных передовых людей, так и среди рабочих масс, с тех пор как они также завоевали себе право международных сношений; и нет никакого сомнения, что этот дух растущей солидарности уже оказал некоторое влияние на предотвращение войны между европейскими государствами в течение последних тридцати лет.

Благотворительные общества, которые в свою очередь представляют целый своеобразный мир, необходимо должны быть также упомянуты здесь. Нет ни малейшего сомнения, что громадным большинством членов этих обществ двигают те же чувства взаимной помощи, которые присущи всему человечеству. К сожалению, религиозные учителя людей предпочитают приписывать подобным чувствам сверхъестественное происхождение. Многие из них пытаются утверждать, что человек не может сознательно вдохновляться идеями взаимной помощи, пока он не будет просвещен учениями той специальной религии, представителями которой они состоят, — и вместе со св. Августином, большинство из них не признает существования подобных чувств у «язычников дикарей». Кроме того, в то время

как первобытное христианство, подобно всем другим зарождавшимся религиям, было призывом к широкочеловечным чувствам взаимной помощи и симпатии, христианская Церковь усердно помогала Государству разрушать все существовавшие до нее или развившиеся вне ее институций взаимной помощи и поддержки: и взамен взаимной помощи, которую каждый дикарь рассматривает как выполнение долга к своим сородичам, христианская Церковь стала проповедовать милосердие, составляющее, по ее учению, добродетель, вдохновляемую свыше, которая, в силу этого, придает известного рода превосходство дающему над получающим. С этим ограничением и без всякого намерения оскорблять тех, кто причисляет себя к избранным, в то время как выполняет акты простой человечности, мы, конечно, можем рассматривать громадное количество религиозных благотворительных обществ, разбросанных повсюду как проявление того же глубокого стремления человека к взаимной помощи.

Все эти факты показывают, что безрассудное преследование личных интересов, с полным забвением нужд других людей, вовсе не представляет единственной характерной черты современной жизни. Наряду с этим эгоистическим течением, которое горделиво требует признания за собой руководящей роли в человеческих делах, мы замечаем упорную борьбу, которую ведет сельское и рабочее население с целью снова ввести постоянные институции взаимной помощи и поддержки; и мы открываем во всех классах общества широко распространенное движение, стремящееся к установлению бесконечно разнообразных, более или менее постоянных, институций для той же самой цели. Но когда от общественной жизни мы переходим к частной жизни современного человека, мы открываем еще один, чрезвычайно широкий, мир взаимной помощи и поддержки, мимо которого большинство социологов проходит, не замечая его — вероятно потому, что он ограничен тесным кругом семьи и личной дружбы.[336]

При современной системе общественной жизни, все узы единения между обитателями одной и той же улицы или соседства исчезли. В богатых кварталах больших городов люди живут рядом, даже не зная, кто их соседи. Но в тесно населенных улицах и переулках все прекрасно знают друг друга и находятся в постоянном соприкосновении. Конечно, в переулках, как и везде, дело не обходится без мелочных ссор, но вместе с тем вырастают и группировки, соответственно личным склонностям, и в пределах этих группировок практикуется взаимная помощь в таких размерах, о которых более богатые классы не имеют и представления. Если, например, мы присмотримся к детям богатого квартала — играющим на лужайке, на улице, или на кладбище (в Лондоне это видно нередко), мы тотчас заметим, что между ними существует тесный союз, несмотря на случающиеся драки, причем этот союз предохраняет детей от множества всяких несчастий. Стоит какому-нибудь малышу наклониться с любопытством над открытым отверстием водосточной трубы, — и сотоварищ по игре уже кричит ему: «Уходи — там в дырке сидит лихорадка!» — «Не лезь через эту стену; если упадешь на ту сторону, поезд раздавит тебя!» — «Не подходи близко к канаве!» — «Не ешь этих ягод: яд, — умрешь». Таковы первые уроки, получаемые малышом, когда он присоединяется к сотоварищам на улице. Сколько детей, местом игр которых служат улицы возле «образцовых рабочих жилищ» или набережные и мосты каналов, погибли бы под колесами телег, или в мутной воде каналов, если бы между детьми не существовало этого рода взаимной помощи! А если какой-нибудь мальчуган все-таки попадет в не огороженную канаву, или девочка свалится в канал, то уличная орда малышей поднимает такой крик, что

все соседство сбегается на помощь. Все это я говорю по личному наблюдению.

Затем идет союз матерей. — «Вы не можете себе представить», — писала мне недавно одна английская женщина-врач, живущая в бедном квартале Лондона, — «как много они помогают друг другу. Если какая-нибудь женщина не приготовила, или не могла приготовить, нужного для ожидаемого ребенка, — а как часто это случается же! — то все соседки приносят что-нибудь для новорожденного. В то время одна из соседок всегда берет на себя заботу о детях, а другая о хозяйстве, пока роженица остается в постели». Это — обычное явление, о котором упоминают все, кому приходилось жить среди бедняков в Англии. Тысячами мелких услуг матери поддерживают друг друга и заботятся о чужих детях. У дамы, принадлежащей к богатым классам, требуется известная выдержка — к лучшему или к худшему, пусть сами судят — чтобы пройти на улице мимо дрожащих от холода и голодных детей, не замечая их. Но матери из бедных классов не обладают такой выдержкой. Они не могут выносить вида голодного ребенка: они должны накормить его; так они и делают. «Когда дети, идущие в школу, просят хлеба, они редко или скорее никогда не получают отказа», — пишет мне одна приятельница, работавшая в течение нескольких лет в Уайтчапэле, в связи с одним рабочим клубом. Впрочем, лучше будет привести несколько выдержек из ее письма:

«Смотреть за больным соседом или соседкою, без цели какого бы то ни было вознаграждения — общее правило среди рабочих. Равным образом, когда женщина, имеющая маленьких детей, уходит на работу, за ними всегда присматривает одна из соседок».

«Если бы рабочие не помогали друг другу, они совершенно не могли бы существовать. Я знаю рабочие семьи, которые постоянно помогают одна другой — деньгами, пищей, топливом, уходом за маленькими детьми, в случаях болезни и в случаях смерти в семье».

«Среди бедняков «твое», и «мое» гораздо менее различается чем у богатых. Ботинки, платье, шляпы и т. д., словом — что понадобится в данный момент — постоянно одолжаются друг у друга, а равным образом всякого рода принадлежности хозяйства».

«Минувшей зимой (1894 года) члены Объединенного Радикального клуба собрали в своей среде небольшую сумму денег и начали, после Рождества, снабжать даровым супом и хлебом детей, ходящих в школу. Постепенно число детей, которых они кормили, дошло до 1800 человек. Пожертвования приходили извне, но вся работа лежала на плечах членов клуба. Некоторые из них, — те, кто в то время был без работы, — приходили в 4 часа утра, чтобы мыть и чистить овощи; пять женщин приходили в 9 или 10 часов утра (покончив со своей работой по хозяйству), чтобы присмотреть за варкой пищи, и они оставались до шести или семи часов вечера, чтобы перемыть посуду. В обеденное время, между двенадцатью и половиной первого, приходили 20–30 человек рабочих помогать при раздаче супа, для чего им приходилось урывать от собственного обеденного времени. Такая работа продолжалась два месяца и все время выполнялась совершенно бесплатно».

Моя приятельница упоминает также о различных частных случаях, из которых я привожу наиболее типическое:

«Девочка, Анюта В., была отдана своею матерью на хлеба одной старушке в Уильмотской улице. Когда мать Анюты умерла, старушка, сама жившая в большой бедности, воспитывала ребенка, хотя никто не платил ей за это ни копейки. Когда старушка тоже умерла, ребенок, которому было тогда пять лет, остался за время болезни приемной матери без всякого присмотра и ходил в лохмотьях; но его приютила тогда жена сапожника, у которой и без того было уже шесть человек детей. Позднее, когда сапожник захворал, всем им приходилось голодать».

«На днях М., мать шести детей, ухаживала за соседкой М-г во время ее болезни и взяла старшего ребенка к себе... Но нужны ли вам такие факты? Они составляют самое обычное явление... Я знакома также с г-жой Д. (адрес такой-то), у которой имеется швейная машина. Она постоянно шьет на ней для других, не принимая никакого вознаграждения за работу, хотя ей приходится смотреть за пятью детьми и мужем...». И т. д.

Для каждого, кто имеет хотя бы малейшее представление о жизни рабочих классов, само собой очевидно, что если бы в их среде не практиковалась в широких размерах взаимная помощь, они ни за что не могли бы справиться с теми затруднениями, которыми так богата их жизнь. Только благодаря сочетанию счастливых случайностей, может рабочая семья прожить жизнь, не пройдя чрез такие тяжелые обстоятельства, как те, которые описаны были ленточным ткачом Джозефом Гётриджем в своей автобиографии.[337] И если не все рабочие, при подобных обстоятельствах, опускаются до последних ступеней нищеты, они обязаны этим именно взаимной помощи, практикующейся между ними. Гётриджу помогла старушка няня, сама жившая на краю нищенства, как раз в ту минуту, когда его семья приближалась к роковой развязке: она достала им в кредит хлеба, угля и другие предметы первой необходимости. В других случаях помогал кто-нибудь другой, или же соседи складывались, чтобы вырвать семью из когтей нищеты. Но если бы бедняки не приходили на помощь беднякам, — в какой громадной пропорции увеличилось бы число тех, кто доходит до ужасающей, уже непоправимой нищеты![338]

Плимсоль (известный в Англии своею кампанию против страховки гнилых, негодных кораблей), проживши некоторое время среди бедноты, тратя на себя только по 7 шил. 6 пенс. (3 р. 50 к.) в неделю, принужден был признать, что те добрые чувства к бедным, с которыми он начал этого рода жизнь, «перешли в чувства сердечного уважения и восхищения», когда он увидел, насколько отношения между бедными проникнуты взаимной помощью и поддержкою, и когда он изучил те простые способы, которыми оказывается этого рода поддержка. После многолетнего опыта он пришел к заключению, что «если хорошенько подумать, то окажется, что подобные люди составляют огромное большинство рабочих классов».[339] Что же касается до воспитания сирот, даже самыми бедными семьями соседей, то это представляет такое широко распространенное явление, что его можно считать общим правилом; так, после взрыва газов в копиях Warren Vale и Land Hill, оказалось, что «почти одна треть убитых рудокопов, по исследованиям комиссии, поддерживали, помимо своих жены и детей, еще и других бедных родственников». — «Подумали ли вы», — прибавляет к этому Плимсоль, — «что значит этот факт? Я не сомневаюсь, что подобное явление не редкость среди богатых, или даже достаточных людей. Но подумайте хорошенько о разнице». И действительно, стоит подумать над тем, что значит для рабочего, зарабатывающего 16 шиллингов (менее 8 р.) в неделю и

прокармливающего на эти скудные средства жену и иногда пять-шесть человек детей, израсходовать один шиллинг для помощи вдове товарища, или пожертвовать сикспэнс на похороны такого же бедняка, как он сам.[340] Но подобные жертвования — обычное явление среди рабочих любой страны, даже в случаях гораздо более повседневных, чем смерть, а помощь работою — самое заурядное явление в их жизни.

Та же практика взаимной помощи и поддержки наблюдается, конечно, и среди более богатых классов, с указанною Плимсом «слоеватостью». Конечно, когда подумаешь о жестокости, которую более богатые работодатели проявляют по отношению к рабочим, то начинаешь чувствовать склонность очень недоверчиво относиться к человеческой природе. Многие, вероятно, еще помнят о негодовании, возбужденном хозяевами рудников, во время большой Йоркширской стачки в 1894 году, когда они стали преследовать судом стариков-углекопов, за собирание угля в заброшенной шахте. И, даже оставляя в стороне острые периоды борьбы и гражданской войны, когда, например, тысячи пленных рабочих были расстреляны после падения Парижской коммуны, кто может читать без содрогания разоблачения королевских комиссий о положении рабочих в сороковых годах девятнадцатого века в Англии, или же слова лорда Шефтсбюри об «ужасающем расточении человеческой жизни на фабриках, где работали дети, взятые из рабочих домов, а не то и просто купленные по всей Англии, чтобы продавать их потом на фабрики».[341] Кто может читать все это, не поражаясь низостью, на какую способен человек в погоне за наживой? Но должно сказать, что было бы ошибкой отнести подобного рода явления всецело к преступности человеческой природы. Разве, вплоть до недавнего времени, люди науки и даже значительная часть духовенства не распространяли учений, внушавших недоверие, презрение и почти ненависть к более бедным классам? Разве люди науки не говорили, что со времени уничтожения крепостного права, в бедность могут впадать лишь люди порочные? И как мало нашлось представителей церкви, которые осмелились бы порицать этих детоубийц, между тем, как большинство духовенства учило, что страдания бедняков и даже рабство негров — исполнение воли Божественного Промысла! Разве самый раскол в Англии (нонконформизм) не был, в сущности, народным протестом против жестокого отношения государственной церкви к беднякам?

С такими духовными вождями немудрено, что чувства состоятельных классов, как заметил м-р Плимсоль, не столько должны были притупиться, сколько принять классовую окраску. Богачи редко снисходят к беднякам, от которых они отделены самым своим образом жизни, и которых они совсем не знают с лучшей стороны в их повседневной жизни. Но и среди богачей, оставляя в стороне скряжничество с одной стороны и безумные расходы с другой, — в кругу семьи и друзей наблюдается та же практика взаимной помощи и поддержки, как и среди бедняков. Йеринг и Даргун были вполне правы, говоря, что если бы сделать статистический подсчет деньгам, переходящим из рук в руки в форме дружеских ссуд и помощи, то общая сумма оказалась бы колоссальною, даже в сравнении с коммерческими оборотами мировой торговли. И если прибавить к этому, — а прибавить необходимо, — расходы на гостеприимство, мелкие взаимные услуги, оказываемые друг другу, помощь при улаживании чужих дел, подарки и благотворительность, мы, несомненно, будем поражены значением подобных расходов в сфере национальной экономики. Даже в мире, управляемом коммерческим эгоизмом, имеется ходячая фраза: «Эта фирма отнеслась к нам жестоко», и эта фраза показывает, что даже в коммерческой среде имеется дружеское отношение,

противопоставляемое жестокому, т. е. отношению, основанному исключительно на законе. Всякий коммерсант, конечно, знает, сколько фирм ежегодно спасается от разорения, благодаря дружественной поддержке, оказанной им другими фирмами.

Что же касается до благотворительности и до массы общеплезной работы, добровольно выполняемой представителями как зажиточных, так и рабочих классов, и в особенности представителями различных профессий, то всякий знает, какую роль играют эти две категории благорасположения в современной жизни. Если истинный характер этого благорасположения часто бывает загрязнён стремлением приобрести известность, политическую власть, или общественное отличие, то всё же несомненно, что в большинстве случаев импульс исходит из того же самого чувства взаимной помощи. Очень часто, люди, приобретя богатство, не находят в нём ожидавшегося ими удовлетворения. Другие начинают чувствовать, что сколько бы экономисты ни распространялись о том, что богатство является наградой способностей, их награда чересчур велика. Сознание человеческой солидарности пробуждается в них; и хотя общественная жизнь устроена так, чтобы подавлять это чувство тысячами хитрых способов, оно всё-таки нередко берёт верх, и тогда люди вышеуказанного типа пытаются найти выход для этой, заложенной в глубине человеческого сердца, потребности, отдавая своё состояние, или же свои силы, на что-нибудь такое, что, по их мнению, будет содействовать развитию общего благосостояния.

Короче говоря, ни сокрушающие силы централизованного государства, ни учения взаимной ненависти и безжалостной борьбы, которые исходят, украшенные атрибутами науки, от услужливых философов и социологов, не могли вырвать с корнем чувства человеческой солидарности, глубоко коренящегося в человеческом сознании и сердце, так как чувство это было воспитано всею нашею предыдущею эволюциею. То, что было результатом эволюции, начиная с её самых ранних стадий, не может быть уничтожено одною из переходящих фаз той же самой эволюции. И потребность во взаимной помощи и поддержке, которая скрылась, было, в узком кругу семьи, среди соседей бедных улиц и переулков, в деревне или в тайных союзах рабочих, возрождается снова, даже в нашем современном обществе, и провозглашает свои права — стать, как это всегда было, главным двигателем на пути дальнейшего прогресса. Таковы заключения, к которым мы неизбежно приходим, после тщательного рассмотрения каждой группы фактов, вкратце перечисленных нами в последних двух главах.

Заключение

Если взять теперь то, чему учит нас рассмотрение современного общества, в связи с фактами, указывающими на назначение взаимной помощи в постепенном развитии животного мира и человечества, мы можем вывести из нашего исследования следующие заключения.

В животном мире мы убедились, что огромное большинство видов живёт сообществами, и что в общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование — понимая, конечно, этот термин в его широком, Дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех естественных условий, неблагоприятных для вида. Виды животных, у которых индивидуальная борьба доведена до самых узких пределов, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными, наиболее процветающими и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу. Взаимная защита, получающаяся в таких случаях, а вследствие этого — возможность достижения преклонного возраста и накопления опыта, высшее умственное развитие и дальнейший рост общежительных навыков, — обеспечивают сохранение вида, его распространение на более широкой площади и дальнейшую прогрессивную эволюцию. Напротив, необщительные виды, в громадном большинстве случаев, осуждены на вырождение.

Переходя затем к человеку, мы нашли его живущим родами и племенами, уже на самой заре каменного века; мы видели обширный ряд общественных учреждений и привычек, развившихся уже на низшей ступени развития дикарей, в пределах рода. И мы нашли, что древнейшие родовые обычаи и навыки дали человечеству, в зародыше, все те институции, которые позднее послужили главнейшими импульсами дальнейшего прогресса. Из родового быта дикарей выросла варварская деревенская община; и новый, ещё более обширный круг общительных обычаев, навыков и институций, часть которых дожила и до нашего времени, развился под сенью принципов общего владения данною землею и защиты её общими силами, и под защиту судебных прав деревенского мирского схода и федерации деревень, принадлежавших, или предполагавших, что они принадлежат, к одному общему племени. И когда новые потребности побудили людей сделать новый шаг в их развитии, они образовали народоправства вольных городов, которые представляли двойную сеть: земельных единиц (деревенских общин) и гильдий, возникших из общих занятий данным искусством или ремеслом, или же для взаимной защиты и поддержки.

Наконец, в последних двух главах были собраны факты, указывающие, что, хотя образование государств по образцу императорского Рима насильственно уничтожило все средневековые учреждения для взаимной поддержки, эта новая форма цивилизации не могла, однако, долго продержаться в таком виде, не уступивши той же живой потребности людей в прямом объединении для целей взаимной поддержки. Государство, опирающееся на мало связанные между собою агрегаты единичных личностей и взявшее на себя задачу быть их единственным объединяющим началом, не ответило своей цели. В конце концов,

стремление людей ко взаимной помощи разрушило железные законы государства; оно проявилось снова и утвердилось в бесконечном разнообразии всевозможных сообществ, которые и стремятся теперь охватить все проявления жизни, овладеть всем, что потребно для человеческой жизни и для заполнения трат, обусловленных жизнью.

Вероятно, нам заметят, что взаимная помощь, хотя она и представляет один из факторов эволюции, всё-таки является только одним из различных видов отношений людей между собою; что рядом с этим течением, как бы оно ни было могущественно, существует и всегда существовало другое течение — самоутверждение индивидуума, не только в его усилиях достигнуть личного или кастового превосходства в экономическом, политическом или духовном отношении, но также в его более важной, хотя и менее заметной функции — разрывания тех уз, всегда стремящихся к окристаллизации, окаменению, которые род, деревенская община, город или государство налагают на личность. Другими словами, в человеческом обществе имеется также самоутверждение индивидуума, рассматриваемое, как элемент прогресса.

Очевидно, что никакой обзор эволюции не может претендовать на полноту, если в нём не будут рассмотрены оба эти господствующие течения. Но дело в том, что самоутверждение индивидуума или групп индивидуумов, их борьба за превосходство и проистекавшие из неё столкновения и борьба были уже с незапамятных времён разбираемы, описываемы и прославляемы. Действительно, вплоть до настоящего времени одно это течение и пользовалось вниманием эпических поэтов, историков, летописцев и социологов. История, как её до сих пор писали, почти всецело является описанием тех путей и средств, при помощи которых церковная власть, военная власть, политическое единодержавие, а позднее богатые классы, — устанавливали и удерживали своё правление. Борьба между этими силами и составляет, в действительности, сущность истории. Мы можем, поэтому, считать, что значение индивидуального фактора в истории человечества вполне известно, хотя и в этой области остаётся ещё немало поработать в только что указанном направлении. Между тем, фактор взаимной помощи до сих пор оставался совершенно забытым; писатели настоящего и прошлых поколений просто отрицали его, или подсмеивались над ним. Вследствие этого, необходимо было, прежде всего, установить ту огромную роль, которую этот фактор играет в эволюции, как животного мира, так и человеческих обществ. Лишь после того, как это его значение будет вполне признано, возможно будет начать сравнение обоих факторов: общественного и индивидуального.

Произвести, более или менее статистическим методом, хотя бы грубую оценку их относительного значения, очевидно, невозможно. Одна какая-нибудь война — как все мы знаем — может, непосредственно или своими последствиями, принести больше зла, чем сотни лет беспрепятственного воздействия принципа взаимной помощи могут произвести добра. Но когда мы видим, что в животном мире прогрессивное развитие и взаимная помощь идёт рука об руку, а внутренняя борьба в пределах вида, напротив того, сопровождается ретрогрессивным развитием; когда мы замечаем, что у человека даже успех в борьбе и в войне пропорционален развитию взаимной помощи в каждой из двух борющихся сторон, будут ли то нации, города, племена или только партии, и что в процессе эволюции сама война (поскольку она может содействовать в этом направлении) подчиняется конечным целям прогресса взаимной помощи в пределах нации, города или племени, — сделавши эти

наблюдения, мы уже получаем представление о преобладающем влиянии фактора взаимной помощи, как элемента прогресса.

Но мы видим также, что практика взаимной помощи и её последовательное развитие создали самые условия общественной жизни, благодаря которым человек смог развить свои ремесла и искусства, свою науку и свой разум; и мы видим, что периоды, когда институции, имевшие целью взаимную помощь, достигали своего высшего развития, были также периодами величайшего прогресса в области искусств, промышленности и науки.

Действительно, изучение внутренней жизни средневековых городов и городов древней Греции обнаруживает тот факт, что сочетание взаимной помощи, как она практиковалась в пределах гильдии, с общиной или греческим родом, — при широкой инициативе, предоставленной индивидууму и группе в силу применения федеративного начала, — дало человечеству два величайших периода его истории — период городов древней Греции и период средневековых городов, тогда как разрушение институции взаимной помощи, совершавшееся в течение последовавших затем государственных периодов истории, соответствует в обоих случаях периодам быстрого упадка.

Что же касается до внезапного промышленного прогресса, который совершился в девятнадцатом веке и который обыкновенно приписывается торжеству принципов индивидуализма и конкуренции, этот прогресс, вне всякого сомнения, имеет несравненно более глубокое происхождение. После того, как были сделаны великие открытия пятнадцатого века, в особенности открытие давления атмосферы, поддержанное целым рядом других успехов в области физики — а эти открытия были сделаны в средневековых городах — после этих открытий, изобретение парового двигателя, и вся та промышленная революция, которая была вызвана применением новой силы — пара, были необходимым последствием. Если бы средневековые города дожили до развития начатых ими открытий, — т. е. до практического применения нового двигателя, — то этические последствия революции, вызванной применением пара, могли бы носить иной характер; но та же самая революция в области техники производств и науки и тогда была бы неизбежна. Остается, однако, открытым вопрос, не было ли замедлено появление паровой машины, а также последовавший затем переворот в области искусств, тем общим упадком ремесел, который последовал за разрушением свободных городов и был особенно заметен в первой половине восемнадцатого века. Рассматривая поразительную быстроту промышленного прогресса в период с двенадцатого до пятнадцатого столетия, — в ткацком деле, в обработке металлов, в архитектуре, в мореплавании, — и размышляя над научными открытиями, к которым этот промышленный прогресс привёл в конце пятнадцатого века, — мы вправе задаться вопросом: не запоздало ли человечество в исполнении всех этих научных завоеваний, когда в Европе начался общий упадок в области искусств и промышленности, вслед за падением средневековой цивилизации? Конечно, исчезновение артистов-ремесленников, каких произвела Флоренция, Нюрнберг и т. д., упадок крупных городов и прекращение сношений между ними не могли благоприятствовать промышленной революции, и нам известно, например, что Джемс Уатт, изобретатель современной паровой машины, потратил около двадцати лет своей жизни, чтобы сделать своё изобретение практически полезным, так как он не мог найти в восемнадцатом веке таких помощников, каких он с легкостью бы нашёл в средневековой Флоренции, Нюрнберге, или Брюгге, т. е. ремесленников, способных воплотить его изобретения в металле и придать им ту артистическую законченность и

точность, которые необходимы для паровой машины.

Таким образом, приписывать промышленный прогресс девятнадцатого века войне каждого против всех, — значит рассуждать подобно тому, кто, не зная истинных причин дождя, приписывает его жертве, принесённой человеком глиняному идолу. Для промышленного прогресса, как для всякого иного завоевания в области природы, взаимная помощь и тесные сношения, несомненно, являются и являлись более выгодными, чем взаимная борьба.

Великое значение начала взаимной помощи выясняется, однако, в особенности в области этики, или учения о нравственности. Что взаимная помощь лежит в основе всех наших этических понятий, достаточно очевидно. Но каких бы мнений мы ни держались относительно первоначального происхождения чувства или инстинкта взаимной помощи — будем ли мы приписывать его биологическим или сверхъестественным причинам — мы должны признать, что проследить его существование возможно уже на низших ступенях животного мира, а от этих стадий мы можем проследить непрерывную его эволюцию через все классы животного мира и, несмотря на значительное количество противодействующих ему влияний, через все ступени человеческого развития, вплоть до настоящего времени. Даже новые религии, рождающиеся от времени до времени — всегда в эпохи, когда принцип взаимопомощи приходил в упадок, в теократиях и деспотических государствах Востока, или при падении Римской империи — даже новые религии всегда являлись только подтверждением того же самого начала. Они находили своих первых последователей среди смиренных, низших, попираемых слоев общества, где принцип взаимной помощи является необходимым основанием всей повседневной жизни; и новые формы единения, которые были введены в древнейших буддистских и христианских общинах, в общинах моравских братьев и т. д., приняли характер возврата к лучшим видам взаимной помощи, практиковавшимся в древнем родовом периоде.

Каждый раз, однако, когда делалась попытка возвратиться к этому старому принципу, его основная идея расширялась. От рода она распространилась на племя, от федерации племён она расширилась до нации, и, наконец, — по крайней мере, в идеале — до всего человечества. В то же самое время она постепенно принимала более возвышенный характер. В первобытном христианстве, в произведениях некоторых мусульманских вероучителей, в ранних движениях реформационного периода, и в особенности в этических и философских движениях восемнадцатого века и нашего времени, всё более и более настойчиво отмечается идея мести или «достоюжного воздаяния» — добром за добро и злом за зло. Высшее понимание: «никакого мщения за обиду» и принцип: «Давай ближнему не считая — больше, чем ожидаешь от него получить», провозглашаются как действительные принципы нравственности, как принципы, стоящие выше простой «равноценности», беспристрастия и холодной справедливости, как принципы, скорее и вернее ведущие к счастью. И человека призывают руководиться в своих действиях не только любовью, которая всегда имеет личный, или в лучших случаях, родовой характер, — но понятием о своём единстве со всяким человеческим существом.

В практике взаимной помощи, которую мы можем проследить до самых древнейших зачатков эволюции, мы, таким образом, находим положительное и несомненное происхождение наших этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль

в этическом прогрессе человека играла взаимная помощь, а не взаимная борьба. В широком распространении принципа взаимной помощи, даже и в настоящее время, мы также видим лучший задаток ещё более возвышенной дальнейшей эволюции человеческого рода.

Основные даты жизни и творчества П.А. Кропоткина

1842 г. 27.11 (9.12) — родился в Москве, в семье генерала, богатого помещика из древнего княжеского рода.

1862 г. — окончил Пажеский корпус.

1862–1863 гг. — служба в Амурском казачьем войске, затем — чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири.

1864 г. — путешествовал по неизученным районам Северной Маньчжурии.

1865 г. — путешествовал по северному склону Восточных Саян.

1866 г. — исследовал Патомское нагорье и Витимское плоскогорье (Олекминско-Витимская экспедиция Русского географического общества).

1867 г. — по окончании экспедиции вышел в отставку; учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, служил в Статистическом кабинете Министерства внутренних дел.

1868 г. — секретарь отделения физической географии Русского географического общества.

1871 г. — подготовил «Доклад комиссии по снаряжению в северные моря», где поднял проблему освоения северных морей и теоретически обосновал существование в Северном Ледовитом океане суши, открытой два года спустя и названной Землей Франца-Иосифа; исследовал ледниковые отложения в Финляндии и Швеции.

1872 г., в начале года, посетив Бельгию и Швейцарию, примкнул к бакунинскому крылу Интернационала.

1872 г., май — вернулся в Россию, вошел в общество «чайковцев», которое являлось одним из инициаторов «хождения в народ», вел пропаганду среди петербургских рабочих.

1873 г. — составил записку «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?», в которой отразилось анархическое направление взглядов автора.

1874 г. — арест и заключение в Петропавловскую крепость.

1875 г. — «Записки РГО по общей географии».

1875–1911 гг. — участвовал в работе лондонского географического общества, писал статьи по географии России для «Британской энциклопедии» (9-11 издания 1875–1911 гг.).

1876 г. — побег из тюремного госпиталя и эмиграция за границу; написание работы «Исследования о ледниковом периоде».

1876–1917 гг. — годы эмиграции.

1878 г. — женитьба на Софье Григорьевне Рабинович-Ананьевой, учившейся в то время в университете в Женеве.

1879 г. — начал издавать в Женеве газету «Револьте».

1881 г. — выслан из Швейцарии.

1883 г. — на Лионском процессе анархистов приговорен к 5 годам тюрьмы.

1883–1917 гг. — был сотрудником журнала «The Nineteenth Century and after XIV-XX».

1884 г. — рождение дочери Александры.

1885 г. — работа «Речь бунтовщика»

1886 г. — освобожден из французской тюрьмы в результате протестов общественности. Поселился в Англии.

1892 г. — книга «Хлеб и воля».

1892–1901 гг. — в журнале «The Nineteenth Century and after XIV-XX» вел научное обозрение, сменив Т. Гексли.

1893 г. — избран членом «Британской научной ассоциации».

Вторая половина 90-х гг. — работа над книгой «Записки революционера»

1896 г. — работа «Анархия, ее философия, ее идеал».

1897 г. — посетил Канаду.

1899 г. — книга «Поля, фабрики и мастерские».

1900–1909 гг. — входил в заграничные организации русских анархистов.

1902 г. — книга «Взаимная помощь как фактор эволюции», составленная на исследованиях ученого об общественных инстинктах у животных, затем у дикарей, варваров, в средневековье и в цивилизации.

1903-1904 гг. — выдвинул гипотезу о «высыхании европейско-азиатского материка» в послеледниковое время, которое подразделял на «озерный период» и «период высыхания».

1903-1906, 1909 гг. — сотрудничал в анархическом издании «Хлеб и воля».

1905-1907 гг. — выступал в поддержку революции.

1906-1907 гг. — сотрудничал в анархическом издании "Листок «Хлеб и воля»".

1907 г. — был гостем V съезда РСДРП, проходившего в Лондоне.

1909 г. — завершил историческое исследование «Великая французская революция 1789-1793» — итог 25-летней работы.

1913 г. — работа «Современная наука и анархия».

1917 г., июнь — возвращение в Россию.

1917 г., август — выступал на Государственном совещании в Москве с призывом к «социальному миру».

1918 г. — поселился в подмосковном Дмитрове.

Библиография произведений П.А. Кропоткина

1. Собрание сочинений, т. 1-2. Спб., 1906.
2. Собрание сочинений, т. 1-2, 4-7. Спб., Знание, 1906-07.
3. Собрание сочинений, т. 1-2. М., 1918-1919.
4. Аграрный вопрос. М.; группа Равенство. 191(?).
5. Аграрный вопрос. Спб.; Свободное соглашение, 1914.
6. Анархия. Пб.; Голос труда, 1919.
7. Анархия. М., Айрис-пресс, 2002.
8. Анархия, ее философия и идеал. М., 1906.
9. Анархия: Ее философия, ее идеал. Лейпциг — Спб.: Мысль А. Миллер 1906.
10. Анархия: Ее философия, ее идеал. М.: Московская федерация анархистских групп, 1917
11. Анархия, ее философия, ее идеал. М.: ЭКСМО-пресс, 1999.
12. Анархия и ее место в социалистической эволюции. Пер. с фр. Спб.: типо-лит. Грамотность. 1907.
13. Анархия и ее место в социалистической эволюции. М.: тип. Т. д. Копылова и Дмитриева, 1917.
14. Безначальный коммунизм и экспроприация. Казань: Волжско-Камская печатня, 1918.
15. Бунтовский дух. Б.м., группа «Хлеб и воля», 1905.
16. Век ожидания. Сборник статей. Пер. с фр. Н.А. Критской. М.: Голос труда, 1925.
17. Великая французская революция. Пер. с фр. Н.М. Лейпциг-Спб.: Мысль А. Миллер, 1906.

18. Великая французская революция. М.: Федерация анархистских групп, 1917.
19. Великая французская революция 1789 — 1793. Пер. с фр. Под редакцией автора. Лондон: тип. Листков «Хлеб и воля», 1914.
20. Великая французская революция 1789 — 1793 гг. М., Наука, 1979.
21. Взаимная помощь как фактор эволюции. Харьков, зональное братство, 1919.
22. Взаимная помощь как фактор эволюции. Харьков, тип. В.Г. Шеншелевича, 1919.
23. Взаимная помощь среди животных и людей. М.: На помощь, 1924.
24. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса (пер. с англ. В. Батурина). Под ред. автора, СПб., Знание. 1907.
25. В русских и французских тюрьмах (пер. с англ. В. Батурина). Под редакцией автора. СПб., Знание, 1906
26. Всеобщая стачка. Сборник статей. Пг.; Друг народа, 1906.
27. Государство и его историческая роль. М.: тип. Л. Федорова,
28. Государство и его роль в истории. М.: Московская Федерация анархических групп, 1917.
29. Две поездки в Маньчжурию в 1864 году, Иркутск, 1865.
30. Дневник П.А. Кропоткина. М. — Пг., Госиздат, 1923.
31. Дневники разных лет. М.: Сов. Рос, 1992.
32. Записки революционера. Пер. с англ. Лондон, 1902.
33. Записки революционера. Лондон — Спб.: Свободная мысль, 1906.
34. Записки революционера. Спб.: Ясная Поляна, 1907.
35. Записки революционера. М.: Изд-во Мосполиграф, 1924.
36. Записки революционера. Т. 1-2. М. 1929.
37. Записки революционера. М.: Молодая гвардия, 1930.
38. Записки революционера. М.-Л. Академия, 1933.
39. Записки революционера. М., Мысль, 1966.
40. Записки революционера. М., Московский рабочий, 1988.

41. Записки революционера. М., Мысль, 1990.
42. Земледелие, промышленность и ремесла. М.: Посредник, 1904.
43. Идеалы и действительность в русской литературе. (Пер. с англ. В. Батурина). Под ред. автора. СПб., 1907.
44. Исследования о ледниковом периоде. Вып. 1-2. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1876.
45. Исследования о ледниковом периоде. Томск, 1951.
46. Коммунизм и анархизм. М.: Группа политзаключенных, 1917.
47. Коммунизм и анархизм. Пб.: Голос труда, 1919.
48. Нравственные начала анархизма. Лондон, 1907.
49. Общий очерк. Орография Восточной Сибири. СПб., тип. М.М. Стасюлевича, 1873.
50. Переписка Петра и Александра Кропоткиных, т. 1-2, М., Л., Академия, 1932-33.
51. Петропавловская крепость. Побег. Для младшего школьного возраста. М.: Дет. лит-ра., 1967.
52. Петропавловская крепость. Побег. Для младшего школьного возраста. М.: Дет. лит-ра., 1979.
53. Петропавловская крепость. Побег: Рассказ. Для младшего школьного возраста. М.: Дет. лит-ра., 1982.
54. Петропавловская крепость. Побег. Для младшего школьного возраста. М.: Дет. лит-ра., 1983.
55. Петропавловская крепость. Побег. Для младшего школьного возраста. М.: Дет. лит-ра., 1984
56. Письмо из Восточной Сибири. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1983.
57. Письмо о текущих событиях. М.: Задруга, 1917.
58. Побег. Л.: Прибой, 1926.
59. Поля, фабрики и мастерские. Пер. с англ. А.Н. Коншин. М: Посредник, 1908.
60. Поля, фабрики и мастерские. Промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с ручным. (Пер. с англ. А.Н. Коншин). М., Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1918.

61. Поля, фабрики, мастерские. Промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с ручным. Пг.-М., 1919.

62. Поля, фабрики и мастерские. Промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с ручным. Пб. — М.: Голос труда, 1921.

63. Речи бунтовщика. Пер. с франц. Спб., 1906.

64. Речи бунтовщика. Пер. с франц. Под ред. автора. Пб., М., Голос труда, 1921.

65. Современная наука и анархия. Пер. с франц. Под ред. автора. Пб. — М., Голос труда, 1920.